



# СОГЛАСИЕ

*Сергей Юрьенен*

**ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ**

*Роман*



*Гайто Газданов*

**ОСВОБОЖДЕНИЕ**

*Рассказ*



*В. Петров*

**КАЛИОСТРО**

*Воспоминания и размышления о М. А. Кузmine*



**7' 1993**

---

---



# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОД.

**№ 7 (24). ИЮЛЬ 1993 ГОДА**

МОСКВА. А/О «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Сергей Юрьенен  
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ. *Роман*

3

---

Александр Кушнер  
Я СКАЖУ ТЕБЕ, ГДЕ ХОРОШО ... *Стихи*

80

---

Гайто Газданов  
ОСВОБОЖДЕНИЕ. *Рассказ*

84

---

Геннадий Калашников  
ТОНКИЙ ВОЗДУХ. *Стихи*

96

---

Анна Дубчак  
ЧИБИРИХА. *Рассказ*

99

---

Равиль Бухараев  
ПОСТСКРИПТУМ. *Стихи*

112

---

## **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

Антуан де Сент-Экзюпери

**ЦИТАДЕЛЬ.** *Продолжение.*

*Перевела с французского Марианна Кожевникова*

118

---

## **ПУБЛИЦИСТИКА**

Людмила Сеницына

**ГРАД ВИДИМЫЙ И ГРАД НЕВИДИМЫЙ**

152

---

## **ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

В. Петров

**КАЛИОСТРО.**

*Воспоминания и размышления о М. А. Кузmine*

167

---

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Григорий Кружков

**ОДИССЕЯ ЭДВАРДА ЛИРА**

189

---

## **ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ**

Владимир Дядичев

**МАЯКОВСКИЙ: «ИМПЕРАТОР»**

*История одного стихотворения*

207

---

## **ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ**

Кеннет Грэм

**ИВОВЫЙ ВЕТЕР.** *Роман. Продолжение.*

*Перевела с английского Юлия Муравьева*

216

---

## **АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА**

223

---

---

---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

### Сергей Юрьенен ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ

*Ara siñora A. G. R.*

#### *Роман*

*...Признак оторванности от почвы и от корня, если человек склонен любить женщин других наций, т. е. если иностранки становятся милее своих.*

*Ф. М. Достоевский*

#### МАЙ

Пассажиры напирали к выходу, попутно беспокоя за плечо:  
— Столица . . . Москва, молодой человек!

Застегнутый в ремень, человек этот лежал откинув голову. Имея бороду и волосы до плеч, напоминал священника, но был не в рясе, а в несветском пиджачке с чужого плеча. Еще на нем были очки, темные и битые. Очки скрывали сомкнутые веки, но только отчасти — скулы, уже заплывшие.

Это был я.

Вокруг остались одни измятые чехлы, когда я щелкнул пряжкой и поднялся.

Переступив на трап, прищурился.

Мир дал трещину — причем отнюдь не символически. Стекла держались, но на изломах засверкало, отдаваясь в мозгу.

В такси я сел на заднее сиденье.

— Ленгоры. К МГУ . . .

Анестезия прошла, я это чувствовал под ребрами. Когда я открыл глаза, в окнах такси уже появилось светлокаменное высотное здание — сначала шпиль с основой, потом и боковые башни с часами, на которых я разглядел и время. Было еще очень рано, хотя Москва держала в воздухе, не давая посадки, почти столько же, сколько летели.

Расплачиваясь, я выгреб последнюю мелочь.

В иллюминатор Главное здание МГУ выглядело как нелепый каменный торт. Но на человека у своего подножья оно наваливалось всерьез — всей тяжестью тоталитарного бытия. По гранитным ступеням я поднялся под колоннаду.

Латунный поручень турникета облез от миллиона бравшихся за него ладоней.

— Пропуск!

Как обычно, я только выдвинул студенческий билет, но вахтер от нечего делать проявил бдительность, заставив не только предъявить в раскрытом виде, но и вырвав из рук. На фотокарточке предъявителю уже пять лет, как наивные девятнадцать.

— Вроде не ты?

Я не реагировал.

— Александр *Ан... Ан...* Не наш, что ль?

Я снял очки:

— А чей же?

Поколебавшись, вахтер сложил пропуск.

— Ну, иди...

Шаги по мрамору отдавались под сводами и в мозгу. В сумраке центральной колоннады я свернул налево и коридором вышел на галерею с балюстрадой из полированного гранита. Еще раз выдвинул свой пропуск при входе в зону «В» — гуманитарный корпус. За углом налево — ниши с лифтами. Я нажал кнопку и, слыша, как где-то очень высоко включился мотор, оперся о битую грань.

Кабина пришла пустая.

Я начал этот день давно и далеко, а в общежитии еще не просыпались. В холле двенадцатого этажа плавал дым и стоял перегар от миллиона выкуренных сигарет. В сумраке коридора второй блок слева. Украшенная четырехзначной латунной цифрой дубовая дверь отворилась в прихожую, где было еще четыре. Две в комнаты — с квадратами непрозрачного стекла. Изнутри правой стекло добавочно затемнили. Я нажал ручку. Заперто. Я стукнул и обдул костяшку, на которой лопнула запекшаяся ссадина.

— Тс-с...

Иванов вылез с пальцем у рта. Вафельное полотенце, которое он сжимал у пупка, не скрывало признак — небольшой, но перетруженный.

— Йо-о... — разглядел он. — Где тебя так?

— Далеко от Москвы.

— Шпана?

— Офицерье.

— ГБ?

— Армия. Как у тебя с деньгами?

— Друг... Все спустил на праздники. Ногами били?

— Естественно — когда упал.

— Ничего не поломали?

— Очки.

— Рентген бы сделать.

— Ерунда... Хотя бы рубль — нет?

Со вздохом Иванов влез в комнату и появился с чужими джинсами. Вынул из них дамский кошелек, расщелкнул и отпустил мне юбилейную монету. После чего понюхал джинсы.

— Чьи, узнаешь?

Во время зимнего анабиоза пришла ему идея кругосветного путешествия — благо в МГУ 102 страны. Для начала Иванов наметил братскую Польшу — пепельную блондинку Полу, обладательницу этих первородных «ливайсов».

— Поздравляю.

— Особенно не с чем. Чему их тут учили? По-моему, душок... Не чуеть?

От нюханья джинсов я воздержался.

— Или это усы?.. — Иванов вымыл их с мылом в душевой и осушил полотенцем. — Сбрить, что ли, гордость казацкую?

— Сбрей, если так.

— А вот! — Иванов хлопнул по сгибу локтя. — Пойми меня пра-

вильно, я к этим пиздячкам с полным уважением. Не как наша «русская братия». Меня даже Джиана мужским шовинистом не называла. Но все хорошо в меру, нет? Эта же, — тряхнул он джинсами, — не знает и знать не хочет. Хоть и западная, все тот же славянский безудерж. При этом, что парадоксально, чистый соц. Ну, хуже наших. Всего боится. Сплетен. Что в посольство стукнут ихнее — насчет морального облика. В общем, наверно, я промашку допустил. На подругу надо было курс держать. Подруга у ней... О, — хлопнул он себя по лбу. — Ты машинку не загнал?

— А что?

— Перепечатай ей диплом, и будем по нулям. Сколько за тобой там, четвертак?

— Поле?

— Подруге. Между прочим, из Парижа.

— Француженка?

— Испанка, друг. Глаза до этих самых достают. А попка... Но... Латино, лучше не соваться. Так как?

— Не знаю... Роман я собираюсь начинать.

— Тебе же это пару дней?

С ногтя я подбросил рубль, который открылся не орлом, — с ладони смотрел профиль Ленина.

— «Картавого» включая? — уточнил я.

Семь этажей вверх — и я появился на крыше корпуса перед своей Южной башней. Лифт уже как в обычном доме. Еще четыре этажа — и с мыслью отключиться минимум на сутки я вынул ключ. Оказалось, что не заперто.

В проеме окна стояла голая особа. Любуясь видом на Москву, она от избытка энергии переталкивала веснушчатым задом. Сквозняк вывел ее из забытья. Охнув, она прикрылась, а потом спрыгнула так, что у секретера, забитого словарями, подскочили рамы.

— Мамочки. Глаза-то закрой!

Натянула платье, всунула ноги в «лодочки» и пошла на меня, раздираясь алюминиевой расческой.

— Вы кто?

— В профессорской посуду мою.

— А здесь как?

— Сержант привел.

— Какой?

— Пусти, ну. Вон за шкафом...

Накрывшись с головой, на моем койко-месте лежал обладатель надетого на стул мундира. Погоны были голубые, и на каждом сияла надраенная аббревиатура «ГБ».

ГБ?

Я снял очки.

На письменном столе был бардак, под который подстелили номер французской газеты — вынужденно коммунистической. Граненые стаканы из столовой, две бутылки из-под водки и супная тарелка, полная окурков американских сигарет. Лаковым козырьком и кокардой сияла фуражка. Ее нутро издавало честный запах «Тройного» одеколona. За ободок вколоты две иглы, обмотанные черной ниткой и белой, а по окружности послунявленным «химическим» карандашом выведено «Альберт Лазутко, Советский Союз».

Я сдернул простыню.

Суровой зимой после подавления Праги этого мальчика-полиглота отчислили за связи с иностранцами. С тех пор языки он, возможно, позабыл, зато превратился в атлета.

— Подъем!

Ягодицы стиснуло. Подброшенный пружиной атлет вскочил и стал надевать брюки цвета хаки. Потом глаза его открылись. Он сорвал брюки и швырнул их на пол. Снял за погоны свой мундир, бросил по-верх. Метнул фуражку. Вспрыгнул на свою форму и стал затаптывать ее в паркет. Он рычал и скалился — с незнакомым мне выражением. К мундиру был привинчен знак «Отличник боевой и политической подготовки». Наколовшись, он отскочил.

— С-сволочи. Три года жизни. . .

Он распахнул окно и вспрыгнул на подоконник, откуда за рекой под солнцем Москва сияла до самых кемлевских башен.

— Сва-бода!

С высоты, на которую даже птицы не поднимались, можно было без последствий упражняться в том, что психоаналитики называют изначальным криком.

Альберт распечатал *Viceroy*.

— Из буфета ЦК, между прочим. . . Закуривай. Как Альма матер?

— У Клубной части крыльцо обрушилось. Не видел? Оседают Альма матер под собственной тяжестью.

— Но стоит?

— Как видишь.

— Товарищи Шестьдесят Восьмого года?

— Иных уж нет.

— А те?

— Далече.

— Айвен?

— Вернулся в Штаты.

Альберт усмехнулся:

— Сам и виноват. Слишком хорошо по-русски говорил. Я его предупреждал. Дистанцируйся от пипла, подпускаяй акцент. Жаль. Парень был хороший. Жан-Мари?

— Здесь. Впал в голубизну.

— А твой анарх-испанец?

— Давно в Париже. На прощанье во гневе оглянулся. Выбил стекло на Главном входе. Руку обмотал шарфом и улетел в крови.

— Да, жесты он любил. . . А без меня знакомства были?

— Не с иностранцами.

— Все эти годы — и ни одного?

— Все эти годы, — ответил я, — были одной большой иллюзией. Советской.

— Что ты имеешь в виду?

Я ухмыльнулся:

— Любовь.

— Вопросов больше нет. . .

Альберт принял душ, руками вычистил форму, навел блеск на ботинки, надел фуражку и козырнул:

— На фак. Насчет восстановления.

— Какое отделение?

— Прости — но только не на русское.

— Удалось сохранить языки?

— Друг! Со словарями я даже на учениях не расставался. За голенищами таскал. Единственное, что спасало. . . Адъос.

— Оревуар.

К фанерной изнанке секретера приколоты все те же снимки. Один я вырезал из найденного французского журнала — изможденный литературой мизантроп с венозным виском. Другое получил до востребования и без обратного адреса. Это было любительское фото. Альберт был на нем еще в чине ефрейтора. Во рту сигарета, руки раскинуты на оба

полушария политической карты мира, висящей за его спиной в каком-то из «красных уголков» сверхдержавы.

Я смежил веки.

Потом слез с дивана и завернул матрас.

Кроме женских трусов, неприятных и незнакомых, под ним была заначка димедрола — сдвоенная облатка с прозрачными ячейками. Таблетки в ячейках сплющило. Принять, что ли, в виде порошка?

... Нас поджидали в арке ее дома на Коммунистической — из ресторана, пьяных. Засада меня даже обрадовала, я просто не представлял, как вернуться в Москву живым. Но она меня отбила каблуками и притащила к себе. Весь тот год — от зимы до зимы — мы с ней бросали вызов государству, которое заставляет каждого жить согласно «прописке» — положенному месту. В Москве ей было «не положено». Она вернулась по месту «прописки», я сам ее отправил. Полгода после этого надеялся, что не конец, а просто анабиоз. До майских праздников. До этого рассвета, когда я осознал, что она спит. Я застыл на месте. Отвел свой взмокший чуб и понял, что это уже даже не конец, а то, что — после. Подтеки туши высохли под сомкнутыми веками. Косметика стерлась о подушку, обнажив бледное лицо — почему-то совершенно случайное.

Она не проснулась, когда я вышел, и продолжала спать, когда я ушел, прихватив свое фото из-под настольного стекла и книгу, за которую на первом курсе отдал стипендию на черном рынке: «Путешествие на край ночи».

Я был уверен, что самолет разобьется.

В шкафу, с изнанки дверцы, было зеркало. На меня вопросительно смотрел побитый христосик. Скулы, конечно, вопрос времени. Но волосы до плеч, но борода... Я расщелкнул инструмент — сдвоенную расческу. Бритвы в ней заржавели, но других не было.

И занялся самоистязанием. Сжимая челюсти, стонал. Потом вытер слезы. Вся «духовность», за которую меня любили, слетела на затоптанный паркет. Я смел ее на разворот «Юманите», ссыпал окурки, порвал свой димедрол и бросил сверху. Скомкал все это, ощущая деликатность газеты, пусть коммунистической, но западной, отнес на кухню и спустил в дыру.

Теперь я смахивал на Ди Эйч Лоуренса — на снимок с карманного издания *Lady's Chatterley Lover*.

Оставалось написать роман.

Он объявил, что Сорбонну я должна выбросить из головы.

«Учиться поедешь в Москву».

Я хотела стать писательницей. До тех пор, пока эта идея не увлекла его и не стала идефиксом: дочь-писательница. Ссоры прекратились. Дочь сидит взаперти и стучит на машинке.

Однажды вошел, взял страницу и прочитал, почесывая брюхо. «Не то пишешь. Напиши-ка лучше роман о забастовке». — «Какая забастовка?» — «Горняков Астурии». — «Про Испанию я ничего не знаю». — «Я подберу тебе все материалы, и напишешь. Публикуем немедленно. Переводы на все языки, включая русский и китайский. Слава, деньги, независимость. Ты же хочешь независимости?»

Он ушел, я все порвала. С тех пор писала только для лица. У меня всегда были самые лучшие сочинения.

Последний текст для лица был ни о чем. Ни к чему не имел отношения. Я описала кресло, найденное мной на чердаке фермы, где живут мои бабушка и дедушка. Со всеми подробностями я описывала



погружение в это кресло и в прошлое моей семьи. У меня нет ни бабушки, ни дедушки, ни фермы, ни страны, ни прошлого.

Ни будущего, от которого страшно по ночам.

Я сказала, что в Москву не поеду. Он сказал: нет денег содержать студентку в Париже. Буду сама зарабатывать. Без документов? Я получу. Что ты получишь? «Карт д'идантите». Его чуть приступ не хватил, так он орал. Иди получай! Расскажи все им! Заодно и в газеты их сходи — еще и золотом осыплют! Надо же, кого я воспитал! Профессиональный революционер — мелкобуржуазку!

От слез у меня вылезли ресницы.

В подвале я нашла пистолет. В чемодане с сырыми газетами. Будь это просто анонимный пистолет, мне бы и в голову не пришло. Но «кольт» был адресован Ему: «Товарищу Висенте — Фидель. Родина или Смерть!» Я взвела курок, приставила дулом себе под левую грудь и нажала спуск. Осечка. Патроны испортились. В этом подвале каждую зиму прорывает трубы.

В своем прокуренном кабинете он писал. Я положила пистолет ему на рукопись. Снова взрыв. Откуда? Почему не выбросили?

Вызвали Мартинеса. Поехали с ним и утопили в Сене. «Твой отец — святой человек. . .»

Он дал мне денег — сняться на паспорт.

— На какой?

— Какой достанут.

В Париже уже никого. Симон улетела в Голливуд — искать счастья. Кристин после аборта отправили в Нормандию. Марокканский ее принц исчез. Я поехала на Републик. Нгуен был дома, но простужен, и ничего хорошего из этого не вышло. Но так или иначе.

Нгуен.

Это — Швейцария, Цюрих, какой-то парк. Но даже здесь, в нейтральной стране, где всем на все плевать, Он сидит на другой скамье. Делает вид, что читает *Financial Times*.

На Лионском вокзале мы сели в разные купе. В одном мать с Рубио, Паломой и Мигелем. В другом я, с зеленым паспортом, выданным в Голландии, где я никогда не была. В третьем — Он. Уж не знаю, с каким из своих паспортов.

Через три часа самолет на Москву. Никогда я не могла понять, почему так покорно шли в крематорий. Я совершенно свободна. Встать и убежать, исчезнуть. Погибнуть или стать совершенно другим существом. И никогда не вернуться. Желание такое сильное, что я даже схватилась за скамейку. Но почему я продолжаю сидеть? Неужели из-за этой дурацкой истории, которую они превращают чуть ли не в трагедию? Я забыла в поезде фотоаппарат. Оказывается, пленка была начата, а там все их руководство во главе с Ним. В непроявленном виде. . .

Меня высадили на окраине Москвы.

Я думала, по крайней мере, что окажусь внутри грандиозного в своем безумии сталинского здания со шпилем — в Главном. Нет. Только начиная с третьего курса. Поселили в банальный Студенческий городок. Километрах в двух-трех от Главного здания, но это уже полная окраина. Пятиэтажный корпус с видом на пустырь. Обитатели вылезли из окон, глаза на этот катафалк — черную «Чайку», из которой вынимали мои чемоданы.

Перед отлетом в Париж они заехали еще раз — попрощаться. Было взаимно тягостно. Я была им неприятна. Сознавая это, не де-

лала никаких попыток облегчить их страдания по поводу их предательства. Радости, что остаюсь, не выразила. Негативных эмоций на этот раз — тоже. Нулевой градус. Чистый садизм с моей стороны. Возможно, я преувеличиваю свою роль любимой дочери. Возможно, они вовсе не были раздавлены комплексом вины. Но им было очень неприятно. Они прилагали все усилия, чтобы не замечать убожества, в котором меня бросают. Садясь в «Чайку», мать еще раз похвалила чистый воздух столицы СССР. Я заметила, что и в Париже у меня не было проблем с дыхательным трактом. Не удержалась. . .

«Все же кури поменьше».

Свобода. . . Где?

Парадоксально, но во Франции, на Западе вообще, я себя чувствовала как в концлагере. А в настоящем лагере — «социалистическом» — свободна до головокружения. Так, что даже страшно.

И конечно — деньги. В Париже приходилось даже на билет в метро просить. Здесь сразу выдали 90 рублей. Сколько это? Сказали, что для советских стипендия — 35. Я отсчитала 55 обратно. Смотрели, как на идиотку. «Не положено». Замечательное советское слово! «Вам, как иностранке, положено 90».

И хоть застрелись.

Комната на пятом этаже. Еще три кровати — кроме моей у окна. Пока с голыми сетками.

Пустырь до горизонта.

Три эфиопа — или это суданцы? — очень высокие, очень черные, завернутые в ослепительно белые одеяния, стоят внизу на закате и смотрят в этот советский пустырь, как еще вчера в пустыню. Они стоят на асфальтовой дорожке, сразу за которой — заросший пыльной пылью овраг. По дну его проложена узкоколейка. По ней проходит вагонетка. Только по ночам — никогда днем. Окно открыто, я просыпаюсь. Вагонетка идет медленно, тяжело, спотыкаясь на стыках рельсов. Навешает какое-то предприятие на пустыре вдали. Бункерного вида — одноэтажное, с глухими стенами, сливающимися с местностью. Рельсы упираются в железные ворота, которые открываются только по ночам. Днем бункер признаков не подает.

«Что там?» — спросила я. Комендантша корпуса Екатерина Ивановна, ядреная русская баба (как пишут в советских романах), посмотрела с подозрением: «Тебе какое дело?»

Я почувствовала себя шпионкой.

Но в этом бункере явно что-то секретное. Биологическое оружие, химическое? Склад радиоактивных отходов? Это всего метрах в пятистах. Вдруг это соседство изменит мою биохимию? Мою формулу? Психику это уже меняет.

А по другую сторону пустыря, рядом с шоссе, дощатый павильон «Мосфильма». Вокзал из «Анны Карениной», которую сейчас снимают. Снова будут навязывать ложь скоро уже позапрошлого века. Я имела несчастье прочесть эту книгу в детстве по-русски. Не с нее ли начались мои комплексы, моя деструктивность?

Бункер и этот павильон «важнейшего из искусств».

Где я?

Меня обокрали. Из умывальника пропало все мое белье. Здесь стирают вручную и развешивают на веревке. Валя Примакова, соседка по комнате, захохотала: «Мать, ты сама виновата! Кто же оставляет без присмотра французское белье?»

Но в стране, откуда я приехала, другого и не носят.

Первый день занятий.

Факультет на проспекте Маркса, в центре. Это далеко. Это — сначала пешком, потом на автобусе, потом на метро и снова пешком. Я не подозревала, что эти пространства способны так изнурять.

Понимаю с трудом. В разговорном варианте русский — это громкий, резкий, агрессивный язык.

Снова общежитие. Душевая. Отделанные непрочной плиткой секции без дверей. Габариты местной наготы угнетают. Тем более, что моя вызывает острое любопытство. Разглядывают откровенно, стремясь при этом войти в физический контакт: «Спинку потереть?» Бр-р. . .

С едой проблема. В столовых несъедобно. Даже в зале «интернациональной кухни», где «мясо по-кубински» только ценой отличается от «азу по-татарски». В общежитии есть кухни, без холодильников и по одной на этаж, но готовят только индусы. И что готовить? В «гастрономе» домохозяйки давятся за синюшными трупиками кур.

Живу на кофе и сигаретах.

«Мальчик». Его привела Валя Примакова. Студент Института восточных языков. Арабист, со мной говорит по-английски. Хочет работать на Ближнем Востоке. Почему? Книжку когда-то прочитал «Кукла госпожи Барк». Про шпионов в Тегеране. Рост, стать — похож на американца. Но глаза все портят. Какие-то рыбки.

Свобода. . . но какой ценой? Про качество жизни забудем. Об этом и понятия здесь нет. Здесь есть то, что есть. Реальность.

А что реальность?

Реальность — это сало, завернутое в какую-то провинциальную из «правд». Реальность — это Валя Примакова. Реальность — это развернуть утром сало на голом столе, отрезать ножом и есть. С хлебом и чаем. Потом заворачивать в газету и прятать в шкаф. Где, среди прочего, моя одежда. Мой флакон Герлена. Восток и Запад — вот формула конвергенции на нашем частном уровне. . . Одна носит парижскую одежду, воняющую салом, другая жует сало, отдающее *L'Heure bleue*\*.

Еще есть Оля и Таня. Обе держат себя как красавицы. Может быть, по местным стандартам, они красавицы и есть. Я же наблюдаю у обеих гипертрофию зада. Труссы, которые они развешивают на перекладинах кроватей, если и можно найти в Париже, то разве что в английском магазине — бульвар Османн. Может быть, это мне только кажется. Может быть, это я уродка, а у них все основания смотреть на меня с неподражаемым советским превосходством. Впрочем, трусы свои они прикрывают полотенцами:

«Неудобно. Вдруг мальчики?»

Примакова надела мой свитер и пошла «на стрелку». Вернулась она в истерике:

— Ужас, кошмар. . . — Зубы лязгают о стакан с водой. — Думала, приличный мальчик. . .

— А он?

— Извращенец! Такое мне, девочки, предложил. . .

Когда жестами и междометиями Примакова объяснила, в чем дело, обе дуры тоже закричали, какой кошмар. При этом всем по 18—19. Я засмеялась, они обиделись:

— По-твоему, это нормально?

— Вполне.

— А тебе такое предлагали?

Я вспомнила Жориса из XVI-го округа.

\* «Голубые сумерки» (марка французских духов).

— Раз было.

Смотрели на меня с таким ужасом, что я пожалела о своей сексуальной откровенности. И разозлилась.

— О'кей. . . Обнимаетесь, целуетесь. Нормально?

— Нормально. . .

— Доводите, — говорю, — партнеров до эрекции, себя до мокрых трусов.

— Почему мокрых?

— Ладно. . . А что потом?

Они с гордостью:

— Девушки отдаются только до пояса. Сверху!

*Etc.*

После этого ворочались в постелях. Потом Примакова:

— Инес, а ты еще девушка?

— Нет, конечно.

— Почему это «конечно»? Мы, например, все девушки.

— Сочувствую. В этом возрасте вредно.

Они испугались:

— Почему?

— Паутина заводится.

— Нет, серьезно?

— А серьезно — выделения от этого.

— Н-ну? — ужаснулись.

— Зеленые, — говорю, — Обратите при случае внимание.

В Париже я представляла себе всё. Кроме того, что в девятнадцать лет попаду в детский сад.

Свитер я обратно не взяла. Примакова на этой «стрелке» проггла его сигаретой.

Мой первый советский. Юра. Пригласил на танец, а потом пропал. На следующий день я нашла его комнату. Постучалась, вошла. Юра спал. Во сне он показался мне еще красивей. Я села рядом. Через полчаса он мне разонравился. Настолько, что, уходя, я боялась, что он проснется. Что тогда делать?

Он не проснулся.

На дипломный семестр Инес Ортега переехала в город. Человек из Испанского центра предложил ей комнату московского испанца, который находился в долгосрочной командировке в Латинской Америке.

Она оказалась в рабочем районе. В коммуналке — с соседями. Один из них сначала называл ее жидовкой и угрожал топором. Но, узнав, что она испанка, вспомнил лозунг «Но пасаран» и стал приглашать на пиво. Он показал ей справку, где был написан его инвалидный диагноз: «Полное затмение центральной нервной системы». Он делал клетки и продавал их на Птичьем рынке.

В другой комнате жила пожилая женщина с матерью-старухой. Мать была верующей, а дочь работала в сборочном цеху и свой инструмент называла «гайкоёбом».

Комната была пуста. Часть отделена шторой на палке с кольцами. Инес купила матрас и устроила за шторой будуар. Решетка вентиляционной трубы в левом углу пола оказалась прямо под изголовьем. Голоса рабочих из котельной были как снотворное.

Инес купила венский стул и старинное трюмо. Каждое утро она садилась перед зеркалом — работать. Для вдохновения заглядывала в свой синий документ — вид на жительство для иностранца в СССР. Штамп визы подтверждал, что через три месяца она должна вернуться в Париж. От этого голова шла кругом больше, чем от кофе

и первой сигареты. Она уезжала из Парижа никем, а вернется преподавателем. Место в лицее Дидро уже зарезервировано, а это значит — своя квартира, машина и свобода.

Оставалось только защитить диплом. В зеркало виден был матрас с раскрытой тетрадкой у изголовья. При мысли о дипломе ей хотелось продолжать дневник. Или начать роман. А лучше всего лечь и до отлета не вставать. Ей прислали несколько коробок с энергетическими ампулами для интеллектуалов. Приложенной пилочкой она надпиливала кончик, отламывала и, запрокинув голову, вливала в себя парижский эликсир.

Он оказался эффективным. Еще была целая коробочка, когда в одно прекрасное утро Инес поставила точку. Оставалось найти машинку, чтобы все это перепечатать.

В специализированном магазине на Пушкинской в продаже оказались только арифмометры. Машинки? Может быть, к осени поступят. Ей предложили записаться.

На осень? Инес засмеялась.

Она поехала в общежитие.

— С русским шрифтом? — уточнил, покручивая ус, новый любовник Пола, которая по лицу Инес пыталась прочесть реакцию. Потому что он был русский — предел падения. Но, по крайней мере, в джинсах. С заплаткой в виде сердечка, по которому он хлопнул.

— Знаю.

МГУ, конечно, не Сорбонна. Единственная на курсе машинка была у его знакомого. Который «мертвая душа». В общежитии только прописан, а живет на квартире, которую снимает где-то у чёрта на куличках.

— Зачем?

Русский понизил голос:

— Писатель. Модус вивенди в соответствии.

— То есть?

— Все запрещенное. Уставом социалистического общежития. Отсюда его бы выгнали — если не хуже. Не говоря о микрофонах, здесь же, вы знаете, стучац на стучацее. . .

— Он богатый?

— По уши в долгах.

— На что же он снимает?

— Дипломы пишет.

— За деньги?

— Да, но гениальные. Если хотите, у него две степени уже — в Бомбее и в Багдаде.

— Как мне его найти?

С порога Пола обернулась:

— То, может, я побуду в душе, стара?

Мать Пола изнасиловали в танке, куда втащили, когда она с цветами встречала Красную Армию. Что ей не помешало в «новой Польше» стать партийным деятелем, а Поле идти на риск даже с грузинами — не говоря о русских усацах.

Вид был на залитые солнцем Ленинские горы — асфальт и газоны с деревьями в цвету. Инес влезла с ногами на выдавший виды диван. Папку с дипломом она положила на край стола.

Три сигареты спустя в дверь постучали. Писатель дипломов за темными, причем разбитыми, очками пытался скрыть вспухшие скулы. Не без труда улыбнулся: «Буэнас диас».

Сел, открыл папку.

— «Идиот и Дон Кихот». . . Речь об этом?

Она кивнула.

Он взялся за карман пиджака, вынул пачку американских, — она отказалась. Она курила «Шипку».

— Что вы думаете об этом? — спросила она, когда он дочитал.

— С точки зрения научной?

Она вспыхнула:

— Мне на науку наплевать, а на советскую тем более. Мне надо защитить это говно.

— Почему? По замыслу это как раз интересно. Но мне сказали, что речь только о перепечатке.

— А мне сказали, что вы — профессор преступного мира.

Он покраснел.

— Или нет?

— Обстоятельства.

— Сколько вы берете за диплом? Я заплачу вдвое. Хотите валютой? «Мальборо»? Джинсы? Я пришлю вам из Парижа все, что захотите.

Облако дыма разрасталось между ними. Он утер глаз под разбитым стеклом.

— У меня друг был из Парижа. . . Сломался здесь.

Она назвала имя:

— Нарциссо.

— Вы его знали?

— С детства. Он с ума сошел после Москвы. Сидит все время взаперти.

— В Париже?

— Да.

— В Шестьдесят Восьмом году мы с ним здесь пошумели. Настоящий был анарх. А вы?

— Что я?

— Как выдержали до диплома?

— Обстоятельства, — сказала она с вызовом.

Он взял папку, поднялся.

— Сложную тему вы для себя изобрели. Мне нужно подумать.

— Только недолго.

— Адъос.

— До свиданья, — ответила Инес сердито.

Из автомата у «Автозаводской» она сказала, что советский ей приснился. Без порнографии. Только улыбка.

«Только? Стара, ты в большой опасности. Поверь мне».

Опасности никакой, но озабоченность подруги была приятна.

Солнце перекрыл парень с завода.

— Ёбарь нужен?

Несмотря на школу коммуналки, Инес не сразу поняла. Потом засмеялась:

— Есть уже.

— А жаль.

Инцидент ее поразил, в Москве к ней не приставали. Худую, стриженную «под тиф», в длинном плаще и джинсах, даже за женщину ее не принимали, обращаясь только по пивному делу: друг, дай двадцать копеек. . .

Она заглянула в стекло табачного киоска.

Лицо обычное.

Просто пришла весна. И ветер гонит пыль по улице.

— А если говорить всерьез?

Тогда Альберт вспомнил из чтений ранних лет — украинского экзистенциалиста Георгия Сковороду.

— *Мир ловил меня и не поймал.* Сковорода на своей могиле это написал. А если ты еще живой, что делать? Меня поймал.

В огромном ресторане на вокзале они кончали графин водки.

— Но ты бежал?

— Еще бы не бежал. Как получил повестку, сразу порвал и сделал ноги за Урал. Затаился в сельской школе, преподавателем всего. Вывел школу в лучшую по области, которая равняется трем Франциям. Только стал думать, что СА меня забыла, как онашла. Изъяли прямо на уроке. Обрили и в «столыпин». Трое суток взаперти. Все, думаю: штрафбат, китайская граница, бытие-к-смерти... Остановились. Откатили двери. И что? Откуда убежал, туда и привезли.  
*Москва.*

— Все это время мы были под тем же небом?

— Только я за воротами. Знаешь — из цельного металла. С красной звездой, которую свобода лишь на миг ломает посредине.

— А за ней?

— Не разглашу. Присягу дал.

— Кому?

— Тому, кто правит бал. И отныне Альберт Лазутко — мелкий бес. Ухо со мной остро. Продам любого.

Налил стакан и выпил.

— За что?

— Продам? За то, что сам капитулировал.

— Меня тоже?

— Друг... Все ведь здесь. — Имея в виду сердце, Альберт ударил себя под знак «Отличника», привинченный к мундиру. — Наш экзистанс, спонтанность наша, прорывы в подлинность... Любого смету с пути, но только не тебя. Неразложимое ядро.

В такси обоим стало плохо. Чем Александр и объяснил тот факт, что он побелел как мел, увидев у двери квартиры в Спутнике существо нездешнее.

Полы ее плаща лежали на ступеньках. В бутылке из-под молока клубился дым окурков. Она поднялась навстречу, прижимая папку.

— Инес! Позвольте вам представить... — Александр схватился за перила. — Мой друг из Министерства любви.

К губе Альберта присохла сигарета, и стоял он, ладонь впечатав в стену. Инес перевела глаза на Александра, который пожал плечами.

Сигарету Альберт оторвал с кровью.

— Аншанте...

Вывернув карман пиджака, Александр отцепил с булавки ключ. С одного из попаданий ввел и распахнул.

— Моя конспиративная... Как вы нашли, Инес?

Стоя в винный отдел, Альберт упрекнул:

— А говорил, что с иностранцами не водишься...

Александр не знал и даже не догадывался о том, что у человека могли взять перед демобилизацией подписку — информировать о контактах с иностранцами.

— Она тебе кто?

— Никто.

— Темнишь. Скрываешь от всевидящего ока... — Альберт взялся за прилавок, крытый железом.

— Шампанского.

— Бутылку?

— Пару.

— Сладкого? Полу-?

— Как полагаешь, друг? Давайте брют.

— Воля ваша, но девкам вспучит животы. — С показом рейтуз, передавивших ляжки, тетя Люба сняла бутылки. — Монопольной сколько?

— Не водки. Рому.

— Где ж ты такое видишь?

Альберт показал на светлый тростниковый *Caney*:

— Вон стоит.

— Кубинская ж отрава?

Очередь загудела в поддержку:

— Если душа солдата просит? Ты, Люба, знай давай. Мы, сказано, народ-интернационалист.

То, что в Москве еще не поздно, в «спальном городе» уже глухая ночь. Из черноты окна сквозило свежестью полей. Такси здесь нет, в Москву только автобусом. В ожидании последнего Александр наблюдал, как иностранка, готовая подняться, сводит пальцы на подлокотниках.

И разжимает снова.

Альберт крутил *El condor pasa\**. Эту — и еще «Сесиль». Мятую сорокапятку фирмы «Мелодия».

Она тоже услышала автобус. Издали — когда на перемычке мотор стал брать подъем. Улица здесь с односторонним движением. Автобус описывает петлю вокруг «Спутника» и — буэнас ночес — назад в столицу. Пыточный инструмент, а не маршрут. Гаротта. Завинчивая винт на горле, автобус — остановка за остановкой — приближался. Под взглядом огромных черных Александр очерствел лицом. Синьорита, мадемуазель...

Ваш выбор.

Автобус захлопнул двери. Она осталась. Через мгновение дом затрясся, на столе зазвенело.

— *El condor pasa*, — сказал Альберт.

Они смеялись, глядя друг на друга, — Инес и Александр. Он не смеялся так давно — до слез. Потом хватил рому и впал в апатию, слушая, как, помимо испанского, на котором с Богом, Альберт уже извилисто впускает по-французски.

Ложиться пришлось вместе.

Надев мундир на проволочную вешалку, Альберт слушал, как в гостиной гостя чиркает спичкой.

— Курит... Невероятно.

Закрыв деликатно дверцы. Лег и свел пальцы под затылком.

— Ну, друг, скажу тебе... Сверхиностранка. Везде была, все языки свои. Вот уж действительно гражданка мира. Поверх границ.

Александр отвернулся к стене и подсунул край одеяла себе под поясницу.

— В казарме я забыл, что, кроме биомассы, в этом мире есть еще и люди. Она ведь как бы на пьедестале, да? Где золотом написано: «Эчче Уомо». Воплощенное достоинство. Свобода. Ты заметил? Ничего не боится абсолютно. Говорит, что думает, что думает, то и говорит. Вот это оно и есть — Европа. Нет, в ориентире мы были правы. Запад. Только Запад.

Александр отбросил простыню. Альберта не было. От парижанки только запах. По пути на кухню под ноги попала фуражка с голу-

\* Полет кондора (*исп.*). Здесь и далее перевод с испанского В. Абаимова.



бым околышем. Он пнул, она обратно прикатилась. Он подобрал, повесил.

Начать с того, что Достоевский считал роман Сервантеса книгой, которые посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. Которую не забудет взять с собой человек на последний суд Божий...

Заваривая пятый чай, он их увидел в окно. Аборигены на них оглядывались. Полы плаща разлетались, походка независима. Придерживая ее за локоток, экс-сержант нес сетку с продуктами. В шкафу Альберт отыскал его летнюю одежду и, несколько опережая сезон, был на ветру как ангел — разве что слегка замаранный.

Александр встретил их отчужденным стуком машинки.

— Писатель милостью Божьей, — приобнял его Альберт. — Когда-нибудь выйдет из подполья и удивит страну.

Александр сбросил руку.

— А может быть, и мир.

Запахи с кухни отвлекали от размышлений о природе идеала, но, перед тем как сдаться, он долго сглатывал слюну.

Инес снимала со сковородки мясо. Не в виде котлет, а одним куском — еще и с кровью.

— Это куплено в СССР?

— Инес, — кивнул Альберт, сдирая с водки станиоль. — Показала мне «Кулинарию» у станции «Проспект Вернадского». Туда завозят для испанцев.

— Каких испанцев?

— Московских. Эмигранты той войны, их дети. Видел красные дома? Квартал повышенной категории, но им не нравится. Буэнос-Айрес называют. Да, Инес? Мол, дует. А я бы жил. Зачем я не испанец? Ну что, друзья... Прекрасен наш Союз?

Она выпила одним глотком.

— Ого, — польстил Альберт. — Русский бой-френд научил?

— Русского не было.

— За все это время? Не поверю.

— Русские меня за женщину не принимают. В отличие от Парижа меня здесь даже изнасиловать никто не попытался. — Она засмеялась: — Там, где я снимаю, сосед. Однажды схватил меня и все определил на вес: «Е... нельзя. Не тянешь».

Альберт поперхнулся.

— С-скоты...

— Нет, он по-своему душевный. Сначала зарубить хотел, потом мы подружились. А с русскими отец мне запретил. С кем угодно, только чтоб не русский.

— Русские разные бывают.

— Конечно. Вы, например, совсем другие.

— А кто ваш папа?

— Отец? Он литератор.

— Книги пишет?

— Статьи.

— Первая колом, — налил Альберт, — вторая соколом...

— А если уже первая как вторая?

— Тогда вторая пойдет, как третья. Маленькими птичками.

— *Мелкими пташками*, — сказал Александр, не выдержав глумления полиглота над родным языком.

— Хорошо мне с вами...

Альберт добавил:

— Пьется.

— Пьется тоже. Потому что вы хорошие.

— Иногда.

— Не очень часто.

— И чем дальше, тем все реже.

— Увы.

— Нет, — упиралась она. — Таких я не встречала.

Альберт поднял брови: мол, что тут скажешь? Такой вот человек...

После кофе она отключилась. Он накрыл ее пледом — сразу всю. С ботинками и стриженной макушкой.

— Клубочком свернулась. Парижаночка. И где? В бандитском, можно сказать, притоне... — Глаза его увлажнились. — Идем, не будем ей мешать.

Александр мыл тарелки, Альберт вытирал.

— Переутомляться ей нельзя. Сердечко.

— А что с ним?

— Ничего. Но с кулачок ребенка. Конституционно.

— Это она тебе сказала?

Горделиво Альберт кивнул.

— А про латино?

— Любовник у нее. Можешь себе представить.

— Ну и что?

Подав ему нож, Александр завернул кран.

— А ничего. Женщина как женщина. Со всеми вытекающими последствиями.

Упрямые слезы навернулись Альберту на глаза.

— Не для нас.

— Что за комплексы, сержант?

— Это не комплексы.

— Тем более что все равно уедет. Так или иначе.

— Я умоляю, друг. Должно же что-то быть святое.

Соседи сверху били по трубе, но, стиснув зубы, Александр дописал введение до точки.

— Вот. Дон Кихоту от идиота.

Когда она нагнулась, он коснулся ее затылка. Щелкнул разряд. Он отдернул руку.

Засмеявшись, она подняла глаза.

— Последний кофе?

Альберт предупредительно вскочил:

— *No te muevas!*\*

Глаза Инес сияли чистой радостью. Теперь она успевала на встречу с Фердыщенко — научным руководителем диплома. После кофе стала собираться. Утро, конечно, мудреней, но у нее масса неотложных дел.

Последним автобусом она уехала.

Стоя на краю ночи, они закурили. Слышно было, как автобус огибает Спутник. С веранды долетала музыка.

Альберт попросил пиджак.

— Схожу, пожалуй.

— На фингал не нарвись.

— Кто, я?

В чемодане с рукописями был димедрол. Александр запил таблеткой ромом и ничком пал в запах парижанки.

Утром, входя в сортир, он отшатнулся и встряхнул мозги. Стены распирала какая-то бетонщица, с ногами влезшая на унитаз. Губы сложились сердечком.

\* Не двигайся! (исп.).

— Писю, — сказала она так, будто за это будут бить.

В день закрытия Недели французского кино давали «Орфей спускается в ад». Высотное здание на Котельнической, где кино «Иллюзион», осаждала на солнцепеке вся Москва.

«Лишних билетиков» не досталось.

Вода в Яузе лоснилась, запыленная. Огибая «высотку», приток неподвижно впадал в Москву-реку. Над ней торчали заводские трубы периода «первоначального накопления» — прямо напротив невидимого Кремля. От сознания, что юный Жан Маре уже начал inferнальный спуск, хотелось броситься с моста.

— Единственный был шанс.

— Может, еще представится.

— Когда? Здесь однократно все.

— Зато infernum за каждым углом. Пошли...

— Куда?

— Зальем желание.

В «стекляшке» он развинтил гранатообразную бутылку. Александр смотрел, как наполняется стакан.

— Для меня, друг, это было как глоток свободы... За нее. За все, что случилось.

— Чего не случилось...

Болгарский коньяк прошел с трудом. Над тележкой с грязной посудой жужжали мухи. Особенно зудела одна помойная, которая моталась по всей «стекляшке», недовольно натываясь на клиентов.

Подсел мужик.

— Стакан, ребята, и взорву, что захотите.

— Чем?

— Чем скажете. Могу динамитом, могу ТНТ.

— Неси.

— Всегда со мной. — Вынул из кармана складной стакан и, потрянув, разнял. Извлек три сплюснутых конфеты «Мишка в лесу». Хватив «за то, чтоб они сдохли», развернул шоколадное месиво, выел и отплевался от фольги. — Кого рвать будем? Еще полстолько, и давайте адресок.

— Обратно партизанишь, Коля? — крикнула буфетчица. — Смотри, в дурдом заберут.

Красные глаза прослезились, когда Альберт набулькал.

— Ребята... Подорвусь, но выполню. — Он опрокинул. — Координаты. Еврей какой-нибудь богатый? Жить останется, но дверь снесу. Давайте. Кто зачатые друзья?

— Мы сами себе друзья.

— Вот именно, — сказал Альберт. — Свяжи нас, и по палке динамита в ректум.

— Только объекты. Людей не рву.

— А мы, по-твоему, кто?

— Субъекты, — сказал мужик. — Творцы истории.

— Складывай тогда стакан.

Вторую бутылку «Плиски» они развинтили в саду для занятий по ботанике.

— Первый раз я встретил человека, на котором бы женился. Не раздумывая.

— А я бы нет, — сказал Александр.

— И сразу же в Париж. Жена моя — Европа.

— Я против.

— Он против. Против чего ты?

— Принципиально. Против брака. Писатель должен быть один.

— Может быть. А человек один не может...

Яблони осыпались. Они созерцали снизу этот снегопад, лежа голова к голове, когда во двор школы въехала клетка на колесах — милицейский «воронок».

— Стой!

Перемахнув забор, они ушли дворами и успели на сеанс в подвернувшийся кинотеатр. Бутылку допивали в заднем ряду. Танки шли ромбом.

— Миру — мир! — сказал Альберт.

На них зашипели. Поднявшись для аплодисментов Верховному Главнокомандующему, зал их разбудил.

— ГБ чем лучше? За пределы можно уехать и не в танке. Поскольку, — добавил Альберт, — терциум нон датур.

— Датур.

— В роли жертвы?

Под грохот победного продвижения на Запад они спали, пока не разбудила билетерша.

Потом они добавили еще.

Плечом к плечу они вошли в метро. Станция была незнакомая. Чтобы пройти на эскалатор, им пришлось расстаться. На ногах они устояли, но каждый завяз в своем пропускнике. Обрезиненные створки нороя по ногам, сшибались с грохотом под сводами.

— Пройдемте.

Им заломили руки, и за дверку — тут же, на станции. Непростая дверка, но за ней — целое отделение.

— Студенты?

Они кивнули.

— Так. Будет вам высшее образование... Институт?

— Стали и сплавов, — нашелся Альберт.

— А ты?

— Тоже.

— Есть документы?

— Нет.

— У тебя?

Александр подал студенческий билет. В мусор говорил в телефон: «Битков, будь доброй волей, за ними ехал «воронок». Ерунда тут, пара хипарей. Лучше сходи в магазинчиком полей грибок. Там, за забором, он держит в руках билет. Что с рук пошел, он сразу же выжимал его к земле.

Первый поднял лоб со следом от фуражки, за ним ехал «воронок». Второй углубил лоб в землю. Мусор продолжал смотреть на пустоту в своих руках. Альберт уже вылетал за дверь. Александр не дал ей за-

— Какой же, блядь, «Стали и сплавов»?

— А кто сказал «Стали и сплавов»?

— Он.

— Так не я же...

— Фамилия?

— Буковский, — сказал Альберт.

— Не твоя — твоя?

— Там написано.

— Не русский, что ли?

— Русский! Почему?

— Не разбираешься. Английский.

Александр взглянул на Альберта, который сидел в кресле, зная, что понятия не имея, поднявшись со скамьи, Александр начал читать помощь в прочтении своей затершейся за годы обучения фамилии. Второй все ликовал по телефону по поводу неизбежной, как ему казалось, победы ЦСКА над Всесоюзным обществом «Динамо». С понтом взявшись для упора за стойку Александр протянул руку и выхватил свой документ. Мусор продолжал смотреть на пустоту в своих руках. Альберт уже вылетал за дверь. Александр не дал ей за-

крыться. По мрамору — на улицу. Налево — где темней. В ушах свистело.

На тротуар за ними выскочили сапоги с подковами. «Стой! Стреляем!»

— Это вряд ли.

Грохот рванул за ними так, что уши по-заячьи прижались. «Мы же инвалидами вас сделаем!»

— А это могут. Разлетелись! — Как мальчик-самолет, Альберт раскинул руки и спикировал направо.

Изо всех сил Александр сучил локтями по прямой.

«Врешь, не уйдешь!..»

Известная Москва была вокруг. Древняя. Слободская. Он отрывая за углы. Домик с подворотней. Он нырнул. Внутри девки с младенцами. От ударов домино по крышке керосиновой лампы. «Спрячьте, —

Взявшись за горячие грани, Александр покосился. Вдоль подоконника выстроилось десять цыбиков «грузинского 2-й сорт».

— Куда ты столько?

— Похмеляться.

— Чаем?

— Гулаговским. *Чифиром*. — Под взглядом Александра он рассмеялся: — Я же из Архипелага родом. Но служил не там. Не бойся...

— Стучат, — артикулировал Альберт.

— И деликатно.

— Я бы даже сказал, не по-советски. Вдруг Инес?

Попытка влезть в брюки не удалась.

Это была она.

В обнимку они отвалились.

Пред испанкой благородной  
Двое рыцарей стоят.  
Оба смело и свободно  
В очи прямо ей глядят.

— *Mi amigo es un gran erudita\**.

Блещут оба красотой,  
Оба сердцем горячи,  
Оба мощною рукою  
Оперлися на мечи.

Лбами они влетели в стену.

— Пардон...

— Что с вами?

Багровый закат смотрел в глаза. Они распластались на матрасе.

Инес стояла в позе сомнения.

— Неверно, — сказал Александр.

— Что?

— Интерпретируешь. Альберт?

— Это — дружба.

— Вижу.

— Мужская наша.

— Но несколько — как это по-русски... *Продвинутая* — нет?

— Это — чифир. Который не кефир.

Она не засмеялась.

— Понимаю.

— Три цыбика — стакан. Принял и ждешь. Придет ли?

— Кайф то есть.

— И пришел?

— В пути.

— Ну, ждите, — и она повернулась.

— Не уезжай.

— Осиротеем без тебя.

— В стране ГУЛАГа...

Альберт перевернулся лицом в подушку, Александр остался лежать — глазами к потолку, где догорал закат.

Ночью она вернулась.

— Вы еще живы?

\* Мой друг — большой эрудит (*исп.*).

Она прижала палец к вене над ухом Александра. Потом перешагнула его и опустилась на колени, зажав Альберта бедрами, взялась за его трапециевидную.

— Расслабься.

Она была в пижаме, застегнутой у горла. Она наклонялась и откидывалась. Ноздри болезненно затрепетали на теплый запах французских духов.

— Мерси, — пискнул Альберт.

— Теперь тебя. — Чернота глаз смотрела сверху. — Ну? На живот.

Шея от этого вывернулась. Она его оседлала. Остановившись, сердце забило и в паху. Ладони были у нее сухие и горячие. Когда они шли вверх, он слышал, как натягиваются пижамные штаны. Они шли вниз, он обмирал, кожей поясницы осязая сквозь натянутую ткань. Убрав ладони, она села на него всем весом. Она смотрела в окно.

— Полнолуние.

Он остался лежать ничком, когда она ушла и чиркнула в гостиной спичкой. Оба его сердца толкали к действию.

— Идем, Альберт?

Молчание.

— Тогда я сам.

Но Альберт притворился спящим, а в одиночку Александр не рискнул.

Усиленная интеллектуальная активность следующей недели подобной оказии уже не предоставила. . .

— «Идиот», — говорил он без отрыва от машинки, — в буквальном переводе — это просто человек. Отдельно взятый. Частный. В этом смысле «идиотизм», по нашим массовидным временам, состояние, близкое к идеальному. Христос, Дон Кихот, князь Мышкин да и сам ваш Унамуно — это все агония христианства. Сейчас в период пост-, пред-, или, не знаю, внехристианский, в агонии то, что еще остается у нас, Идиотизм. Партикулярность человека. Которая с юностью обычно и кончается.

— *Mi amigo se apasiona par el misticismo*, — встревал Альберт. — *Vamos a la cocina. . .\**

Но она воспламенялась.

— Дон Кихот умирает потому, что отказывается от борьбы. Испанец понимает агонию не так, как вы. Для вас агония — капитуляция. Форма умирания. Для Унамуно — это борьба. *La agonía es lucha\*\**.

— *Lucha* с чем?

— Со смертью. Сама жизнь, по Унамуно, — это ансамбль систем, которые сопротивляются.

— А мы сопротивляемся, — обижался Альберт. — Внутри себя.

— Наверно, очень глубоко внутри. Снаружи незаметно. А с Запада так выглядит, что вы уже сдались.

Экс-сержант ГБ выявлял мускулатуру шеи в знак несогласия.

— Ты им там передай: мы боремся.

— За право на идиотизм, — добавил Александр.

Сумку с книгами и кое-как засунутой пижамой Инес уже вынесла к двери. Пока он допечатывал список использованной литературы, Альберт приготовил прощальный обед. Водка, селедка. Масло, черный хлеб. Молодая картошечка с укропом.

\* Мой друг пристрастился к мистицизму. Мы — на кухню. . . (исп.).

\*\* Агония — это борьба (исп.).

Уже пришло лето.

Когда они начинали говорить не по-русски, Александр смотрел в окно. Во дворе мальчишки гоняли мяч. Сразу за полоской асфальта был пустырь в проплешинах, бабочках и одуванчиках, он отлого спускался к избам вдоль невидимого шоссе, а дальше поднималась насыпь железной дороги. Бедный вид, но Александр его любил. Глаза вернулись из простора, ставшего за годы конспирации родным, и он увидел, что на дорогу выскочил мяч, а за мячом — мальчик. Одновременно в поле зрения влетела машина. В этом «спальном» городе таких Александр еще не видел — официально-черных. Она шла с такой вседозволенной скоростью, что он задержал дыхание. Мяч перебежал дорогу. Мальчик не успел.

Его подбросило. Сверкнув на солнце, машина скрылась. Мяч еще добежал в одуванчиках.

Мальчик лежал на асфальте.

— Что ты, друг?

Александр опрокинул свою водку. Глядя на него, Инес взяла пачку, но сигареты кончились. Когда Альберт вышел, он пересел на его стул. Она улыбнулась, он опустил ей на плечо ладонь. Они стукнулись резцами и оказались на ногах. Боковым зрением он видел, как Альберт срывает с пачки целлофан и каменеет с открытым ртом.

Как в танго, Александр повернул испанку и, подхватывая на руки, еще увидел, что Альберт смотрит в окно.

— Кажется, кого-то сбило. . .

Но их уже не было.

## ЗНОЙ

— Это агент. Что ты смотришь? Информатор, провокатор, шпион. . . *Агент.*

— Да?

— Вне всякого сомнения.

С порога я вернулась. Это было перед свиданием, на котором я рассталась с тем, что называют «невинностью». Крови было мало, разочарования больше, чем удовлетворения, — причем, скорее, интеллектуального: отныне ты как все. Но так или иначе: *первый мужчина*. Еще не состоявшийся, уже подозреваемый в шпионаже. Причем давно и молча. Первое письмо из Польши мне было вручено вскрытым. Я нашла в этом не просто насилие над личностью, а садизм, потому что читать по-польски он все равно не умел. Цензурой он больше не занимался, хотя из Польши обрушился поток писем и бандеролей, из которых собралась целая библиотечка — от Норвида до Марека Хласко.

— Где ты с ним познакомилась?

— В Гданьске.

— Кто он?

— Студент.

— А в Париже — как?

— Приехал.

— Так вот — сел на поезд?

— На паром. Через Швецию. Там у него друзья. Попросил, чтобы друзья пригласили.

— И его выпустили? Из лагеря социализма? Ты там была, но ничего, как я вижу, не поняла. Возможно, ты даже полагаешь, что все это путешествие из одного мира в другой предпринято ради твоих красивых глаз.



Зная, что за мной признается только интеллект, я не ответила. Униженно молчала.

— Тебе скоро восемнадцать. Как можно быть такой наивной?

— Я не думаю, что он агент. — Я не смогла удержаться от маленькой мести. — Ему на все на это наплевать.

— Ах, наплевать? Такой аполитичный. Может, он с Франко той же веры?

Я удержалась и ответила, что он *nadist\**.

Но это тоже оказалось плохо.

— Все они там такие, — сказал он. — Ни во что не верят. Лучший питательный бульон для вербовки.

— Он не агент, говорю тебе. Обычный парень.

— То есть ты даже возможность исключаешь? Тогда прекрасно. Иди. Но помни, что на карту своих низменных страстей ты поставила тридцать лет борьбы с фашистской диктатурой.

Збышек вернулся в Польшу. Он написал, что ушел от родителей и живет теперь в Кракове. В его келье жутко холодно. Просил прислать свитер. Я должна была просить деньги даже на метро. На свитер для него я не могла. В ситуации, когда мать десять лет ходила в одном и том же плаще, а отец был вынужден курить «голуаз» и вместо пива в кафе заказывать кофе. Я одолжила у Симон. В последнем своем письме Збышек благодарил, хотя, писал он, свитер оказался на несколько размеров больше.

Когда я вернулась из Москвы на первые каникулы, все мои личные бумаги были снесены в подвал, где их, к тому же, затопило. Возможности опереться на документы нет, поэтому история первой любви остается еще более туманной, чем тогда, когда, изведав объем своей несвободы в так называемом «свободном мире», я подбирала в Латинском квартале свитер для человека, которому там, на Востоке, было холодно.

Инес дышала жаром. Рот ее обветрился и вздулся, как апельсиновые дольки. Не найдя застежки, он разорвал в отчаянии, но было поздно, — сосок ускользнул.

— Я так хотела, что не могу сейчас.

Через полчаса он пришел к выводу, что это ему не послышалось. Голова ее лежала у него на плече — там, где, как у каждого военнопленного, у него имелась выемка для приклада. Утопив плечо, он переложил ее головой на подушку, она повернулась к стене. Уснула она в ботинках — с сине-бело-красными ярлычками в швах занесенной замши. Он расшнуровал и снял, — ноги благодарно поджались. Он ее укрыл половиной вытертого шерстяного одеяла.

В прихожей все так же стояли ее вещи. Из сумки виднелась скомканная пижама и затрепанное по краям латиноамериканское издание *Del sentimiento tragico de la vida\*\**.

Альберт отскребал нож.

— Зачем она тебе? — От раковины он не повернулся, но голос его ломался. — Ты же не любишь Запад. . .

Пряча лицо, он пытался мокрыми руками зажечь спичку. По стакану с водой, который Александр поднес, ударил так, что от стены осколки брызнули по кухне. Схватил бутылку, добулькал из горлышка. Закурил.

— У нас был равный шанс.

— Да? У меня и в мыслях не было. . . Грязи. — Всклипнув, он ударил по столу. — Прекрасная Леди, я думал. Хотя знал же, знал умом,

\* Нигилист (*исп.*).

\*\* «Чувство трагического в жизни» (*исп.*).

что под юбкой все они... Прав был Лев Николаич, ох, был прав, нет у них сердца.

— С кулачок.

Альберт побелел:

— Уйди. Убью...

— Сержант, возьми себя в руки.

— Этим вот ножом. До трех считаю...

— За что?

— За все! *Раз*. За твой цинизм. *Два*... Сигареты ты можешь взять. *Два с половиной*... — Кулак с ножом взбелел костяшками. — Ну, я тебя прошу... Зачем нам, друг? При иностранке?

Ожидая удара в спину, Александр повернулся.

В спальне он тихо открыл шкаф, нашел туристический топорик, сел на линолеум и привалился к двери.

— Почему ты спишь на полу?

Инес стояла над ним, одевшись среди ночи.

— Куда ты?

— Мне нужно позвонить.

— *Сейчас?*

— Ты спи. Скажи только, где найти телефон.

Под дверью гостиной — полоска света: Альберт не спал. Они вышли на площадку и в тишине спустились.

Полы плаща разлетались от толчков колен, подошвы шаркали по асфальту: ш-шу, ш-шу. Уже не слышно даже электричек. Невероятно, что столица полумира всего в получасе, — такое чувство оторванности на этом астероиде в ночи. Описав петлю вокруг призрачных блочных коробок, они вернулись на исходную улицу Космическую.

— Нет здесь телефонов. Утром из Москвы?

— Сейчас.

На горизонте помигивали огоньки, но путь к ним через свалку. По обрыву они спустились в зону небытия, куда горожане сбрасывали мусор, а завод — свой железобетонный брак. Александр отпрянул. Кто-то нацепил использованный презерватив на арматурный прут — ржаво-ребристый. Под ногами запрыгали доски над ручьем, в котором струились жуткие водоросли — неподвижно и пузыристо. Натоптанная горожанами тропка вывела их на обулыженную дорогу, которая поднималась к домам у станции «Подсолнечная». Кабину они увидели на пустыре под телефонным столбом. Каркас двери отворился со скрежетом, но автомат работал. Сквозь проем, окаймленный остатками стекла, он протянул наружу трубку на цепи:

— Дай номер, я наберу.

Сунув руки в карманы, она повернулась в профиль и прищурилась. Он повесил трубку.

Ночь была безлунная, такая глухая и такая безнадежно русская, что он остановился на булыжниках как вкопанный, когда она заговорила по-испански. Резко, хрипло. Этой жесткости он в ней не ожидал. Скрежетало битое стекло, на котором ее подошвы искали опору в поединке с невидимым Кинг-Конгом.

Сердце сжалось, когда на дорогу соскользнула ее тень, — подросток...

Он зажег свет на кухне.

В стол был воткнут нож — и не столовый, а садовый. Простой формы, но длинный и широкий — с оленьим черенком.

— Зачем он это?

Александр оторвался от струи из-под крана.

Она расстегнула свою клетчатую рубашку навывпуск. Парижский ее лифчик связан был узлом. Это он порвал в отчаянии — не найдя привычной застежки на спине. Она выдернула нож, завела под узел и, как бритвой, разрежала черный нейлон. Соски стояли. Он сделал усилие, чтобы не сглотнуть.

Но в спальне она запахла рубашку.

— При нем я не смогу.

— А с ним?

Она засмеялась.

Но свет в гостиной освещал отсутствие. Перед уходом Альберт швырнул на пол белые одежды — парусиновые штаны и рубашку. Александр втянул штору, закрыл окно и выключил свет.

Его встретил огонек сигареты.

— Слиял.

— Куда?

— Отсюда и в вечность.

Она засмеялась:

— Я думала, вы друзья.

— Как говорит твой Унамуно, все кончается не только в этом мире, но, может быть, и в том.

Он был уже голый. Он лег. Она подложила подушку и села.

— Знаешь, кому я звонила?

— Догадываюсь.

— Я порвала с ним.

Александр стало не по себе.

— Он кто?

— Обычный мачо.

— Что ты ему сказала?

— Что изменила.

— А он?

— Что убьет.

— Тебя?

— Это не в традициях испанидада. Тебя. Просил твои координаты.

Я не дала.

— А надо было. Спустил бы его с лестницы.

В ее молчании был скепсис.

— Что?

— С ним лучше не встречаться. На все способен.

— Я тоже.

— Он уже убивал.

— Где?

— В Боливии.

— А здесь что делает?

— Международное право изучает. Официально.

— Так или иначе... *Enfin seuls\**.

Наверное, акцент, — она засмеялась. Расстегнула джинсы и, выставив колени, взбрислась, чтобы стащить заодно с трусами.

Момент проникновения разрушил Александра.

Ее бедра пылали. Испанка была переполнена мёдом.

Пути назад не было. Теперь только вперед.

Сознание возвращалось вспышками. Он комкал простыню, спеша дognать по бокам и утирая живот, слепящий влажной ямкой. На него взглянула луна. Бедрa ее сияли белизной, пятно волос искрилось, как муравейник, — живой чернотой.

\* С тобою не он, а я (франц.).

Мелькнул локоть, она втянула сквозь зубы воздух.

— Больно?

Она засмеялась.

Ближе к стене линолеум был пыльным. Он бродил, всем телом чувствуя, как белеется оно сквозь почему-то вдруг безлунный сумрак, передвигался вслепую, как ведомый ее глазами, наблюдающими его наготу, потом вдруг наступил на пупырчатость резины вокруг железа. Подобрал топорик, он не понял, отчего она забилась в угол, выставив колени.

— Холод, — услышал он свой голос. — Нужен холод.

Упираясь, она набила шишку: матрас вдруг исчез и она стукнулась об стену. Он забыл, что за пределами события есть еще и головы.

Взмокшую свою он потерял.

Било солнце, когда он отпал и ощутил свою небритость. Вернувшись, она опустилась на колени, но не легла, облокотясь о плоскость стены. Простыня измочалилась, он перевалил себя на бок.

— У тебя красивые плечи, — сказал он, любуясь этим вздернутым по-африкански круглым задом.

Она не отвечала, занимаясь чем-то лицом к стене. Поэтесса, что ли? Или это молитва? Темный какой-нибудь их ритуал? Своей шариковой ручкой женщина, и отнюдь не Востока, выписывала на затертых обоях столбцы. Наконец ее пятки вдавились в ягодицы, — она подвела черту.

— Что это?

— Дни.

— Какие?

— До конца моей визы.

Он ответил половиной рта:

— Умножь на ночи.

Хлеб зачерствел, потом кончился. Кофе тоже. А затем и чай. Кончились сигареты. Потом заначки. Потом бычки. Осталась только вода из-под крана.

— Так нельзя, — сказала она. — Надо сделать перерыв.

Локти он стер до сукровицы. . .

Вид был тот же. Труба теплоцентрали, провалы окон в белесых коробках напротив, совхозное поле с остатками часовни, — а он чувствовал себя как в фантастическом романе. *Возвращение со звезд*.

Уже совсем светлое, небо вдруг стало темнеть. Вспыхнул зигзаг молнии — бесшумно. В гостиную вошли босые шаги. Завернутая в простыню, она наклонилась в окно.

— Хочешь выброшусь?

Обнажив ее, он взмахнул простыней над запыленным линолеумом. Гром сотряс этот картонный домик.

И еще было утро. Застегнувшись с усилием, он приоткрыл — с топором за спиной. Уполномоченный по дому наводил всеобщий ужас рассказами о сыне — шофере в Кремлевском гараже. Но для Александра он был гарантом существования.

— Обрато бумага пришла.

Просунутый в щель рубль уполномоченный не взял.

— Не менее, чем на три шестьдесят две. Все жильцы подписали. . .

В спальне он объяснил:

— Местный налог. У меня не хватает.

Одолев сложность парижского портмоне, он вернулся с листочком из тетради в клеточку.

Только глаза от Инес и остались.

— С милицией требуют выселить. Это серьезно?

Он выдернул, разорвал.

В мусорном ведре под раковиной сдохла мышь. Бедняга не нашла ни крошки.

Она вышла на звон собираемой стеклотары.

— У меня же деньги есть?

Выйдя на солнце, он покачулся.

В магазине были яйца.

— Пять, — показал он.

— Штук?

— Десятков...

Хохот тряс груди. Опираясь на швабру, беззубо смеялась уборщица.

— Паэя, — объявила она, — Омлет по-испански...

Он подложил ей подушку.

Кофе, сигареты.

Глаза засияли снова.

— Можно я поживу здесь?

В буквальном смысле спать в паре он терпеть не мог. Окровавившись, он держал скулу под водой.

— Привезу тебе новые лезвия.

В Москве они вышли из автобуса и спустились в метро. Пассажиры напротив устали, как по команде. Инес поехала дальше, он вышел на станции «Университет».

На почте Александру выбросили письмо от бабушки.

«Твоя мать пишет, что завел любовницу, нанял квартиру. Не дело делаешь. Прошу как последнего из рода: опомнись, внучек, и возьми за ум. Выключат из студентов, что будешь делать?» Даже вложенный червонец не обрадовал, хотя по пути в зону он сообразил, что бабушка имеет в виду предшественницу: до Питера слухи дошли только сейчас.

В кабину вошла сокурсница, брошенная чилийцем. «Смотри, ее отец тебя уничтожит». — «Чей отец?» — «Но ты же, говорят, отбил у Иванова его прекрасную полячку?»

При виде Александра Иванов вскочил.

— Где она?

Он сбрил усы, и лица на нем не было.

— Кто?

— Ты не темни. Она жива, по крайней мере?

— Вполне.

— Еще смеется. Надеюсь, ты ее не изнасиловал?

— По обоюдному согласию.

— Ну, друг...

— А что?

— Паника, что. Иностранка пропала. С факультета ходили по комнатам, спрашивали. Вот отчислят, узнаешь, как играть с огнем.

Александр сел.

— Но ты же с Полой — и ничего.

Иванов убрал глаза.

— Не сравнивай. Пола — соц. К тому же, в прошлом.

— То есть?

— Штатника себе нашла. Зубы вставные, но USA. А я, мудака, остался без усов.

— Вырастут. И впереди еще сто стран.

— Если даже Польша такая развитая, то я просто, друг, не знаю. Не вернуться ли в свои пределы? Кстати, и тебе советую.

Александр улыбнулся.

— Я понимаю, у самого итальянка была... — Иванов вздохнул. — Главное, чтоб без любви. А то она ф-фью. — Ладонью он изобразил взлет самолета. — А ты останешься. Но не таким, как прежде. На краю.

В соответствии со своими установками Александр ответил, что ищет в этой жизни именно и только этого.

— Так ведь и сорваться можно... Между прочим. Дружок твой экзистенциальный, — помнишь, первый курс, Альберт Лазутко?

— Ну?

— Приказом по факультету восстановлен. Только теперь с ним дела лучше не иметь.

— Почему?

— Говорят, видели его — держись за стену... В погонах голубых. Метаморфозы, да?

Под резонанс центральной зоны Александра повело. Это было на том оживленном маршруте. Он обогнул колонну и, скрывшись из виду, припал скулой к шлифованному граниту. Холодный пот смочил щеки. Он представил над собой всю тяжесть сталинского здания, — и стошнило. Но натошак от спазмов в поле зрения моталась только гка слюны.

— Что с тобой?

За плечо его взяла знакомая с журфака. К груди она прижимала ладонь венгерского лечо. Это была рослая блондинка с синими глазами и маленьким ртом. Под белой юбкой, как помнилось ему, все было без гей — пресно, но просто.

— Алёна, — сказал он. — Давай поженимся.

В конце прошлого года, отправив свою любовь в провинцию, Александр вернулся в общежитие и среди прочего попробовал воскреснуть средством спорта. В новогоднюю ночь, обежав по периметру весь университет, он обмяк на поручнях в лифте, куда успела ввалиться лая толпа ночных конькобежцев.

К нему придавило девушку. Спортивные брюки в обтяжку были адские, как атлас. Высокая и статная, с парой хорошо отточенных ножек. Отдавая себе отчет в том, что она способна разможжить ему реп, Александр огладил атласный зад. Никакой реакции. Отморозил, что ли? Но на табло вспыхнул очередной этаж, и зад вдруг попрунулся, предоставляя его ладони возможность соскользнуть в проем. Это было столь неожиданно, что он отдернул руку. От этажа к этажу лифт пустел, но вместо того, чтобы сделать шаг вперед, конькобежца все так же лежала на Александре. К шестнадцатому этажу они остались вдвоем. Толкнувшись, она выпрямилась. Он вышел едом. Не оглядываясь, но, конечно, слыша его шаги за спиной, она ащила вязаную шапочку, тряхнула русой головой. Жила она не здесь, а на пятнадцатом, где, как на нечетном, лифт не останавливался. Он свернул за ней во тьму лестницы, спустился двумя маршами и в коридоре увидел, что она входит в блок.

Дверь она не закрыла. Стекла комнаты справа светились. Он нажал ручку левой, темной. Она стояла, скрестив голые ноги и оттягивая изу свитер.

— Как тебя зовут?

Она закрыла ему рот ладонью, которую он укусил.

Это было поперек дивана. Поверх низкой деревянной спинки был наклеенный поручень, за него она держалась. Зад у нее был холодный. Потом свитер стал липнуть к коже.

Имени конькобежца не сказала. Но через пару дней он узнал — при обстоятельствах, типичных для нравов Ленинских гор.

Опять же ночью он вышел из кабины и натолкнулся на Иванова.

Итальянцы строили автогигант на Волге, Иванов год провел там переводчиком. Сунув за ухо лакированный мундштук, он сидел возле урны и собирал на лист бумаги бычки.

Александр вынул пачку.

— Друг! — вскричал Иванов. — Еще не выгнали?

— Держусь.

— А где прописан?

— В башне.

— Там же сейчас как в холодильнике?

— Не говори.

— Давай ко мне! Наветренная сторона. Давай, поехал.

Вместе с постелью Александр прихватил из башни найденную во время ночных блужданий картонку с американскими журналами.

— «Плейбоя», к сожалению, нет.

— А зачем? Омниа меа мекум порто. — Иванов вытащил чемодан, из чемодана пакет, а из пакета пачку снимков. — Только между нами?

Вьюга билась в окно. Странно было под этот жестокий вой увидеть их наготу. Александр прилагал усилия, чтобы не дрожали руки.

— Чем ты их?

— «Любителем».

Профессионалом он и не был, — черно-белые снимки выглядели серыми. Но были вполне разборчивы. Александр сдерживался, чтоб не присвистнуть. Иванов всегда казался ему тихим, но еще до Тольятти — всего за три курса — он умудрился перещелкать пол-общезития. Одета была только одна — в купальный халат. Задрав ногу на стол, она лакировала ногти, — и в этой позе он ее снял. Брови подняты над сползшими очками.

— Джиана.

Александр оторвался.

— У тебя была иностранка?

— Друг... — Иванов вынул из-под усов мундштук и отвернулся, чтобы скрыть блеснувшую слезу. — То была любовь. Единственная в жизни.

— А что с ней стало?

— Разрубили по-живому. Еще расскажу, смотри...

Вот тут он и увидел конькобежицу. Она позировала против солнца, но Александр узнал эту отрешенность — наклон головы, взгляд искоса.

— Знаешь ее?

— Зовут Алёна. Заочница с журфака. Всегда согласна, только попроси.

Закрыв на ключ одну из комнат зоны «Б», где ее прописали на время летней сессии, Алёна поставила банку лечо на стол.

— Не бери меня ты замуж, я тебе и так уж дам уж.

— Кроме шуток, — сказал он, глядя, как она снимает юбку, оставаясь в белых трусах.

— Тогда открой мне банку.

Она сняла свою полосатую рубашку с короткими рукавами. Все это повесила в пустой шкаф. Взяла алюминиевую вилку, села с ногами на стул и раскрыла в ожидании американскую книжку *On Investigative Journalism*.

— Черт!

Отбросив нож, он вынес руку под холодную воду.

— Банку без крови открыть не может. Тоже мне муж.

— Я серьезно.

— Не смей меня. Советский брак? Для этого я слишком люблю свободу.

Белый «мерседес» у подъезда был окружен зеваками, которые пугливо обернулись на Александра.

Он взлетел.

В прихожей пара чемоданов.

— Инес?

Молчание. Он взял топорик и открыл дверь в гостиную. Инес села за столом с его пишущей машинкой.

— Я не одна...

Высокий мулат поднимался навстречу с протянутой рукой:

— Анхель.

Александр положил топорик на журнальный столик и ответил на рукопожатие. Глаза Анхеля прожгли его насквозь. Они сели друг против друга. Анхель протянул руку к топорiku:

— Можно? — Попробовал лезвие. — Китайский?

— Нет.

— Неужели советский!

Инес поднялась.

— Кофе?

Не оборачиваясь, он кивнул. Мулат добавил, чтоб покрепче, и отложил топорик. Глядя, как Александр вынимает пачку «Явы», он растегнул льняной пиджак и вынул пару серебристых баллончиков.

— Гавана. Бери, бери.

Александр отвинтил, в ладонь выпала черная сигара.

— Дай я тебе...

Гильотинкой на цепочке мулат обрезал ему кончик, потом себе. Прибор он заложил в прорезь у пояса.

Спички у Александра были свои.

— Кастро и Сартр! — Инес расхохоталась. — С такими же сигарами на фотографии...

Они молчали.

Она перестала смеяться.

— Кофе кончился. Я спущусь?

Хлопнула дверь.

Они пускали друг на друга дым.

— Тянется хорошо?

— Нормально, — ответил Александр, чувствуя, что легкие спекаются, как кокс.

Мулат перешел к делу.

— Как говорят ее французы, сэ ля ви. Извини, что я пришел. Наверное, не надо было.

— Ничего.

— Я к ней серьезно относился. Че? Я готов был даже жить с ней в мелкобуржуазной Франции. Жениться собирался... Скажи мне, ты серьезно к ней относишься? Потому что она к тебе серьезно.

— Откуда ты знаешь?

— Че, она мне сказала. Какие у тебя планы?

— Планы... — Александр откашлялся. — Через два месяца у нее виза кончается.

— А у тебя когда?

Он фыркнул.

— У меня бессрочная.

В глазах мулата возник интерес.

— Чем это ты заслужил? Какой имеешь паспорт?

— Советский.

Толстые губы его приоткрылись. Он отогнал дым.

— Разве ты не скандинав?

— Она не сказала?

— Ничего она мне не сказала...



- Русский я.
- Советский паспорт?
- А какой же?

— Тогда не понимаю... Че? Ничего не понимаю! У меня, например, шведский. — Прикусив сигару белыми зубами, он вынул, пролистал страницы, заштампованные визами. — Видишь, написано? Открыт весь мир. Три-четыре страны меня не очень любят, но в Европе мы с ней могли бы жить в любой. Ты можешь дать женщине страну по выбору?

Александр молчал.

- Потому что здесь она не сможет. Нет, че... Твоя квартира?
- Снимаю.
- Но сам москвич? Прописка постоянная?
- На срок учебы.
- Аллес клар. — Под тяжестью сигары пепельница упала на бок. — Через два месяца я уезжаю в Германию. До этого она знает, где меня найти. Скажи ей, когда будет уходить, что Анхель ждет. Потому что она уйдет. Ты это понимаешь?

Он кивнул.

— Ты тут, Алехандро, ни при чем. Просто страна такая у тебя. Я вот из Латинской Америки. Там у нас *жизнь*. Ты понимаешь? Даже при кровавых хунтах. Здесь все правильно, все хорошо. Социализм. Но жизни нет. Ты понимаешь?

Оса возникла в проеме окна. Подержалась и отлетела.

- Че, как мужчина с женщиной? Рублей девать мне некуда...
- Нет.

Мулат подержал руку в пиджаке и вынул.

- Смотри, ее надо кормить.
- Как-нибудь.
- Тогда держись. Салют.
- Салют...

Выходя, мулат пригнулся.

Александр выбросил окурки и, взявшись за раму, посмотрел вниз.

- Дым, будто здесь стрелялись.
- Где ты была?
- Поднялась выше этажом.
- Зачем?

— На всякий случай. Никто никого не убил?

Ее бывший вышел на солнце — весь в белом. Аборигены расступились, и «мерседес» сверкнул на повороте.

- Я так и думала. Цивилизованные люди.
- Смотри кто.

И Александр сунул голову под кран.

Открыв чемоданы, она взялась за ручку шкафа:

— Можно?

— Скелетов вроде не держу.

Внутри было пусто. Если не считать нейлоновой комбинации, которая задержалась на полгода.

— А это?

Кружева были заносены и местами оборваны. Предыдущая любовь купила ее на толкучке в Литве.

- Утехи фетишиста.
- Я выброшу?
- Выброси.

Лязгнуло мусорное ведро. Вернувшись, Инес вынула из чемодана пакет, распечатала и стала натягивать хирургические перчатки.

- Что ты собираешься делать?

- Уйди куда-нибудь.
- Куда я уйду?
- Тогда вынеси бутылки.

Он вынес и вернулся на закате — с библиотечным самоучителем французского языка.

Стянув перчатки, Инес бросила их в ведро.

— Разве не лучше?

Линолеум сиял. На обоях в пустом квадрате остался гвоздик.

— А деревяшка?

— Убрала в сервант.

Он повесил обратно лакированную дощечку с выжженной паяльником березкой.

— Уродство же?

— А пусть висит.

Количество западных вещей его поразило. Скрестив босые ноги на полированном столике, он наблюдал, как все это заполняет убогий встроенный шкаф.

Однажды в Минске, на Круглой площади, разгрузился автобус с иностранцами. Издалека Александр наблюдал, как его сверстники кланчили у них жевательную резинку. Когда автобус уехал, а попрошайки убежали в парк, он подобрал обертку *Made in U. S. A.* А потом наклеил в свой альбом спичечных этикеток, — как называлось это извращение?

Чемоданы опустели. На боках — следы содранных отельных наклеек. На ручках бирки *Air France* — каким-то образом удержавшиеся в московских переездах. Инес их стала обрывать, — не поддаваясь, бирки растягивали свои синие резинки.

— Оставь.

— Почему?

Он и сам не знал, но срыванию авиабирок все в нем воспротивилось. Без них эти легкие на подъем чемоданы приняли бы слишком оседлый вид.

По ту сторону горизонта, видимого из спальни, оказался соснячок — столь же душный и вдобавок набитый консервной ржавью.

За шитом с надписью «Зона отдыха» открылось пространство, где загорал весь Спутник.

Из лабиринта тел они выбрались под елочки и в четыре руки растелили купальную простыню, которая, будучи парижской и лиловой, вступила в вопиющее противоречие с контекстом. Антисанитарного вида водоем был набит битком. Купальщики стояли плечом к плечу. Вокруг — сплошное лежбище. Со вздохом Александр стал раздеваться. Травмированный в детстве праздничными демонстрациями трудящихся, он боялся толпы. Любой — включая отдыхающую. Но это был ход в борьбе за выживание, их вылазка на природу. Есть в это воскресенье было нечего. Она предложила компенсировать витамином «Е». Который бесплатно поставляет солнце.

Купальник на Инес был в обтяжку. Что вызвало в памяти картинку из «Детской энциклопедии»:

— Ты мне напоминаешь «Девочку на шаре».

— Все советские это говорят и думают, что комплимент. Но, во первых, Пикассо я не люблю. . .

— Почему?

— Даже не знаю, что отталкивает — творчество или человек. У него много общего с отцом. Кроме своего брадобрея, только с отцом и встречается. Даже свою картину ему подарил. Валялась у нас, пока отец ее не отдал.

— Отдал? Но это же миллионы?

Взгляд презрения не удержал его от расспросов:

— Куда, в музей?

— В фонд будущего Испании, — сказала она туманно...

— А Дали?

— Предлагал построить вдоль дороги к Мадриду сплошной памятник из костей коммунистов. В моей семье это имя лучше не произносить. Но мне ближе Дали. Не знаю почему. Может быть, потому что однолюб. А знаешь, что он женат на русской?

Их накрыла тень. Александр успел откатиться от смявших его полотенце пяток. Крутозадая бетонщица, уводимая в лесок парнями, оглянулась:

— А говорят, мужики на кости не кидаются.

На обратном пути Инес спросила:

— А ты мог бы во Франции?

— Что?

— Жить. Писать.

— Не знаю. Не могу себе представить.

Она помогла:

— Какой-нибудь бидонвилль. «Голуазы» без фильтра и вино.

— Французское, надеюсь?

— Но из пластмассовых бутылей. Такое солнце, как сейчас. И взгляд отчаяния...

— Отчаяния?

— А ностальгия? Все эмигранты впадают, но говорят, что русские особенно...

Они перешли размякшее шоссе, обогнули заборы уцелевших вдоль дороги изб и в звоне тишины стали подниматься через пустырь.

Между ног Инес сверкнуло солнце. Окна и двери в спальне и гостиной были распахнуты, но вместо сквозняка квартиру пробивал луч — гигантский, как в войне миров.

— Ты хочешь надеть это платье?

Платье прислала мать, из Парижа, и было оно не только мини, но и просвечивало от и до...

— А что?

— Ничего, — ответил Александр, вступая на крестный путь.

Москва даже в африканский зной отстаивала свой пуританизм. Инес демонстрировала полную невозмутимость, он же от бессилия перед вербальной агрессией в автобусе, в подземных переходах, в вагоне метро, на эскалаторе, на остановке и в трамвае — совершенно изнемог.

Они добрались наконец до лестничной клетки, где исходило вонью ведро «Для пищевых отходов».

Матраса, на котором простыни, как их ни заправляй, завинчивались в мокрый жгут, Инес вдруг стало мало — или чересчур. Во всяком случае, ей захотелось увидеть его друзей. В компанию. Развлечься.

Александр сменил свой кулак на каблук, и это возымело — к двери подшлепали босиком.

— Я с дамой.

Замок щелкнул, шаги убежали. Выдержав паузу, они вошли в квартиру.

В глицерине линзы старинного телевизора, сцепившись руками,плыли навстречу Никсон и Брежнев — при выключенном звуке.

Стены были из книжных корешков — до потолка. Из этой угнетающей библиотеки окно выходило на железнодорожный переезд, дорогу и женское общежитие. Александр взял старинный театральные бинокль. За окнами слонялись пэтэушницы в трусах и лифчиках, эротизированные дефектом стекла.

Инес нагнулась к фотографиям. «Равнины, его деды...» — «А Мандельштам?» С паспортной карточки в ужасе смотрел ушастый скворец в «бобочке» на молнии и с отложным воротничком. «Не Мандельштам. Его отец в эпоху Большого Террора...»

Перкин появился с женщиной. Мокрые и в халатах, они отпали на диван — отчего на старомодных полках подпрыгнули слоники.

— Это Рая, — представил Перкин. — Рая уезжает.

— Рая умирает, — сказала Рая.

Под взглядом Перкина Александр испытал гордость.

— Инес из Парижа.

Рая опомнилась первой — в смысле, что ой, а холодильник пуст!..

В гастрономе «Диета» Перкин впал в патриотизм, настаивая на «Рябиновой горькой». Еще они купили бутылку румынского рислинга, батон, селедочный паштет и зефир в шоколаде.

— Секс с иностранкой — это выход или вход?

— Вход. Но который выход.

— А в целом?

— Живое существо. И даже дышит.

Даже в тени паштет уже растаял. Они сидели у дома на заградительном барьере.

— План такой, — придумал Перкин. — Вы остаетесь.

Он отправил Раю за магнитофоном. Они слушали Высоцкого, и Александр глотал слезы:

Ну что ей до меня? Она была в Париже... .

Эффект «Рябиновой горькой».

В смежной комнатке им уступили лучшую по качеству кровать. Были застелены хрустящие простыни.

Утром во время чая зазвонил телефон. Выслушав, Перкин прикрыл мембрану:

— Хотите на Годара?

Инес не поверила:

— В Москве?

— Предупреждаю: сеанс подпольный... .

Это было в обсерватории — где-то на краю Москвы. Поблескивая очками, сверху вниз на них смотрел битком набитый зал.

Ряд подвинулся, уступая место с краю Инес и Александру. Потом и под Раей с Перкиным отскрипели ступени.

В тишине кто-то пытался сдержать нервную икоту.

Свет погас. Внизу озарился экран. Французские титры навели на резкость, и невидимый голос произнес в микрофон:

— *«На последнем дыхании»...*

Инес стиснула ему запястье: «Мой любимый фильм!»

Переводчик звучал как со сдавленным горлом. Инес стала переводить ему сама — горячим шепотом.

Жан Бельмондо и Джейн Себерг были уже в постели, когда в первых рядах головы повернулись к двери.

Которую вдруг вышибло.

— СЕАНС ОКОНЧЕН, — объявил мегафон. — ЗДАНИЕ ОКРУЖЕНО. ВСЕМ НА ВЫХОД И БЕЗ ПАНИКИ ПО ОДНОМУ В МАШИНЫ. ДАЙТЕ СВЕТ.

Экран погас.

— СВЕТ ДАЙТЕ... .

Мегафон захлебнулся в темноте. Вырвавшись из потной толпы, они прижались к стене за дверь. В тамбуре первые зрители навалились на кулаки, но под напором зала засаду вышибло. Таких воплей

Александр еще не слышал. Инес сжимала ему руки, ее трясло. Крики снаружи рассеивались. Зрителей было больше, чем кулаков у нападающих. Фары машин били по входу, но их прикрывали те, кто был впереди. Потом свет ударил по глазам:

— Давай!

На асфальте чернела кровь, и под подошвами хрустели сбитые очки. Справа две тени вбивали третью в «воронок». Они рванули прямо на свет, где был проход между машинами.

К ним бросилась тень:

— Стоять!

Александр схватил кирпич. Тень отшатнулась.

— Держи того, в джинсах!

Другая тень бросилась за Инес. Александр перемахнул клумбу. У плеча он сжимал кирпич, запачканный землей. Асфальт оборвался. Инес исчезла в черноте деревьев. Тень за ней ломилась сквозь кусты. По щеке Александру чиркнуло веткой.

Инес он догнал у решетки. Добежав до первой пары разогнутых прутьев, они спрыгнули на улицу. У остановки троллейбуса стоял на коленях человек, он зажимал лицо руками, черными от крови. Они пробежали мимо.

Виадук. Снизу тянуло гарью, вдали блестели рельсы. Москва на горизонте сияла огнями.

На перроне метро толпились избитые кинозрители. Перкина с Раей не было. Александр увел Инес к первому вагону. Если облава, можно будет соскользнуть в туннель. В нем все еще дрожало.

Прилетел поезд, разомкнулись двери.

Из метро они вышли на другом краю Москвы.

Пустой автобус без остановок летел сквозь ночь.

— Нехорошо, что мы их бросили.

Он промолчал.

— А тот человек?

— Который?

— Который за мной бежал.

— Забудь.

Она отвернулась.

— Жаль, фильм не досмотрели. Чем хоть кончилось?

— Не так, как в жизни.

— А в жизни?

— Он процветает, она погибла. — Инес уткнулась в подушку, плечи ее вздрагивали.

Наверху воспитывали девочку. Включили телевизор на полную громкость, но сквозь военный фильм все равно доносилось: «Мамочка, мамочка».

Теперь все тихо.

Ночь.

Я весь вечер смотрела на остановку. Пока вдруг не осознала, что из окна напротив все это время за мной наблюдают. Я не успела увидеть, кто. Он уже спрятался за занавеску. Было еще светло, надо было все бросить и вернуться в Москву. Но я подумала о нем: как он вернется, а никого нет. Дверь в этой квартире можно вышибить одним ударом. Я заперлась на два оборота и заблокировала замок. Запирала все окна и стала ждать. За стенами отсмотрели телевизор, отвоспитали детей, отвозились перед сном. Прошел последний автобус.

Он не вернулся.

В жизни мне не было так жутко. Я пишу это в ванной. Единственное место, где я решила включить свет. Со мной топорик, но я не Александр. Я человека даже рукой не смогла бы ударить. Этот че-

ловек сейчас откроет дверь, без слов протянет руку. Я отдам ему топорик, и он меня зарубит. Утром вернется Александр и вступит в лужу крови. Его арестовывают. Это не я, кричит он. Никто не верит. Суд. Расстрел. Вполне советский конец одной «лав стори».

Как я здесь оказалась?

Коллектив ждет, товарищ Ортега. Рассказывайте. . .

А что я могу вам сказать? На каком из языков? Я — это целая толпа. Нас много. Когда одна из нас общается по-русски, все прочие молчат на разных языках.

Мне рассказали, что в детстве у меня постоянно был ожог на лбу. От сигарет. Испанцы без перерыва курили на собраниях, куда меня таскала мать. Наткнувшись на свою первую сигарету, на каком языке я вскрикнула? Меня ставили на стол, я пела «Интернационал» по-каталонски. Но об этом тоже рассказывали другие.

Что помню я сама?

В Париже на кухне родители по ночам разговаривают. По-испански обсуждают непонятные дела. Доносятся слова: план Маршалла, ООН, НАТО, СССР. Десятки имен, из которых все время возвращается одно и то же — *СТАЛИН*.

Несмотря на то что, по моей просьбе, дверь приоткрыта, мне страшно, почти как сейчас. На вбитом в шкаф гвозде — плащ и шляпа. Я знаю, что это одежда моего отца, но, когда начинаю засыпать, плащ и шляпа превращаются в мужчину, который, притаившись, только и ждет момента, когда я засну. Что он со мной сделает тогда?

Второе воспоминание без эмоций. В саду под Парижем люди без лиц едят улиток, вынимая их булавками, среди которых, по общей бедности, мелькают вынутые из одежды английские.

По-французски я впервые заговорила среди друзей матери по Сопротивлению. Меня им отдали на лето. Своих детей у них не было, только огромная немецкая овчарка, которая служила в охране концлагеря, а после войны так и осталась во Франции. Собака меня охраняла. Ее звали Лили.

Во время моего отсутствия у меня появился брат Рубио. Я перешла на испанский, которому его и научила.

Первая поездка за границу. Чехословакия. В Праге нам с Рубио подарили скрипку и аккордеон. Когда нас надолго забыли в номере гостиницы, мы стерли канифоль о струны в порошок. Наполнили ванну и, разодрав аккордеон, стали пускать кораблики.

Мы снова у овчарки Лили. Мать выслали за пределы Франции, как коммунистку. Ей удалось вернуться. Ее наградили медалью за Сопротивление и выслали снова — вместе с нами. Отец остался в Париже, а мы улетели на переделанном в пассажирский военном самолете.

— Мама, куда мы?

— В Польшу.

Варшава. С усилием и радостью на лице мать втаскивает огромную картонку. Это — Радио. С гибкой трубкой медной антенны, которую мать прикручивает к батарее, а потом прицепляет к карнизу. Она слушает теперь радиостанцию «Пиренаика». Это эмигрантская радиостанция, которая вещает на поработленную фашистами Испанию. Мы знаем, что мы испанцы. Хотя мать говорит, что лично она — баск.

Я поднимаюсь с ней развешивать белье. На чердаке солнечно, сухо. У окошек большие гнезда из прутьев. Мать берет в руки птицу.

— Это голубенок. Он еще не умеет летать.

Квартира сумрачная, окнами во двор. На кухне я краду из корбочки поливитамины. Оранжевые шарики крошатся под зубами с кисло-сладким вкусом.

В большой комнате тахта, которую надо поднять, чтобы вынуть постель. Мать поднимает ее с трудом.

На кухне ниша с железной кроватью. Здесь спит служанка. Я сижу на стуле, она меня одевает. Натягивает коричневые хлопчатобумажные чулки, пристегивает к лифу. Лиф — это такой жакет без рукавов. Застегивается на спине, и к нему пришиты подвязки. Служанка одевает меня долго, с перерывами, во время которых она смотрит куда-то мимо. У нее прозрачные глаза, которые мне кажутся уродливыми. В моем окружении у всех глаза темные — черные или карие. Я думаю, что одевает она меня грубо. Я сижу молча. Со служанкой я никогда не разговариваю.

В шкафу есть пара плетеных туфель. Из чешуйчатой кожи и на высоких каблуках. Я влезаю в них и цокаю по квартире. Весь мусор служанка заметает под ковер. Приходя с работы, мать выметает мусор и убирает квартиру заново.

У нас с Рубио кровати железные и с сетчатыми загородками. Краска на них пожелтела и облупилась. Сидя в кровати, я расковыриваю краску. Потом влезаю на перекладину и сижу на корточках. Я — курица. Я ни о чем не думаю. Проходя мимо, мать бросает: «Упадешь». И я падаю. На пол. Мне совсем не больно. Мать приносит Рубио обратно, забирает меня. Она купает нас каждый вечер. Потом надевает чистую пижаму, нагретую на батарее.

Вечером к матери приходит подруга. Из ее комнаты свет, женщины болтают. Чтобы привлечь к себе внимание, я скатываюсь в сетку и свисаю, притворяясь спящей. Но берет не мать, а ее подруга. «Какая миленькая! Можно я ее перенесу?» Я испытываю ненависть к чужому прикосновению.

У Рубио scarlatina. Он спит в комнате один. Мать входит к нему с марлевой повязкой на лице и кипятит посуду, из которой Рубио ест. Как только она уходит в магазин, я вхожу к нему. По случаю болезни ему купили цветные карандаши, тетрадки и бумагу. Он сидит на горшке, я рядом. Мы рисуем. Вечером его заворачивают в одеяло. Потом заболела я.

Больница. Толстая няня купает меня в кипятке. Мыло здесь воняет. Меня одевают в холодную пижаму.

Огромный зал. Дети хитроумно спеленуты. На них холщовые жилеты с полотняными бинтами, связанными под кроватью. Сесть в кровати можно, слезть — нельзя. Постоянно кто-то ревет. Я веду себя тихо, и меня отвязывают. Мне нужен горшок. Я зову дежурную сестру. Я зову ее долго, с нарастающим отчаянием. Потом, с ощущением кошмара, писаю в постель и засыпаю в мокром.

На стене, у изголовья, приклеены картинки. Каждый вечер детей отвязывают, они становятся перед картинками на колени, крестятся и что-то бормочут. Я тоже становлюсь на колени, крещусь и бормочу. Но над моей кроватью картинки нет. Воскресенье. Приходит ксендз. Он останавливается перед каждой кроватью. Дети в них становятся на колени и складывают руки. Ксендз кропит их святой водой. Когда он подходит ко мне, подбегает сестра: «Ее нельзя, она неверующая». Ксендз проходит мимо, оставляя меня в обиде.

Кроме общего зала, есть ряд двухместных боксов, разделенных перекладинами. Медсестра несет меня мимо боксов, предлагая выбрать себе партнера. Я выбираю девочку с огромными белыми бантами. «К ней не надо, она злая и капризная». Но я хочу именно к ней. Девочка все время кричит, отказываясь от пищи, уколов, игрушек. От меня требует только одного — чтобы я ее отвязала. Но я ее боюсь.

Потом злую девочку заменяют мальчиком. «Он русский,— преудают меня.— По-польски не говорит, но все понимает». Русский мальчик белесый и стриженный. Я пытаюсь с ним заговорить, но он даже не смотрит на меня. Не меняясь в лице, он начинает орать: «Писать, писать!» Был тихий, стал громкий. Прибегает медсестра: «Чего он хочет? Где этот врач, который говорит по-русски?» Другая приносит мальчику бумагу и карандаш, думая, что он хочет «писач». Русский все орет. Сестра застывает на мгновенье, потом убегает и возвращается с целым набором цветных карандашей. Но мальчик уже плачет. Сестры осматривают его под одеялом и с облегчением смеются.

Первое Мая. Радио в квартире и громкоговорители на улице говорят, что сегодня праздник. Мать надевает на нас шерстяные штаны, пальто, шапки. Мы выходим на улицу, а там лето. Солнце слепит глаза. Мать раздевает нас и несет одежду в руках. Полно народу. С тротуаров все смотрят на проходящее шествие: флаги, большие и множество маленьких, воздушные шары. На платформах с колесами везут великанов и великанш. Полусмешные, полустрашные, они раскачиваются, обочиваясь вокруг оси. Внутри них прячутся люди.

В 1965-м мы с братом вернулись в Варшаву и обошли тот район. На улице Пулавской ничего не изменилось. Двор мрачный и сырой, дом старый, и жильцы его — бедные люди. Это было наше последнее лицейское лето. Мне 17, ему 15. Мы приехали из Франции по приглашению подруги матери, которая за это время стала здесь министром. Мать постоянно повторяла и ей, и другим гостям, что квартира темная и сырая. . . А это очень плохо для детей.

Мы переезжаем на улицу Тамка. Здесь квартира светлая. Желтые шторы и занавески с райскими птицами. На кухне — чугунная плита. С конфорками, которые снимаются ухватом. Ее топят углем.

Улица Тамка — одна из уцелевших в войну — крутая улица. Если машину плохо поставить на тормоза, она начинает съезжать вниз. Улица ведет к памятнику над рекой — грудастой Сирене с мечом. Это символ Варшавы.

В угловом доме играют на фортепьяно. Люди стоят на улице и слушают.

— Хопин.

Мать переводит:

— Шопен.

Она работает стилистом испанской службы польского радио. О своей работе говорит с удовольствием.

Из Франции отец присылает одежду и вещи, которых в Польше нет. В одной из посылок — тапки из белого фетра. Это специальная обувь для испанского танца хота. Мать надевает их и начинает танцевать. Она учит и меня, но у меня не получается.

Рубио лежит под дверью ванной. В нижней части этой двери дырка для вентиляции. Я подхожу и ложусь рядом. Он подвигается, уступает мне место у дырок. Сквозь них я вижу руку матери, повисшую над краем ванны. Мать поднимается, под животом струятся черные волосы. Я смотрю на Рубио, он на меня. Мы встаем и уходим на цыпочках.

В детской я беру с пола советскую книжку «Первоклассница». Ее перевели на испанский. Я учу Рубио читать по-испански.

В Испании Аркас был великим архитектором. Потом он стал коммунистом. Теперь он эмигрант и приходит к нам в гости. Чтобы объединиться с матерью в саркастическом отношении к прочему миру.

Со мной Аркас разговаривает охотно и доброжелательно. Мне с ним хорошо. Он рассказывает про архитектуру Испании, показывая ее по книжке с маленькими фотографиями и рисунками. Он объясняет, упо-



требляя непонятные слова. Рассказывает, как устроен патиос. Я понимаю только то, что самые прекрасные памятники арабского зодчества находятся в Испании.

Эту фразу потом я часто слышу от матери.

Лето. Мы в Швидере, в доме отдыха. Я иду мимо футбольного поля. Я кажусь себе маленькой и незаметной. Вдруг в глазах черно — мяч попадает прямо в голову. Не оборачиваясь, я продолжаю идти, унося на плечах огромный колокол. Вслед мне одобрительно кричат, поскольку мяч отскочил игроку прямо в руки.

Из Франции приезжает человек, которого я не сразу вспоминаю. Это — мой отец. Где-то там, на Западе, он борется за освобождение нашей страны и всего человечества. Он рискует жизнью. Его могут убить. В каждой стране убивают по-разному, в нашей — завинчивая на горле гаротту. Но это не самое страшное. Потому что перед смертью ему могут затолкать в рот все, что он написал против фашистов.

Я сижу у него на плечах, в руке у меня яблоко. Перед нами польская равнина, залитая солнцем. Цветы в траве. Середина лета. Мы с отцом друг друга любим. Счастье портит только то, что перед прогулкой он дал мне яблоко. А я с кожурой есть не могу. Мать всегда очищает яблоки, она вынимает середину и подает на блюде в виде четырех долек. Сидя на плечах у отца, я делаю вид, что ем. Потом плавным жестом отбрасываю яблоко назад. С глухим стуком оно падает в траву. Отец меня снимает. Он идет молча, обособленно, а я плетусь за ним в отчаянии.

Снова Варшава, и нас откуда-то приводят к нам же домой. В квартире полно народу. Нас подводят к кровати. За сеткой корчится сморщенное существо: волосы до плеч, но лысая макушка.

— Ваша сестра,— говорит мать.

На лице Рубио гримаса.

— Ке фэа.

— Не говорите глупостей! — кричит мать. — Ее зовут Палома.

В ужасе я молчу. Палома похожа на мартышку.

Подруга матери — из ЦК. Когда мать ей жалуется на жизнь, подруга говорит: «Мы поможем». Но даже ЦК не может ничего поделать с тем, что мы с Рубио худые, плохо едим и все время болеем.

Больница — наше главное развлечение. Иногда я попадаю туда после того, как брата выписали, и мне рассказывают, где он лежал и что делал. Иногда мы попадаем в больницу вместе. Мы ходим к тяжелобольным. Они лежат отдельно, мы их развлекаем. Один мальчик обожжен. Он лежит в жестяной трубе, внутри которой горят лампочки. Как бы в консервной банке. Еще есть мальчик с дыркой в голове. Рубио дарит ему французский журнал «Пиф». Я люблю больницу. Здесь у меня подруга, у которой одна нога короче другой. Ей постоянно делают операции. Мы с ней играем, здесь весело. Медсестры к нам хорошо относятся. На ночь они накручивают себе бигуди.

Единственный плохой день тут — воскресенье. Это день посещений. К детям приходят толпами — мать, отец, дядя, бабушка... Мальчика из румынского посольства навещает целая делегация с цветами. Мне тошно оттого, что все шумят, целуются и плачут.

К нам не приходит никто.

У нас теперь сестра. И когда мы выйдем из больницы, нас с братом отдадут в интернат, где в вестибюле мы разминемся с белым Сталиным,— подложив под двери доски, его будут вытаскивать ногами вперед.

Из польских вещей у нас только ортопедические ботинки — на шнурках и с вкладными подошвами от плоскостопия. Под выемкой ступни две бусинки, которые заставляют ее выгибаться. Летом в этих ботинках жарко. А зимой на нас фетровые сапожки, обшитые кожей и со шнурками на крючках. Отец прислал мне вязаный жилет. На нем вышита лиса и слово «Ле Ренар», ворона с сыром и слово «Ле Корбо». «Это по-французски», — говорит мать.

Посылки приходят часто, целыми чемоданами. В них только детские вещи. Однажды мать находит туфли на высоком каблуке. Потом рассказывает раздраженно разным людям, что туфли оказались 40-го размера. На нас все красивое, французское, а на матери черное пальто с бурым мехом внутри. Медвежьем. Когда мать ходит, пальто не двигается. Она в нем как в будке. Она ненавидит свое пальто.

В 17, во Франции, я тайно прочитываю кипу ее писем из Варшавы. Только о детях, — рассказы о них и просьбы для них. О себе отцу ни слова. Ничего личного. Оно прошло, в словах не воплотившись. Но я помню, как все семь лет польского изгнания над ванной попеременно сохла одна и та же пара трусов — шелковых и с кружевами. Одни белые, другие абрикосовые.

Может быть, поэтому я говорю не умолкая. А когда не с кем, то пишу в этой вечной тетради.

Уже рассветало, когда вернулся Александр.

— Прости. Ждал карту.

— Пришла?

— Не мне.

Срывает рубашку и валится на матрас. Он долго добирался «зайцем» после ночи в МГУ, где за игрой в покер пытался превратить последний рубль в прожиточный минимум до конца визы.

— Зато мне повезет в любви.

— Ты думаешь?

— Надеюсь.

— Сегодня вряд ли.

— Что ж, — закрываются глаза. — Проигран бой, но не война...

Черное стекло, золотые буквы:

*Комитет по делам религий  
при Совете министров СССР*

Дальше за конторой, куда адресовал знакомый покерист, была забегаловка — стоячая. Выбора не было, только сливовый сок. Трехлитровую банку держали в холодильнике, стаканы покрылись испариной.

— К-комитет, — сказал он. . . — К Зверю в брюхо.

— Не надо, — сказала она.

— А как тогда?

— Как-нибудь.

— Чего уж там. С рождения проглочен. . . Жди.

Он вышел на солнце.

За тяжелыми дверьми налево, на откидных стульях, ходоки — священник православный, пастор из Прибалтики и мулла в чалме.

— Здравьете.

Служители культов наклонили головы.

В глубине мраморная лестница. Слева под ней стол и стул, с которого навстречу поднялась старуха. В валенках и обвязанная шерстяным платком.

— Ты, что ль, студент?

— Я.

— Туда, а там направо. Дверь после туалета.

Кроме заявления о приеме, начальник отдела кадров попросил написать и автобиографию.

— Паспорточек захватили?

Сверил и вернул. Сколол бумажки и запер в несгораемый шкаф с гнедыми разводами.

— Выпиваем?

— Нет.

— Вы ж указали «русский»?

— То есть конечно, — спохватился Александр. — По праздникам.

Сделав жест, начальник заговорил изобразительным голосом:

— Вы заступили на дежурство. Впереди ночь одиночества, а в двух шагах Смоленка. Винный до одиннадцати. Девочки всюду. Молодые и за вино на все готовы. И есть куда привести. . . Как?

— Что вы. . . Никогда.

— Про «никогда» я знаю: внук — студент. Но если в этих стенах вышеуказанные ингредиенты соединятся. . . Вы себе отдаете отчет, чем мы тут занимаемся?

— Религиозными делами?

Он поднял палец.

— Государственной важности. И не только, понимаете, земными, до которых охочи такие силы, как Ватикан, масоны или там Кестонколледж. Библиотека, например, у нас. Вся высшая в ней мудрость. Академиков и то не всех пускаем. И вот, представьте, сторож. . . Бывший фронтовик, а за бутылку сатанистов на ночь допускал. Манускрипты средневековые переснимали. До них не добрались, а он понес за служенное. К запретному знанию не тянет, нет? А в смысле суеверий?

— Научный атеизм сдавал.

— Вот это хорошо. Вообще-то сторожа, особенно из пожилых, к нам неохотно, вы понимаете. . . Но против Сатаны у нас два раза в ночь моторизованный патруль. А в случае чего — пьянь там ломиться будет, баптисты, мусульмане, сектанты разные — оружие имеется. И безотказное. Телефон! — И для наглядности взялся за трубку.

На выходе старуха спросила:

— Подошел? Тогда чтобы ровно в двадцать ноль ноль.

Ослабив цензуру по случаю лета, в «Хронике» давали «Америку глазами французов». Еще «оттепелый», хрущевский, но все еще запрещенный до 16-ти. Александр прорвался на него впервые, когда ему было тринадцать, и сейчас с волнением ожидал свидания со сценой, где калифорнийка бежит по кромке пляжа Биг Сюр, не обращая внимания на медленно, но верно сползающие под мокрой тяжестью полосатые трусы. . .

Без пяти восемь он чмокнул Инес в ухо.

В Комитет вошел под бой стенных часов, но комплимента не дождался. Бабка, как на счетах, перебрасывала в коробке рафинад.

— Посчитала. Понял?

— Что?

— А то, что знаю вас, скубентов. И чай не трогай. Вишь, зашит?

Цыбик грузинского был заматан черными нитками.

Старуха задвинула ящик.

Думку, на которой сидела, она унесла с собой в кошелке. Сидеть было жестко. Над головой мотался маятник.

Ушла уборщица Аза, молодая и красивая татарка. Спустилась другая, худая и высокая. Отнесла швабру с ведром и вернулась. Под халатом ситцевое платье на бретельках. Застежка сбоку сколота булавкой, что не скрывает салатный цвет трусов. Руки исколоты, под мышкой кустик белесых волос, под глазом синяк.

— Так чё, слетаю на Смолягу? Я Тосей буду. — Она взболтнула грудь. — Поллитру ставишь — вся твоя.

— Еще не заработал.

— Не голубой?

— Обычный.

— Я и сама могу поставить. Авансом, а?

По обе стороны от входа — смотровые оконца. За невымытым стеклом мелькнул иностранный силуэт.

Впустив Инес, он заложился на крюк.

— Но это же дворец!

— Наш до восьми утра.

С собой Инес принесла кулек маслин из гастронома на Смоленской. Но не испанских. Черных, греческих.

Косточки они обсосали до потери вкуса. Солнце сияло за невымытыми оконцами, когда он поднял крюк. «Выпей соку», — сказал он. Глаза у нее были огромные и как в тумане.

— С похмелья, что ль? — спросила бабка, принимая объект.

В метро все ехали на работу.

Положив голову ему на плечо, Инес уснула.

Актовый зал был полон.

«Красный» диплом на курсе был единственным. Без лишних слов его вручили Перкину.

Потом на сцену вызвали «посланницу будущей Испании». На выпускном экзамене по научному коммунизму Инес возникла насчет Чехословакии, но диплом ей все равно дали и даже вручали его с помпой, высказав надежду, что на Западе она понесет людям правду о стране, которую ей довелось узнать.

Глядя себе под ноги, Инес стала спускаться.

Александр встал навстречу, — и зал внезапно онемел.

Президиум смотрел на них сверху. Ковровая дорожка казалась бесконечной. Ряды выпускников и их родителей поворачивались вслед.

За дверь она прижала диплом к груди:

— Неужели все кончилось?

На солнце стало темно в глазах. Асфальт продавливался под ногами. Двор, проходная. Они пересекли проспект. Учебная территория за высокой решеткой была пустынна. Здания, корты, стадионы... Никого. Только вдаль под солнцем две фигурки — Перкин с матерью.

У Перкина на голове пилотка из газеты. Эсфирь Наумовна в соломенной шляпке с парой лакированных вишен, на руках нитяные перчатки.

— Поздравляю, — сказал Александр.

— Было бы с чем...

— «Красный» же диплом!

— А в аспирантуру сына замдекана. С «синим».

Еще на первом курсе профессор, потрясая курсовой работой Перкина, кричал, что он бы за это сразу ученую степень — гонорис кауза!

— Не тебя?

Перкин мотнул головой.

— Свободное распределение. На все четыре стороны.

— Одна пока открыта, — заметил Александр. — До Вены, а там куда угодно. Хоть в Иерусалим, хоть в Гарвард.

— О чем ему и говорю.

Перкин сжал челюсти.

— Вот так уже неделю — как бык. — Повернувшись к Инес, мать Перкина перешла на идиш.

— Инес из Парижа, — сказал Александр.

— Откуда?

Перкин буркнул:

— Сказано тебе.

— Лева, не хами. А я подумала, что вы нашли себе... *Средство передвижения*, как говорится. По-русски девушка не понимает?

— Я понимаю, понимаю,— заверила Инес.

— Ой, извините... Лев, надень панамку! Удар хватит. Остановите его, Александр...

Перкин отбросил руку.

— Все меня вытолкнуть хотят. Неужели даже ты не понимаешь, что это — родина?

Ему было семнадцать, когда Александр с ним познакомился на лекции. Голова у него была забинтована. Он только что похоронил отца, а вдобавок был избит шпаной. Ударили кастетом, а потом ногами. Но он держался, этот вечно небритый мальчик, вещь в себе. «Хрустальная ночь»\* на факультете стояла все пять лет. Он был единственный, кто выжил. Для того, чтобы оказаться с «красным» дипломом в тупике. На выжженном пространстве Ленинских гор.

Под черным солнцем.

Толпу нахмуренных красавиц возглавляла Пола.

— Мы к Инес.

— Она в Москве.

— Ничего, мы подождем.

В квартиру вторгся запах традиционной женщины. Косметики, лавов, духов. От чая полки отказались.

— Можно курить?

Щелкая зажигалками, они озирались и переглядывались, выгибая выщипанные брови. Брюнетка взглянула на пишущую машинку.

— Говорят, вы писатель.

— Не врут.

— Что, и публикуетесь?

— Где?

Сигаретный дым плыл за окно. Когда Александр вышел с пепельницей, полки разом заговорили, артикулируя чувство, вызванное выбором Инес.

Брюнетка встретила вопросом:

— «Защиту Лужина» читали?

— Естественно.

— А шахматы есть?

Из серванта он достал хозяйскую коробку. У белых не оказалось королев. Она вынула из сумки флакончик с перламутровым лаком и убрала руки за спину. Ему достались черные.

— Мат... Еще?

Александр напрягся так, что все извилины заняли. Но продержался он не дольше. Третью он тоже проиграл. Брюнетка спрятала лак и защелкнула сумку.

— Набоков, кстати, играл не хуже, чем писал.

Неверными руками он собрал шахматы.

— А в карты не играет?

— Смотря во что.

— В очко?

Они играли только в бридж.

Инес вернулась и сломала лед. Он застегнул машинку и вышел.

---

\* Под таким названием в историю Германии времен Гитлера вошла ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда по всей стране проводилась антиеврейская акция, сопровождавшаяся массовыми убийствами (90 тыс. чел.), арестами (7 тыс. чел.), разгромом имущества, насильственной эмиграцией (300 тыс. чел.). — (Примеч. редакции.)

Они заговорили наперебой. Шипящие, которые, как змеи, обвивались вокруг него, советского: или ты шизанулась, старая? Стоя на кухне, он смолил «Север». Пришла Инес, чтобы сварить привезенный ими кофе на французский манер — через воронку с фильтром *Melita*.

— Обидно.

— ?

— Свобода. Всегда просачивалась через польский фильтр.

Ушел он по-английски.

Запах красавиц еще стоял в квартире, когда он вернулся с ночного дежурства. Инес сидела на кухне в трусах и лифчике.

— Не спишь?

Она улыбнулась.

— Что ты пишешь?

Она закрыла красную тетрадь.

Польки приходили прощаться. Вместе пять лет, но остались загадкой. Это только с виду они такие беззаботные. Накупили электротоваров, которые в Польше дороги. Пылесосов, стиральных машин, холодильников. Отправляя малой скоростью, промучились весь май. Зачем? Так ведь выйдем замуж. Когда? Когда-нибудь придется. Уезжают, оплакивая МГУ. Хотя у каждой такой здесь опыт, что бригаде психоаналитиков за десять лет не исцелить. Пола вообще свихнулась. После аборта на шестом месяце, когда по кускам из нее вынимали, а потом сказали: «Девочка была». Эльжбета к врачам не обращалась. Сначала ногу вывихнула, прыгая со стола, потом чуть не сварилась в ванне. А виновник выкидыша — турок, поэт и террорист, — грозит с собой покончить, если она бросит его в Москве. Марыля — та за диплом переспала с профессором-башкиром. Теперь он напивается и спит у ней под дверь: «Як швинья!» Муж Лидки доводит ее манией к порядку — найденный в МГУ садист из ГДР. Он не хочет в Польшу, она — в Германию. Это которая, брюнетка? В шахматы трижды обыграла? Но она же гений. Чемпионкой Польши была. Не будь еврейкой, могла бы и мировой звездой стать. . . Еще кофе?

Инес поставила воду на газ.

— Знаешь? Кажется, и я подзалетела.

— Что?

— Разве не так по-русски? . .

## ОГОНЬ

Старуха взглянула на стенные часы: нет, не опоздал. Он опустил свою сумку на мраморный пол.

— Чего там у тебя?

Машинка, которую он вынул, вызвала гримасу отвращения.

— Зачем?

— Писать. Я же скубент.

— Шпиенская какая-то. . . Ты вот что. Девоч больше не води. И в библиотеку не шастай. Смотришь, откуда бабка знает? А ключик-то? Бородкой не в ту сторону повесил. Вот доложу куда следует, враз рассчитают. А деньги-то небось нужны?

Обогнав старуху, он галантно отворил ей дверь. На бородавчатом и редкоусом лице появилось подобие улыбки:

— Боишься. . .

Он сидел, вытянув ноги. Над ним качался маятник.

Спустилась Тося и сняла халат.

Татарка за ее спиной опустила глаза.

— Ты не смотри, что глаз подбит. Я женщина опытная. Вот сделаю «испанский воротничок» — небось, и не слышал? Давай рупь сорок семь.

— Знаешь, Тося...

— Обратно «в другой раз»?

Он сжал себе виски.

— Да тошно мне! Не видишь?

— Ох и уклончивый мужик пошел... Что с таким делать, Аза? Уборщицы ушли.

Накурившись до омерзения, он впал в прострацию. По мрамору зацокали сапоги патрульного милиционера.

— А дверь закрыть, сторож?

Заложившись на крюк, Александр вернулся. Под стенными часами висел застекленный ящик с ключами Комитета. Прежде чем снять с гвоздика, запомнил позицию бородки.

Библиотека была на втором этаже. В свете уличного фонаря он свел шторы, потом включил лампу. Сквозь стекла замерцали корешки фолиантов. Черная готика старинных шкафов. Он обошел их, открыл дверь на винтовую лестницу. Ступеньки под ним затрещали. Слыша, как стучит в висках, он всходил во тьму все выше. Потом споткнулся. Скользя вниз, книга шлепнула о ступеньку. Он вынул коробок, чиркнул спичкой. С чердака, заклинив обитую жестью дверь, книги вываливались на улицу. Целая свалка. Библий.

Он сидел под маятником. Родившись не вчера, цену этому томику он знал. До ста. Это уже спасение. А если прихватить десяток? В поисках решения он открыл, ткнул пальцем:

**Он схватил кусок и вышел;  
а была ночь...**

Все верно. Именно *кусок* — тысяча рублей.

Но речь тут об Иуде...

Что делать? *Да, нет* — постукивал маятник.

В три ночи патрульный мотоцикл въехал прямо на тротуар. Поднявшись в седле, за оконцем возник милиционер. Проверил наличие и газанул прочь.

Нет или да?

В стекло постучали, когда оставалось еще полчаса. За незнакомцем спортивного вида вошел начальник отдела кадров.

— В здании кто-нибудь есть?

— Никого...

— Так все в порядке?

— Вроде.

Незнакомец посмотрел на сумку.

— А чей багаж?

Начальник отдела кадров увел глаза.

— Мой.

— Кирпичи у вас, что ли? Можно?

Александр молчал. Открыв «молнию», чужая рука извлекла покет-бэк под названием *Cannibals and Cristians*.

— На языках читаете?

Задерживаясь на карандашных пометках, незнакомец его просмотрел, отложил. Вынул машинку и подмигнул. «Эрика» берет четыре копии? — «Это не «Эрика». — «Разве?». Он расстегнул и откинул. Из кармана футляра выдернул лист и свинтил. Втыкая свой палец, снял образец шрифта. Заклинив, перестучал и заглавные. Выдернул, сложил — и в нагрудный карман. «Хороша портативочка». — Вынул и перевернул так, что выпали рычажки. — «Мэйд ин Свитцерланд? Эти умеют».

И уронил.

От удара по мрамору брызнули слезы.

— Вы что?!

Человек отвернулся. К Александру он явно потерял интерес. В отдалении его рот шевелился по-рыбьи. Сталинский кадр в ответ багровел затылком — морщинистым и бритым.

Они ему дали уйти.

Дверь душевой распахнулась, лампа вспыхнула. Иванов дымился и сверкал.

— Друг? Что ты здесь делаешь?

— Ищу пятерку.

— Посреди Апокалипсиса?

— О чем ты?

Взявшись за клеенчатую занавеску, Александр поднялся с кафельного порожка. В общежитии был промежуток. Абитуриенты еще не нахлынули, студенты разъехались. Кроме Иванова, который взаперти «работал на батуте» — полтора часа без перерыва.

— Ничего, что я в раковину?

Перебивая воду струей и оглядываясь, Иванов информировал о том, что на Москву прет огонь со всех сторон. Леса, торфяные болота, земля — все вокруг пылает. Поднимись к себе в башню — увидишь. В кольце огня столица коммунизма. Как тигр. А ты не знал?

— Нет. У тебя пятерка есть?

— Ты подожди. Есть новости похуже... — Для акустической защиты вдобавок к воде из-под крана Иванов на полную мощность раскрутил душ.

— Испанку проводил?

— Нет еще.

— Друг, чем скорее, тем лучше. На тебя катят бочку.

— Откуда?

— Оттуда.

— Что, вызывали?

— Не только меня. Не дошло еще?

— Нет.

— Соблюдают. Обязали не разглашать...

Сквозь дыры занавески били струйки, но Александр не утирался.

— Ну?

— Под колпаком ты. Как я понял, составляют твой портрет. Что, где, когда, кого и почему. Особенно насчет Инес. По любви с ней или виды имеешь?

— Какие?

— Известно... В западном направлении.

Александр влез с головой под кран.

Вода была тепловатой, но, когда он отбросил мокрые волосы назад, чернота в глазах прошла.

С полотенцем Иванов вынес червонец.

— Хватит? Предки на Сочи прислали, но я на каникулы отсюда ни ногой.

— «Железный занавес» штурмуешь?

— Э, нет. На Родину я развернулся. А в этом году небывалый ожидается наплыв. Гуманитарный бум! Причем, смена, скажу тебе, приходит... Акселератки. Еще не поступили, а как дипломницы: и в хвост тебе и в гриву. Давай завязывать, Сашок, и на подмогу. Этнос разнообразный, причем лучшие кадры сверхдержавы. Взгляни хоть на эту, на первую ласточку...

Он нажал ручку у себя за спиной.

Запрокинув оплетенную бутылку из-под «Гамзы», нагота в кровати обливалась, глотая воду. Полоски снятого бикини сверкали так, что Александр зажмурился. Удостоверившись, что с кадрой все в порядке, Иванов обратил на него изумленные глаза:



— Не нравится?

— Прости. Просто период такой, что впору «Крейцерову сонату» сочинять.

— Случилось что-нибудь?

— Угу. Разбит мой Эрос в пух и прах.

— Смотри. Где Эрос отступает, там сразу этот, как его,— Бог смерти... Сам же говорил. Возвращайся, друг. Сашок?

Оставляя единственного кредитора в недоумении и тревоге, Александр, пятясь, вышел в коридор...

Бесконечную сумму страданий государство свело к цифре—5 (пять) рублей. Несмотря на очередь из распаренных женщин, в сберкассе не преминули возвысить голос:

— За аборт?

Пустые дворы. Земля трескалась, как асфальт. Пух тополей вдоль бордюров сваялся грязной ватой. Из-за серо-кирпичных углов тянуло то карболкой, то помойным гниением. Пятиэтажки унылого цвета. Одна нежилая.

Он вошел и вернул проштампованный счет.

— К ним нельзя.

Медсестра взяла передачу—в полиэтиленовом мешочке два цветочных граната. Приобретенных у таджика на рынке.

— Писать не будете?

Она подозвала других сестер, чтобы показать, как, сидя на ступеньке, он выбивает на машинке то, что самому показалось больше похожим на угрозу:

Я люблю тебя. Не разлюблю никогда.

— Будете ждать ответ?

Ответ был по-французски и от руки:

**Moi non plus. Donne-lui trois roubles\*.**

Трех уже не было, но он отдал последний.

Вышел, увидел скамейку.

Перебитая рейка приподнялась под ним.

В зарешеченных ямах полуподвала и на первом этаже окна были забелены. Этажом выше изо всех окон на него смотрели соотечественницы. Простоволосые. Выдавлив груди в разрезы рубах. Не все тяжело и угрюмо. Некоторые улыбались и что-то о нем говорили, отчего над головами у них возникали соседки.

Он скрестил руки и сжал себе бицепс.

Как по команде, окна опустели.

Инес не появилась.

Он поднялся и взвалил за спину тяжесть машинки. Между домами потягивало гарью. Асфальт проспекта отражал закат, который догорал в стеклянных крышах рынка.

Закат был жуткий—багрово-черный.

Четверть века назад в дорогое предместье Парижа влетел «ситроен». Он был облеплен низкорослыми мужчинами в черных костюмах и кепках. Соскочив с подножек, одни бросились к дверце, другие к дверям фешенебельного «Матерните».

Вперед животом вышла женщина.

Она родилась в Мадриде. Отец там работал на цементном заводе. Потом перевез их к морю. В рыбном городе Бильбао он купил лавку—зелень, овощи, фрукты. Девочка разносила корзинки с заказами. Каждый плод вымыт, корзинка накрыта крахмальной салфеткой. Девочка тоже была аккуратной.

\* Я—тоже. Дай им три рубля (франц.).

Когда начался контрреволюционный мятеж, Пасионария стала ее героиней. Революция — это женское дело. Те же цели. Только победа революции в Испании может освободить женщину так, как свободна она на заре коммунизма — в СССР. Если погибнет революция, снова будет как прежде. Насилие. Одеждой! Широкими юбками до щиколоток, рукавами до запястьев, высоким и строгим воротничком. Религией! Журналы, романы — только с церковного дозволения. Театр, кино — только после консультаций с католическим цензором. Танцы на публике — только местные и народные. Ни косметики, ни губной помады. Об этом писали газеты, которые читала девочка, — *Muchachas, Mujeres, Emancipacion*.

Обещая права на работу, равную зарплату, открытие яслей и детских садов и даже — иногда — легализацию аборта, эти газеты, однако, считали, что мужчина все равно впереди. И особенно на войне. Только любимый еженедельник «*Mujeres libres*» шел дальше, утверждая, что надо покончить с подчинением женщины интересам других. Фронт для нее не только где стреляют. Враги не только франкисты. За спиной у каждой свой «внутренний враг». Родители, дети, мужья. Семья — вот второй ее фронт. Социальная революция — только начало. После ее победы испанские женщины должны совершить свою собственную.

В пятнадцать она ушла из дому на курсы медсестер. Было много работы — но Бильбао пал.

А потом и вся Республика.

За Пиренеи, во Францию, она эмигрировала пешком. В концлагере для испанских беженцев, в Перпиньяне, научилась говорить по-французски. Освобожденная по причине начавшейся войны, она пошла в Резистанс\*. Из этой — третьей — жизни моей матери мне известны лишь два эпизода.

По радио из Лондона отряду сообщили, что немцам известна его дислокация. Отряд стал замечать следы, местные жители были абсолютно равнодушны к идее Сопrotивления. Для ночевки мужчины выбрали идиотское место — дом у отвесной горы. И уснули, оставив мать на часах. Пистолет был слишком тяжелым для прицельной стрельбы. Но все обошлось.

Партию оружия она везла в сопровождении двух испанцев. Проходящий человек им шепнул, что подходит патруль. Парни выпрыгнули на ходу. Она стала тащить чемодан по вагонам. Поезд остановился. «Могу я вам помочь, мадемуазель?» Немецкий офицер спустил чемодан на перрон. «Не слишком тяжелый для такой девушки?» — «Все мои книги, — ответила она. — Коньки, утюг. Я к бабушке переезжаю». Офицер козырнул ей из тамбура. Город был незнакомый. Никто не пускал ночевать. Потом ей дали адрес, где принимают «таких, как вы». Деньги попросили вперед.

Утром она потащила оружие дальше.

И довезла.

В год Освобождения она проводила своего друга по Сопrotивлению. Он вернулся в Югославию — строить социализм. Она осталась в Париже. Невысокая, четкая женщина. Эспаньолита. Черные глаза блестящие. Волосы тоже — с гребнем и локонами. Каблуки черных туфель выгибали ступни. Черная юбка и блузка из парашютного шелка.

Однажды в Латинском квартале на митинге выступил Висенте Ортега.

Руководителю было тридцать. Он умел поджигать сердца.

Ей пришлось выбирать между ним и любимым своим пистолетом. Никелированный «вальтер» со щечками из перламутра. Подарок американского летчика. Декабрьским вечером Сорок Пятого года, когда

\* Движение Сопrotивления.

переходили Pont-Neuf, Висенте вынул ее руку с пистолетом из кармана и завел за парাপет . . .

Первого Мая был праздник. Танцевали под аккордеон. Гость из Венгрии подал руку, она поднялась. Этим танго Висенте остался весьма недоволен. Ругал аморальных (почему-то) славян. Впервые пришлось ей оправдываться, — что его не было рядом, что он, как всегда, с товарищами . . .

Она была уже на пятом месяце.

Отец был в Испании, когда я родилась. В первой своей нелегальной поездке. Благополучно вернувшись, он предложил дать мне, лежащей в чемодане на рю Монмартр, 10, имя Долорес — в честь Председателя партии. Но мать уже выбрала.

Инес.

Четверть века спустя меня готовят к аборту в СССР.

Полуподвал. Пол цементный. Стены в подтеках. Бельмо окна со следами малярной кисти а ля Пикассо.

Здесь хозяин по кличке дядя Вася-Пиздобрей. Мстя за профессию, пьет. Да так, что руки трясутся, когда наклоняется с бритвой. При этом, однако, извлекает прибавку к зарплате — за добавочный комфорт. Во-первых, смена лезвий. Если деньги не взяли, извольте, мадам, бриться старыми (когда даже новые годятся разве что для офицерских щек, и то сомневаюсь . . . Знала бы, захватила бы «Жиллет»!). Дальше — мыло (а без денег — терпите всухую). При конвейерной этой системе к концу дня набирается даже больше, чем на бутылку, которую он распивает, выдавая себя среди собутыльников за ветерана войны. Так говорят соседи, прошедшие через этот подвал много раз.

Вся палата смеялась, когда я сказала, что абортируюсь впервые. У них норма пять-шесть. До тринадцати. Одна пожилая — после двадцатого. Об этом говорится со странным каким-то превосходством.

Не знаю, что испытала в Париже Кристин.

Здесь это — как насадка на миксер. Тебя разнимают, пристегивают и наваливаются. Вставляют железо и распяливают до отказа. Миксер включается. На очки и на грязный халат брызжет новая кровь. Это твоя. Ты орешь. И орут на тебя.

Снимают, уводят и — следующую. Конвейер. Фабрика-кухня. Как куриц каких-нибудь потрошат.

Только живьем. Без наркоза.

*Mais ça fait mal . . . \**

Бледность ее лица потрясла Александра.

Она вернулась внезапно, за день до выписки. Одна. На транспорте, с тремя пересадками, — хотя у него было отложено на такси.

Касса рабочей столовой была внизу, зал на втором этаже. Комнатной величины. Голый пластиковый стол. В углу компания разделась под выпивку до пояса — кирпично-обожженные по шею и локти, а в промежутке бледнотелые, на предплечьях наколки, не сложнее — по символу — сердца, пробитого стрелой. На липучках шевелились мухи. Оставив на тарелке блестящую гречневую кашу с подливкой, пиво Инес допила. Теплое. Прощальный обед в СССР.

Когда они встретились, кинотеатр по эту сторону «Спутника» еще строился, а сейчас, несмотря на неубранный мусор вокруг, в нем уже шел фильм. Болгарский. Про шпионов, срывающих коварные планы Запада; ее — в последнем кадре убили из винтовки с оптическим прицелом, он — благополучно вернулся в лагерь социализма. Указательным пальцем Александр вытер слезу, успев еще в темноте прижать

\* Но ведь это так больно (франц.)

лицу ироническое выражение. Вместе со старухами, бетонщицами и мальчишками, которым не достались путевки в пионерлагеря, они вышли на солнце.

Красное и в дыму.

Больше наружу они не выходили. Окна в квартире закрыты, шторы задернуты. Потеряв напор, вода сочилась, ржавая и теплая. Они намачивали простыню, выкручивали над ванной в четыре руки, расстилали и ложились плашмя. Рядом, но не соприкасаясь.

Они говорили. Тем больше, чем меньше ей здесь оставалось. День и ночь напролет.

Он пытался вообразить границу. Момент перехода. С начала начал — что есть Запад?

— Запах.

— Чего?

— Чистоты. Чистоплотности, — подбирала она. — Зубной пасты. Мятных пастилок, чуингама. Туалетной воды. И духов.

— А еще?

— Дезодорантов.

А сигареты? — напоминал он. Настоящие? Конечно. *Les Caporal. Les blondes.* Изредка трубочный дым. Или вот. Либеральной демократии запахи. Типографская краска. Афиши. Газеты, журналы в киоске. Вертушки с «ливр де пош». Запах машин. Кафе-эспрессо. Круассанов *au beurre\**. . . Запах жизни. Имеющей ценность. Звук. И цвет. Это можно еще осязать. Вкус. И покой. Состояние легкости. Как переход в невесомость. Каждый раз привыкаю с неделю.

— А потом?

— Все превращается в норму.

— Какой она будет?

— Сначала? Моя комната. Солнце весь день. В лоджии кадка с апельсиновым деревцем. Холм вдали. Там растут персики. Старинная церковь. Тишина. Они меня ждут.

— Откуда ты знаешь?

— Покрасили комнату. В белый цвет. Но не чисто, а с нюансом, которого не передать. Такого здесь нет. *Blanc casse.* Белый, сломанный. Такой медитативный. Это Париж изнутри.

— А снаружи?

— Серый. Все оттенки. До жемчужного.

— Еще будет лето, — домогался Александр. — Август. Куда поедешь?

— Может быть, к подруге в Ниццу.

— А потом?

— В сентябре весь Париж возвращается. *La rentrée.*

— Что это значит?

— Жизнь начинается. Романы, выставки, кино, скандалы. Я приеду к тебе через год, а ты меня не узнаешь. . . Сигарет привезу. И мы куда-нибудь поедем.

— Куда?

— Куда захочешь.

— Разве что в Питер. Больше некуда. . .

Ночью на кухне он открывал окно и, просыпая табак, разминал папиросу. «Север» — пятого класса. Из расползшейся пачки. Упираясь локтями, улетал в темноту, оставляя свой кокон в шлакоблоке. Ангел отчаяния. Всевидящий, отрешенный. Над горящим в ночи Подмосковьем.

За три дня до развязки в дверь позвонили. Прячась за лакированной твердью, он приоткрыл на цепочке.

\* С маслом (франц.).

— Кто это был?

Он подал ей телеграмму.

**Вылетаю с любовью Альберт тчк**

После второго захода — «*Si tu me permets*»\* — Альберт расстегнул свой мундир, в вырезе майки белая кожа шла пятнами.

— Разбавляет . . . Друг мой разбавляет. Водой.

В литровой бутылки с притертой, химической пробкой был спирт. Бокалы хрустальные.

— Не могу, друг, позволить.

— Раньше мог. Он на все был способен, Инес. Кроме любви . . . — Выдохнув, Альберт запрокинулся и приложился к своему кулаку. — Х-ха. Экзистансу искали мы в совреальности. Спросишь, как это выглядело? Крайним релятивизмом. Отношения, личность . . . Это все по боку. С кем попало. *Tu m'entends?*\*\*

— *Je l'entends, Albert.*\*\*\*

— Инес, за тебя!

90° это . . . это — глаза прикипают. К глазам.

— Сейчас я скажу.

— Что?

Альберт ухмыльнулся и всхлипнул — изумленно. Глаза помертвели, стекленея.

— Друзья, я убил . . . Человека.

Александр наложил свои руки ему на погоны.

— Успокойся. Все тут свои.

И захлебнулся. От удара под ложечку. Засмеялся, но внутренне. Вслух же не смог. Только выдавил:

— Друг . . .

И влетел в угол с вертикальной железной трубой. Он все понимал, начиная с армейских полуботинок, на которые нависали, ломаясь по стрелке, брюки. Сверху ботинки блестели, — хозяин сунул их под вращение щетки в аэропорту. Снизу грязь, привезенная из-за Урала. Через бортик тахты Инес подала Александру ложку. Гладковыпуклый холод на челюсть. Неужели сломал?

— Убил он . . . Тоже мне сверхчеловек. Хайль, Альберт. Я насквозь тебя вижу.

— Потому что такой же. Зиг хайль, Александр.

Он ударил и промахнулся.

— Бой с тенью, — сказал Александр. — Обучили?

Инес вспрыгнула на тахту.

Сколько пыли, сколько солнечной пыли! Альберт наступал. Дверцы треснули. Ломая фанеру перегородок, они провалились. Вместо кляпа Альберт заталкивал в рот ему «слипы».

— Отдай ее мне . . . Шанс мне дай. Дай возникнуть. Дай выбраться . . . Друг, Сашок. Ты же Россию любил? Что ж ты, падла, стране изменяешь? Ты ж себе изменяешь, себе!

Ударил в левый глаз и заплакал.

Сбросив его, Александр продрался к воде. К ледяной . . .

Но она еле теплая. В зеркале улыбался Альберт. Александр был не лучше.

— Только глаза от нее и остались . . . Отдай.

— Послезавтра она улетает.

— До послезавтра.

— Иди на хуй.

\* Если позволишь (франц.)

\*\* Ты слышишь? (франц.)

\*\*\* Слышу, Альберт (франц.).

— Скажешь, любовь? Не способен.

— На все я способен.

— А убить человека? — Альберт снял с полочки его станок. Вывинтил «Жиллет» и резанул по воздуху. — «Любовь»... Знаю, что ты задумал. Что у тебя на уме.

— И в мыслях читать научили?

— А это наш долг. Предупреждать преступления. До того, как свершилось.

Александр сплюнул: струйка из крана стала разматывать красный узел, обесцвечивая нити слюны. За спиной Альберт чиркал бритвой крест-накрест. Ауру полосовал.

— Красивый... Я такого, как ты, разрывными по сугробам разнес. Сволочь, изменник. Нарушитель границы.

Бросив лезвие, он размахнулся. Александр вылетел из зеркала, но удержался за раковину. Они снова сцепились, ломая друг друга. Альберт стал кусаться.

— Я тебя съем! — И смеялся, слабея. — Ам, ам!

Александр свалил его в ванну. Переключил воду на душ и ударил струей.

Отлетела щеколда, ворвалась Инес.

— Перестань. Партбилет у него там...

— Пьяный бред...

Она перекрыла душ. В квартиру стучали соседи — в двери, в стены и в потолок. Альберт вытащил красную книжечку.

— Умоляю, Инес... Под утюг.

Александр отпал к переборке.

— Друг... Неужели?

Стаскивая брюки, Альберт только мутно взглянул.

Послушал часы, отстегнул их, и хрястнул об пол, и упал за порог, вниз лицом. Александр приподнял его и заплакал. Толкнувшись в гостиную, он увидел, что дом их пылает. Пламя рвалось к ним в окно. Он втащил тело на тахту и пошел за водой. Из цветочного ящика за окном Инес выкопала все окурки и посадила «анютины глазки». Это было в их первые дни. По весне. Из этого вырос кустарник огня, загудевший от ярости, когда Александр опрокинул ведро. Одного не хватило, и двух было мало. В обугленном ящике все еще полыхала земля.

На кухне гудел парижский фен для сушки волос. Партийный билет в пальцах Инес дергался бабочкой.

Вот и всё.

Он ничего не испытывал, кроме конкретного сожаления по этому конкретному поводу. Было так жарко, что кожу мгновенно стянуло, он весь был в этой нежной коросте, в шелушащихся струпьях.

Инес отвернула матрас. Нашарила ручку, поднялась на колени. Грудь засияла, когда повернулась на свет. «Вис» ее высох. Кончилась в трубочке кровь. И последняя дата вместе с клоком сорвалась, оголив штукатурку.

Самолет был в три сорок. Минус до аэропорта. Время было, но.

— Еще собираться...

— Я готова.

— А вещи?

— Подаришь какой-нибудь...

Он сжал часы, навалился щекой на кулак и вдруг отключился. Разбудил его запах гари. Пылала сине-красная книжечка — авиабилет до Парижа. В супной тарелке «Общепита», сильно исцарапанной ложками. Сжав руками колени, она наблюдала, как корчится пепел.

— Я теперь вне закона.

- Как все здесь...
- Но меня они станут искать.
- Не сегодня.
- Не сегодня, так завтра.
- А завтра, — сказал Александр, — уже не найдут.

## ПЕПЕЛ

Красный свет задержал их посреди Невского проспекта. Реклама уже угасала, но было светло и видно аж до Адмиралтейства, которое мерещилось в конце перспективы.

— *Гражданские сумерки...*

— Политический термин?

Он засмеялся.

— Географический. Так называются белые ночи. С другой стороны, они уже проходят. Тогда как сумерки Семнадцатого года, эти, боюсь, уже навечно...

Дом был напротив — с парадным, осевшим под линию тротуара. Дверь с узорной решеткой. Знакомый запах мочи. Битая, позатоптанная мозаика пола. Старинный узор решетки старинного лифта. Завиток перил. Мрамор ступеней, выеденных посредине.

Двойная дверь по краинам была усеяна звонками всех времен и систем. Он нашел кнопку образца 60-х. Подлетели шаги.

Мальчик Ипполит вырос и стал совсем прозрачным. В темноте коридора у каждой двери громоздились предметы. На шкафу рядом с дверью сестры Александра — корытце из цинка.

— Музейная редкость.

— Еще бы. Меня в нем купали.

— Вот в этом?

Ипполит подал голос:

— Где ее ключ, не забыли?

Ключ был в пыли на шкафу.

Александр вспомнил, что выключатель разбит, и с осторожностью щелкнул. Экономная лампочка озарила типичный ленинградский пенал — результат Катастрофы. Потолок бывшей залы с лепным украшением был разрублен, от ангелочка осталась лишь нижняя половина.

Клином жилплощадь сходилась к окну.

Он ее обнял.

— Никогда не найдут. Тебе нравится?

— Я помыться хочу.

На кухне был только мальчик. Стены в кастрюлях и трубах. Над головой вперекрест бельевые веревки. Пять газовых плит взрывоопасного вида. Он поставил корытце под кран. Спички питерские, красно-желтая этикетка по-английски. Излишки экспорта. Снаружи Питер, но внутри Ленинград.

— Бог Москву, говорят, наказал, — сказал мальчик.

— Есть за что.

— Правда, что там все проваливается в тартарары?

— Под Москвой.

— А сама?

— Еще держится. Но дышать уже нечем.

— Подышать к нам приехали?

— Отдышаться.

Обогнав, мальчик открыл ему дверь. Александр внес корытце и не расплескал.

— Мадемуазель.

— Тетя не русская?

Александр обернулся.

— А что?

— Просто так. Мама на кухне моется. Я дверь ей держу, чтобы сдуру никто не вошел. Надо тихо, чтоб не плескалось. Но сейчас никого, так что мойтесь спокойно. . . *Мадам.*

Александр вышел за ним в коридор. Обои вокруг телефона испещрены номерами. Он снял трубку, набрал неуверенно и, наслушавшись длинных гудков, положил — еще черную, как в детстве.

Мальчик попросил набрать ему «точное время». Послушал, вернул и вздохнул.

— Загуляла моя мама.

— Право имеет.

— У нее сейчас, знаете финн. Приезжает к нам на уик-энды.

Вы бывали в Финляндии?

— Издеваешься?

— Есть Финляндский вокзал, а поехать нельзя. Почему?

— Потому.

— Это близко. Кроме водки, там есть все.

— Например?

— Сыр «Виола» . . . Ну все. Близок локоть, а не укусишь.

— Еще укусишь.

— Не знаю. . . У этого финна семья.

За дверью вскричала Инес.

Сведя груди локтями, она стояла в корытце.

— Что это?

— Где?

Ипполит удивился:

— Разве в Москве нет клопов?

Она с трудом распечатала пачку. Франков, сбереженных Инес, чтобы взять такси от парижского аэропорта до дома, хватило как раз на этот блок «Пэл-Мэлла», который она перед отъездом купила в магазинчике для иностранцев гостиницы «Украина».

Курили они в коридоре.

Согласно традиции, пойти было некуда. Только уйти. В Петербург — и рыдать до зари.

Сил не было даже по второй закурить.

Вдоль пенала посвечивала леска. Они забросили на нее всю одежду и подвесили обувь — прищепками. Тахту от стены отодвинули и застелили взятой из шкафа простыней (под простыней оказался тамиздатский томик Бродского — «Остановка в пустыне»).

— Ложись.

— А ты?

Он ответил цитатой из Кафки:

— Кто-то должен не спать.

Инес подложила руку под щеку и поджала колени. Он взвел-зафиксировал колпак лампы. Прожекторный свет залил подступы к иностранному телу.

Взяв с полки «Русские ночи», он взгромоздился на стул.

Но забыться не смог. Коммуналка разъехалась на уик-энд, оставив клопов без крови, и они двинулись на гостей. Самой вожаденной оказалась Инес. словно сговорившись в какой-нибудь штаб-квартире за обоями, клопы появлялись одновременно с четырех сторон. Нависая над спящей иностранкой, Александр отбивал атаку скрученной в жгут «Ленинградской правдой». Пробовали и с потолка. Но при всех своих интеллектуальных способностях коэффициента сноса вычислить не могли. Выгибаясь акробатом абсурда, он отбивал их атаки.

Утром они все-таки вышли в Петербург.



Невский был пуст — весь, до искры Адмиралтейства.

— Как красиво. . .

Зевок свел ему челюсти.

— Сейчас бы кофе с круассанами. Большой «боль» кафе-о-ле. Но перед этим ванну с пеной. . .

В полуподвале булочной на углу купили два свежих маковых булика. И съели их тут же, в сквере у метро, название которого ему всегда казалось издевательским — «Площадь Восстания». Потом спустились в подземку, но через остановку — вышли.

— Там, справа, писались «Братья Карамазовы».

— А слева?

— Детство, одетое камнем.

Через Звенигородский и коридором Щербаковского переулкa они выбрались на улицу Рубинштейна, где он обратил внимание Инес на голубую стеклянную вывеску.

— Сексологический центр. Первый под властью тьмы. Символично, что возник он в эпицентре обскурантизма, где ковались мои комплексы. Нырять в эту дыру.

Стены подворотни были облуплены, но не сочились. От мусорных баков тянуло гнилью.

Со дна лестничного пролета возвращалось эхо безрезультатного стука в дверь.

— В блокаду у бабушки лопнули барабанные перепонки.

— Сколько ей?

— В год Катастрофы было как нам. Квартиру им купили на свадьбу. Весь этаж.

Они сидели на ступеньке. Поднося сигарету ко рту, он пальцем ощущал ее невесомость.

— Что будем делать?

— Вернемся.

— В Москву?

— В Петербург.

В Зимнем дворце неопиты устремляются через галерею Растрелли на Главную лестницу; он же повел ее тайным маршрутом — направо, где гулко и сумрачно.

Сквозь Древний Египет, Вавилон, Ассирию — в классическую античность.

— Повалю сейчас на саркофаг.

— Жестко.

Обнявшись, они вплыли в зал, полный статуй. Странно было держать руку на живом бедре.

— Тот юный, растленный — ты видишь? Гиацинт.

— А лысый?

— Ну, как же. . . Сократ. А это натурщица. . .

— Чья?

— Моя. . .

Кто отнял ей белые руки? Нависая своими культами, Венера Гаврическая с тоской созерцала вид внутреннего двора. Тогда, в отрочестве, главными врагами Александра были старухи в темно-зеленой униформе. Они зорко следили за его метаниями вокруг постаментов. В руках у него были блокнот и обкусанный карандаш. Сросшаяся с Венерой идея неприкосновенности, неприкасаемости, сводила с ума пигмалиона в пионерском возрасте. Ползая глазами по мрамору, он пытался перерисовать эти груди, рельеф живота, этот широкий треугольник. О, раскрой! О, приоткрой эти бедра, соверши свой шажок, — ведь и пятка уже полуприподнята.

— На нас смотрят.

Он снова затормозил — перед бронзовой статуэткой. Этрусской. Пятый век до нашей эры. «Мальчик на погребальной урне».

— А это?

— Я.

За витриной кафе Александр увидел, можно сказать, родственника. Который ел мороженое из вазочки. В одиночестве.

— Атлет с залысынами — видишь? Муж моей крестной. Мамонов.

— И?

— Подойди сзади и закрой ему глаза.

Недоумевая, Инес подошла к стулу и погрузила незнакомца во тьму ладоней.

Александр сел перед ним. Столик подпрыгнул. Черносмородиновое мороженое капнуло с ложечки. Наконец Мамонов нашелся:

— Вы обознались, милая гражданка. Я — не он.

Глаза открылись — с красноватыми прожилками.

— Быть не может?

Александр пожал ему руку.

— Но каким же? . .

— Вот слоняемся по Союзу. Инес, позволь тебе представить. . .

Привстав, Мамонов приложился к руке. Потом обратил вопрошающий взгляд.

— Инес — парижанка.

— Рижанка?

— Па-рижанка.

Мамонов осмотрел стойку, выпел, добытый этим кафе в борьбе за коммунистический труд. Удостоверившись в незыблемости мира, несмело улыбнулся:

— Баку?

— Почему Баку?

— Ну, говорят же. . . *Маленький Париж*. . .

Бабушка в одиночестве пила чай с блюдечка. При их появлении в лице она не изменилась. Внук прокричал имя своей любовницы. На груди у бабушки висел слуховой аппарат. Она наставила мембрану на Инес.

— Как?

Инес повторила.

— Не стесняйся, — сказал он. — Кричи.

Расслышав, бабушка посмотрела с сомнением.

— Инес из Парижа. Из Франции!

— Слышу, слышу. Не такая уж тетеря. Садитесь, милая.

Импортные кресла на алюминиевых ножках были укутаны в полиэтилен. Модерн, заброшенный терпеливым Мамоновым в тылы последней из могикан Империи Российской. Резной буфет, отворяясь, дохнул валерьянкой.

— У вас там, верно, кофе заведено. Здесь мы кофейничаем по утрам. А сейчас, не обессудьте, будет чай.

И поставила перед Инес блюдце с чашкой.

Когда высоко на стене часы пробили полночь, Мамонов со словами «завтра дел невпроворот» выключил телевизор.

Бабушка опустила на экран салфетку.

— Барышне я постелю в дальней комнате. Может, вам не по нраву, но у меня так. Идемте, милая.

Многоярусная люстра освещала островок Петербурга. Над оттоманкой с подушками, вышитость которых еще помнили щеки, висела картина мариниста, так и не уступленная дедом Русскому музею — несмотря на послевоенный голод. В углу столик с причудливыми нож-

ками, так занимавшими его в детстве, был плотно накрыт сдвинутым овалом треснувшей мраморной доски. На ней стоял *Telefunken* — память о победе отца Александра над Германией. Благодаря трофейному циклопу еще в детстве он узнал, что есть и другой мир — голоса которого забивал вой глушилок, приводивших в безумие этот рысий, зеленый, ныне мертвый глазок. Александр потянулся, разворачиваясь по оси. Колоннада буфета. Буль-эбен в перламутровых лилиях. Для него собиравшаяся классика за стеклами книжного шкафа. Швейная машина фирмы *Singer* с узорной педалью — первооснова выживания рода. Под иконостасом — алтарного вида этажерка из карельской березы в подернутых бирюзой латунных завитках. На ней Александр впервые увидел урну с прахом своего отца. Этот ящичек вместе с ним, полуторамесячным, привезенный матерью из Германии, давно уже похоронили. Все это будет сдано в комиссионку, когда бабушки не станет.

Взгляд скользнул по венчальной их с дедом иконе, по лику Христа, и обернулся на скрип паркета.

Бабушка села и положила на стол свою старую руку.

— Откуда барышня? Ты давеча сказал. . .

— Париж.

Она сделала вид, будто речь о Содоме с Гоморрой.

— А у нас по какой надобности?

— В университете училась.

— Оставила?

— Кончила. У нас, — он добавил, — иностранцев там много.

— Да уж знаю. . . — Под клеенку она складывала вырезки из газет. Одну из них вынула и толкнула ему через стол.

Внук только покосился. В отличие от бабушки, он игнорировал партийно-советскую прессу.

— Уж ты мне прочти.

«КОГДА РАДУШИЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ. . .» Под этим интригующим заголовком речь шла о некоторых — в семье не без уroda — стажерах и студентах из-за рубежа, которые контрабандой протаскивают в МГУ чуждую нам мораль и враждебные взгляды.

— Ну?

— Боюсь я, внучек. Один ты у меня остался.

Из-за венецианского окна донеслась гитара, — глубоко внизу выпускники средних школ выходили в «большую жизнь». Газета задымила на абажуре, лампочка, освещавшая фотографии на этажерке, была слишком сильной. . . Прапорщик царской армии. Лейтенант советской. Александр прихлопнул книгой кнопку и взялся за перекладину изголовья — ребристую и с шарами, в детстве не отвинченными. На этой кровати умер дед, а возможно, и зачали его отца. Только за чем это было?

Сумрак озаряла лампада.

Едва раздался бабушкин храп, он откинул одеяло. . .

Когда они блуждали в обнимку — по Летнему саду, вдоль канала Грибоедова и прочим литературным местам, он не вынимал из кармана левый кулак. Брюки были в обтяжку — и бугром кулака он маскировал другой — по соседству. Правая рука обнимала Инес. Слипшись, они шагали по гранитным плитам.

И он все натягивал свой джемперок. . .

Это длилось часами. В ожидании ночи.

Вспоминая московский дебют, они диву давались. Пребывая в законе, они бы так не расковались. Под тотальным запретом все стало дозволено.

Раньше здесь была «шамбр де бонн». Стены не шире окна, за которыми томились вечные сумерки — на фоне брандмауэра, глухом и облезлом.

Врозь просыпаясь, они сходились за кофе — под испытующим взглядом бабушки. Стол был накрыт накрахмаленной скатертью с вензеями пароходной компании «Лондон—Гамбург—Петербург».

— А сегодня куда, молодые люди?

Под ними был весь этот город в устье суровой реки — до Кронштадта. По смотровой площадке Исаакия они обошли панораму и вернулись к виду на Адмиралтейство.

Кораблик на шпиге сверкал.

Он показал на дымный горизонт за Охтой.

— Пепел там похоронен. Отцу было двадцать девять.

— А сколько тебе?

— Двадцать четыре.

— Пять лет. Это целая жизнь. Проживем ее вместе?

— Если хочешь.

— А ты?

В подвальчике они взяли дежурный питерский коктейль — сто шампанского на сто коньяку — и на подводных крыльях улетели в Финский залив.

В черной воде inferнальными дирижаблями висели использованные презервативы.

Он протрезвел. Она дрожала под ветром. Последним бликом солнце еще держалось на куполе Исаакия. Описав пенистую дугу, прогулочный катер повернул обратно.

Ночи их кончились в полдень. День был жаркий. Сложив весла, они зыбились в пруду на Островах. В окрестной листве вдруг обозначился громкоговоритель.

— Внимание, внимание! — объявил на весь парк взволнованный девичий голос. — Говорит радиозузел Центрального парка культуры и отдыха. Отдыхающая у нас гражданка... **ОРТЕГА ИНЕС**. На ваше имя поступила телефонограмма. Вас просят срочно вернуться в Москву. Повторяю...

Весла вывернулись из уключин. С берега парочки взирали на них с любопытством. Инес хваталась за лилии, их желтоватые стебли все лезли и лезли, бесконечные, как в кошмаре...

— Стой!

Он задрал весла, но затормозить не успел. Инес лбом разбила ему губу.

— Я не уеду. Ты веришь?

Возвращались они солнцепеком. Стояли на старом деревянном мосту, глядя, как влетают в его тень стрелы многоруких байдарок.

Несмотря на опущенные стекла, в автобусе было душно. Автобус шел по Садовой, пересек Невский, потом налево под арку и по площади, огибая бюст Ломоносова, с надписью, которую с детства он знал наизусть: *Отрок, оставь рыбака! Мрежи другие тебя ожидают...*

Через Фонтанку — мимо арок с цепями.

На Разъезжей они вышли. Июль, после полудня. У Пяти Углов вяло жужжала убогая жизнь.

— Вот увидишь, — сказала она.

Бабушка и Мамонов смотрели на телефон, белый, он стоял на холдильнике фирмы «Розенлев». Они не успели перевести дыхание, как пошли звонки.

— Это вам, — сказал Мамонов.

Инес замотала головой. Мамонов снял трубку, приблизил ухо и отдал:

— Вам. Москва...

Когда Инес заговорила, Мамонов взглянул на Александра с состраданием: «Так-то, брат...» Он был из Мурома — неиспорченный человек.

— Висенте...

— Кто?

— Отец. Он в Москву прилетел.

Александр оглянулся на бабушку, которая, не слыша ничего, сидела посреди кухни, эпически сложив руки.

— Откуда он узнал, где ты?

Инес не ответила. Она закрылась в отведенной ей шамбр де бонн. Он было толкнулся следом, но был остановлен Мамоновым:

— Тут вот... На билеты вам.

— Я тебя засветил.

— Ничего...

— О том, где мы, не знал никто. Понимаешь?

— Понимаю. Зря хлеб не едят...

Бабушка вышла на лестницу и перекрестила обоих — через пролет. При расставании она не обнаружила слез — в отличие от внука-невротика.

Мамонов проводил до вокзала.

— Все это, конечно, выше моего понимания, но вы вот что, ребята... — Он пошел за вагоном: — Вы держитесь. — И догнал, чтобы крикнуть: — А вдруг, понимаешь, судьба?

Прослезился, пропал.

Они остались в тамбуре. Питер в то лето был завален индийскими сигаретами, очень едкими, и они их докуривали. Она не уедет, говорила Инес. А если придется, то следующим летом вернется. На машине приедет. И мы все повторим. Петербург...

Он курил и кивал. Он не верил. Вот разве на чудо надеялся: а вдруг Москва уже загорелась?

Но Москва не сгорела.

— На Арбат.

— Куда именно?

— Я покажу...

Когда приехали, она вырвала руку и открыла дверцу на проезжую часть. «Вот увидишь!..» Не оглядываясь, пересекла улицу, скользнула меж черных «чаек», поднялась по ступеням и исчезла. Вывески никакой.

Таксист повернулся:

— Здесь я стоять не могу.

— А что здесь?

— Не видишь? Логово ихнее.

— Сигареты, — сказал Александр, — у вас не найдется?

— Не курю и тебе не советую. Дальше куда?

В немецкой книге под названием «Революция пожирает своих детей» я нашла свидетельства того, что в СССР он сумел остаться трезвенником. Не только в смысле водки, с которой он вел бескомпромиссную борьбу как староста Испанской группы Высшей школы Коминтерна. Когда к нему в номер как бы по ошибке попадали развязные женские голоса, он неизменно клал трубку на рычаг. Было начало 1945-го, и после роспуска Коминтерна его вызвали из глубокого тыла и поселили в гостинице, известной всем, кто когда-нибудь распечатывал бутылку «Столичной», на ярлыке которой изображен угрюмый конструктивистский небоскреб.

По ночам он не спал.

После визита «электриков» номер прослушивался, но ванна все так же протекала, и было жутко холодно.

Погасив свет, он смотрел из окна на темный Кремль и площадь, заносимую снегом. При этом он курил, прикрывая огонек папиросы ладонью.

Эта гостиница была первой школой страха в Советском Союзе, который за трактора выкупил из алжирского концлагеря бывшего *teniente\** Республиканской армии. В конце 30-х жильцов отсюда выселяли неожиданно — по ночам и под конвоем. Тогда, перед большой войной, Висенте повезло, но в одну из этих январских ночей его поднял стук в дверь.

— Товарищ Ортега? Пять минут вам на сборы.

— С вещами?

Полковник госбезопасности засмеялся.

Шофер чистил стекла машины. На заднем сиденье — Димитров, Пасионария и Мануильский. Смуглый, усатый и маленький, как испанец, Мануильский вместе с Димитровым возглавлял в ЦК отдел связи с партиями за рубежом.

Обогнув площадь, машина поднялась к сторожевой башне. Место полковника занял другой офицер.

Машина въехала в Кремль.

В прожекторном свете над площадями бесновалась метель, заматавая Царь-Пушку и Царь-Колокол.

У входа в невысокое длинное здание машину ждал офицер, и в кабине лифта — еще один.

Внизу у лестницы сняли пальто и причесались перед зеркалом в золотой раме. Сквозь поредевшие волосы Димитрова просвечивала кожа.

На первом этаже они вышли на красную дорожку. Чистота была стерильной. На каждом повороте стуком каблуков делегацию приветствовали рослые молодцы в голубых фуражках и с каменными скулами.

В небольшой канцелярии их встретили двое: красивый блондинистый генерал госбезопасности и какой-то штатский — низкорослый и с грубым лицом. Штатский предложил садиться, неторопливо поднялся и скрылся за дверью. Вернулся он нахмуренный.

— Можно входить.

Молотов стоял у длинного стола для совещаний. На стене — портреты русских военачальников — Суворов и Кутузов. Министр иностранных дел был в европейском костюме — плотный, короткорукий, лобастый.

Открылась дверь, показав огромный глобус за спиной старичка с трубкой. Он был ниже даже Мануильского. И, несмотря на маршальский мундир с золотой звездой Героя Советского Союза, выглядел тщедушно. Волосы и усы сквозили. Не расставаясь с английской трубкой, он пожал руки всем, включая молодого испанца, который представлялся:

— Ортега.

Старик ответил:

— Сталин.

У него были желтые глаза.

Возглавив стол, он сел под портрет Ленина. По правую руку — Молотов. По левую — гости, в отдалении — некрасивый штатский.

На «ты» Сталин был только с Молотовым, всем другим говорил «вы». Иногда он откладывал свой «Данхилл» и брал синий карандаш,

\* Лейтенанта (исп.).

чтобы заштриховать очередной пункт беседы. Когда он посмотрел на Висенте, тот заставил себя не вскочить.

— Значит, когда речь зашла о десанте за Пиренеи, вы сделали шаг вперед?

— Товарищ Сталин! Этот шаг сделали мы все.

— Боюсь, это было преждевременное решение. А что, хочется вам домой?

— Так точно, товарищ Сталин.

— Замерзли у нас в России?

— В Испании тоже бывает холодно.

— Где же это?

— В горах, товарищ Сталин.

— А вы откуда?

— Из Андалузии.

— Из крестьян, мне сказали?

— Так точно.

— Кто у вас там?

— Мать, сестра, брат.

— А отец?

— Убили.

Сталин нахмурился:

— Франкисты?

— Нет, товарищ Сталин. За игрой в карты.

— Не иначе как передернул?

Черные зубы курильщика были загнуты вовнутрь. Отсмеявшись, Сталин вытер глаза.

— Домой вы вернетесь, товарищ Ортега. Но боюсь, что не скоро. Генералиссимус Франко — серьезный противник. Главная ваша задача на ближайший период — восстанавливать партию. Искать свой национальный язык, учиться бороться в условиях вашей собственной страны. Ради этого, товарищи, мы и пошли на роспуск Коминтерна.

В завершение встречи Пасионария спросила, нет ли замечаний по работе.

Замечаний не было.

— Вы ведь лучше знаете, что надо делать. — Мягко поднявшись, Сталин завел кулак: — Но пассаран!

Выводивший их офицер госбезопасности еле сдерживал восторг.

Метель кончилась.

Над Кремлем полыхало невиданное небо. Бездонное, чистое и холодное, в ту ночь оно было пурпурным — цвета Победы.

Висенте покинул Москву на военном самолете — вместе с Пасионарией. Из разрушенной Одессы на греческом судне они вышли в море, полное мин. В Порт-Саиде пересели на египетский сухогруз. Капитан, русский белоэмигрант, говорил по-французски лучше, чем Висенте.

По пути в Марсель Висенте выглядел так, что никто бы не сказал, что он всего месяц назад из Башкирии, куда на время войны эвакуировали Высшую школу Коминтерна. В Москве ему подобрали швейцарское пальто и костюм из бельгийской фланели. Узкие длинные кончики воротника рубашки, пусть и не совсем свежей, разделял узел итальянского галстука. Блестящие черные волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб, тронутый поперечными, вполне интеллектуальными морщинами. Он выглядел старше своих тридцати, этот умеренный изгнанием левый радикал. Музыкант, рисовальщик, поэт — из круга Гарсиа Лорки. Никаких пороков и привычек — кроме страстной привязанности к матери и сигаретам.

Во время стоянки в Каире Висенте убедил Пасионарию прогуляться в пустыню. В Гизе, пригороде египетской столицы, они наняли

проводящих и следующие восемь километров проделали на верблюдах.

Отец ужаса, знаменитый Сфинкс, имел оттопыренные уши и смотрел сверху остатками глаз и носа, съеденного раком времени.

Пирамиды оказались намного выше Сфинкса. Даже самая маленькая, Микеринос, была в шестьдесят метров. Кефрен и Великая на глаз были равны, но из «бедекера» он знал, что Великая выше.

Висенте слез с верблюда.

Над пирамидой кружил орел.

— Ты с ума сошел, — сказала лже-мать, но он уже сбросил пальто и полез по скользким плоскостям.

После Башкирии Висенте был в отличной форме, но, выбравшись на вершину, повалился навзничь. Он лежал и восстанавливал дыхание. Камень был плоским и белым от высохшего помета птиц.

Подняв голову, он увидел над собой бедуинов. Их было трое — с кинжалами. В центре площадки стояла мятая канистра, были расстелены коврики, потрескивал прозрачный костер. Висенте улыбнулся и сел. Почерневший клинок отвернул полу его пиджака, но кассу будущей партии держала Пасионария. Висенте с удовольствием вывернул пустые карманы. Кинжал царапнул его по запястью. Часы! Эти золотые швейцарские часы Висенте получил в Москве — для завершения образа европейца. Он отстегнул их и отдал. Что еще? Да, заколка для галстука. Обсуждая приобретение, бедуины удалились на коврики — молиться Аллаху в ожидании очередного покорителя.

Висенте отряхнулся.

Галстук взлетел ему на плечо. С вершины памятника рабовладельческого строя горизонты сияли, как будущее всего человечества. За лугами, испещренными каналами, за сиянием реки с раздвоенными парусами розовели минареты, а пустыня сливалась с алым небом.

Жизнь была впереди.

Свернув с Арбата в переулок, Александр прищурился на сверкающий хром лимузинов.

То, что вчера из такси показалось одиночным зданием, было целым комплексом — за высокой стеной. Со стороны переулка стена примыкала к фасаду. Окна зашторены. Бетонный навес над крыльцом с колоннами и въездом — чтобы прямо подъезжать к турникету.

Опустив на глаза козырьки фуражек, шоферы в лимузинах дремали.

За крыльцом, в другом крыле, одно из окон было открыто. Раздвинув шторы и занавеси, человек за ним курил сигару. Развязанный галстук на белой рубашке. Он скосил глаза. Могучий старик с пепельно-лиловым лицом и тяжелыми веками. Он явно не мог быть отцом Инес. Впрочем, кто знает. . .

Снова стена, но с воротами. От угла стены Александр повернул назад. Черный человек все так же курил сигару, но в глазах возникло недоумение. Шоферы лимузинов скосились из-под своих козырьков, наблюдая, как в тень восходит непривычный для них персонаж.

Отделанный листовой латунью турникет пришел в движение и удалился, оставив Александра внутри.

Из-за колонны шагнула фигура в штатском.

Он сглотнул.

— Я к одному человеку.

— Из газеты? По какому вопросу?

— По личному.

Следуя за пиджачной спиной, Александр оглянулся. Интерьер был как в фильме про Запад. За колоннами — кресла светлой кожи и с огромными спинками. Перед ними на мраморе — газеты. Иностран-



ные — судя по кричащей огромности заголовков. Его подвели к конторке, за которой, опустив голову, стоял человек в черном костюме.

Человек поднял голову.

Александр снял руку с конторки.

— Ортега, — сказал он. — Мадемуазель Инес.

— Ваш паспорт.

— Мне только увидеться.

— Паспорт.

Общегражданский внутренний паспорт был цвета прокисшей горчицы. Человек раскрыл слегка вогнутую книжку и сверил его с фотоснимком три на четыре. Опустив глаза, он переписал данные и выложил паспорт на стойку. Перевернул страницу гроссбуха.

— Нет таких.

— Ортега, — сказал он. — Инес?

— Нет.

— Но вчера ведь была.

Александра взяли под локоть.

— Прошу...

Турникет его вытолкнул.

Шоферы из лимузинов стрельнули глазами.

Горизонт закрывала громада здания МИДа — близнеца МГУ. Александр отлепил рубашку. Он взмок от пота, но только сейчас осознал, как прохладно там было — в логове.

Зной. Неподвижность. Но нужно идти.

А куда?

— Ну, здравствуй... Не ожидал?

— Здравствуй.

— Один, надеюсь?

Накрашенные губы, подведенные глаза, взбитые волосы. Персиковый грим поистерся на скулах. Строгий импортный костюм — юбка и блузка с кружевным воротником. Жакет перекинут через руку, в которой большая бутылка вина.

— Тебе... Ты меня не целуешь?

От нее пахло транспортом и польскими духами «Быть может». Она возмутилась, когда он чмокнул ее в щеку:

— Не узнаю, Александр?

Венерин холм расплющился о его кость, язык ворвался ему в рот. Во всем этом было нечто истеричное. Он перехватил ей руки, на правой было обручальное кольцо.

— Я вышла замуж.

— Ты?

— За офицера. Уезжаю в ГДР.

— Когда?

— Сегодня в ночь. Что же ты молчишь?

— Поздравляю...

Она бросилась в ванную.

На кухне он курил «Север», глядя на воду, бегущую по бутылки «Мильхлибфрау». Отрыдавшись, она переминалась перед зеркалом.

Явилась с иностранной коробочкой.

— Мэйд ин франс... Это что?

— Тампоны.

— Для чего?

— Менструальные.

В их прошлой жизни она подкладывала вату...

— Изменял мне с западной?

— А что?

— Высоко летаешь. С кем хоть?

— Марину Влади у Высоцкого отбил.

Она захохотала. Вставила тампон обратно и закрыла коробочку.

— В ГДР, наверно, тоже есть такие.

— Надо думать.

Она вернулась снова — с двумя бокалами из хозяйского серванта.

— Штопора так и нет?

— Нет.

Он вбил пробку в бутылку.

— Немецкое, между прочим. Настоящее сухое.

— Вижу.

— Пьем молча.

Вино было теплое. Он снял с языка крошки. Она прикурила от газовой зажигалки. Курила она «Золотое руно».

— А что было делать? В болоте увязнуть? Сам говорил, что я похожа на эту, как ее...

— Ты похожа.

— Вот я и буду. Презираешь?

— Нет.

— Ненавидишь?

— Нет.

— Значит, друзья?

— Ну конечно.

— Дай пять.

Он посмотрел на золотое кольцо и пожал ее влажную руку.

— Жарища сегодня...

— Август.

— Как раз три года, между прочим. Помнишь тот спальный мешок?

Он свел три пальца.

— Секрцию помню. Юных ваших желез.

— Замолчи. Есть вещи, о которых не говорят даже любовники.

— Бывшие.

— Тем более. Ты этого никогда не понимал.

— *Не принимал.* Надо все сказать.

— Зачем?

— А так. Чтoб знали.

— А то мы без тебя не знаем. Не такие мы тупые, как ты себе рисуешь.

— Знаете, но молчите.

— Зато мы живем.

— В молчании.

— А почему у нас не вышло, знаешь?

— Страна такая — не для любви.

— Сразу: страна. Переспал с западной и рассуждает. Когда у нас была любовь, я тебя ненавидела. Потому что *несправедливо*. Ты в Москве, я в дыре. Ты талант, а я дура. Ты мужчина, а я, понимаешь ли, дырка от бублика. А сейчас ты мне нравишься снова.

— Диалектика души.

— Нет! Потому что теперь мы друзья. — Двумя пальцами она оттянула блузку. — Жарко... Приму-ка я ванну. Помнишь, как... Нет. Лучше не надо. А то снова начнешь. Ты всегда меня шокировал, знаешь?

— Разве?

— Все три года.

Когда она вышла, он взял нож. Расстегнул рубашку и приставил к соску — лиловому и в волосках. Который вдавился вместе с кончиком. С одной стороны, было больно, но с другой — все равно.

Она перекричала шум воды:

— Принеси мне вина!

Взяв бокал, она взглянула так, что он испытал к ней жалость.

— Не уходи.

Он присел. Всего за двадцать, а ванна уже ей тесновата. В этой стране они отцветают, как яблони. Он себя чувствовал как при матери. Подростком.

— У меня чувство, что я тебя предаю.

— Почему?

— Я в Дойче Демократише, а ты...

— Ничего.

— А что ты будешь делать?

— Когда?

— Вообще. В этой жизни?

— Что в ней делают? В ней пропадают. Кто-то, правда, и с музыкой.

— Ты хочешь с музыкой?

— С машинкой.

— Почему ты такой пессимист? Вдруг еще станешь писателем? А я тебя буду читать. В библиотеке Дома офицеров возьму твою книгу и никому не скажу, что когда-то я знала тебя как...

Он очнулся.

— Стол заказан.

— Какой?

— Отвальная, или как там у них называется... Надо ехать. Царить.

— О-оо... У нас что-нибудь было?

— Как сказать... Но если ты хочешь... По-быстрому, а?

— Я не... Ничего не почувствую.

— Я уже чувствую, что ты чувствуешь.

— Это не я. А где этот стол?

— Какой?

— Яств.

— В ресторане на Белорусском.

— Оркестр?

— У-гу.

— Представляю себе.

— А не надо. Сосредоточься на...

Глаза ее закрылись, она выгнула горло. Ему захотелось заплакать. Он вырвал подушку из-под своей головы и отдался ей всерьез. Она вбивала в него свое лоно. Схватила под коленки и загнула ему ноги — *сделать тебе «салазки»*? Обими руками он ухватился за матрас. В ней была такая ярость, будто бросался вызов всему мужскому полу. Она стерла его так, что показалось: не он, а она заливает ему живот спермой.

Вернувшись из ванной, она натянула свой пояс и отстегнула чулки, чтобы надеть их снова. С осторожностью.

— Жаль, не было ремня.

— Зачем?

Она усмехнулась.

— Коронка супруга. Ноги мне связывает за головой. Думаешь, в армии ничего не умеют? Застегни мне...

Он застегнул.

— Я выход найду, не вставай. С «бабками» как у тебя — как всегда?

— А что?

— Сотня лишняя у меня.

- Он богатый?
- ГДР ... чего ты хочешь.
- Нет.
- Почему?
- Гусары, — ответил Александр, — не берут.

С хохотом чужая жена ушла из его жизни, оставив в отрешенном недоумении: неужели все это случилось с ними? Безумная любовь не имела ни цели, ни смысла, кроме себя самой, — пылать, пока пылалось, пока ничто не важно было, кроме чистого огня. Который, выбрав все дотла, исчез внезапно.

Горизонта не было, когда в первый день Нового года испепеленный Александр вылез на карниз своей Южной башни.

Не столько с целью покончить с собой, сколько от невозможности жить без любви.

В то утро мело так, что скалистая серость Центрального корпуса еле просматривалась, а вместо шпиля была просто белизна, едва тронутая изнутри отсветом сигнальных огней. Четко обозначалась своей белизной только крыша внизу. Дальше в метели — двадцать, вниз, этажей — смутно угадывалось пространство.

Расплющив онемевшие руки, Александр стоял и чувствовал, как сгорают снежинки на лице. Видимая часть здания подавляла сознание грандиозностью — столь невозможной, будто все происходило где-то в другом измерении, нереальном, как Нью-Йорк. А может, он вылез в белый космос из плывущей куда-то компактной вселенной. Его переполнил восторг. Он увидел своими глазами, что закрылась не вся его жизнь, а только частица, квадратик, окно бесконечного множества — в здании их 18 000. И он испытал жуткий страх: а вдруг именно сейчас он сорвется...

Почувствовав за плечом пустоту, он сделал шаг назад, поймал ручку и закрылся стеклом.

... С изнанки секретера смотрела она — с которой в Москве они выжить не смогли. Перед Новым годом он посадил ее на поезд дальнего следования — как в небытие. Она замуж хотела и чтобы родители купили однокомнатный кооператив с обстановкой — вот только кресла с какой обивкой? Болотной или бордовой? Он хотел только ее — но без мира впридачу. Негнущимися пальцами он сорвал ее фото, оставив себе только путешественника на край ночи и солдата, который, глядя с вызовом, накрывал ладонями полушария политической карты мира.

Вместо того чтобы лежать вниз лицом под пальто, он стал спускаться в недра общежития.

По ночам оно было переполнено возможностями. Даже в пределах корпуса — девятнадцатизэтажной шахты под его башней. Там были концертные залы, коридоры, отсеки, диваны у телефонных пультов, забытые обшарпанные кресла, кухни, темные лестницы, лифты, кабины брошенных телефонов для индивидуальной связи, столы с подшивками газет, которые не читал никто, но кто-то постоянно обновлял. Однажды он проходил мимо кухни, и ему мелькнуло что-то многообещающее — сине-красные полоски международной авиапочты. Совок мусоропровода прихлопнул полиэтиленовый пакет, забитый любовной перепиской. Его письма из Америки, ее — отсюда — неотправленные. Даже в эпистолярной форме этот роман был обречен, и он у себя в комнате рыдал до рассвета над этим медленным убийством любви. Во всем этом был еще один аспект — нигде, кроме как в этом здании. За одну ночь, читая чужие письма, он узнал обоих с такой изнуряющей интимностью, будто они годами жили втроем. О ней он узнал все — включая и коор-

динаты в общежитии, по которым он мог в любой момент явиться и объявить себя ее братом. Или убить. Но он не сделал даже попытки отыскать ее, чтобы сравнить с найденными в письмах фотоснимками. Он оставил анонимность этому отчаянию, следующей же ночью спустил мешок в открытую дыру мусоропровода.

Однажды с лестницы он вышел в коридор и, повернув налево, увидел вдаль причудливую фигуру — в поблескивающей накидке. Они сблизилась настолько, что его пробрал озноб при виде оскаленных зубов вампира. Он заставил себя идти навстречу. Это была, конечно, только резиновая маска. Ужасное отверстие издало хохот и за его спиной сказало что-то саркастическое — женским голосом и не по-русски. Карнавал у них, что ли? А может быть, это была Инес?

В другой раз хрипловатый голос попросил огня. Разогнувшись, фигура вывалила в поле зрения его сигареты мужской половой член. Школьные годы Александра прошли в провинции, где подобных уклонистов от генеральной линии били в общественных сортирах смертным боем. Но годы в МГУ его цивилизовали, — по крайней мере, настолько, что интеллект его не был шокирован. В поисках контакта персонаж разгуливал по этажам и сквознякам в одних брюках на голое тело, продумав особую систему прикуривания, — член, находящийся в полупугливом, полувозбужденном состоянии, сам выпадал сквозь заблаговременно растегнутую ширинку, ставя встреченного в ночи перед выбором.

Прикуривая, фигура прятала лицо, — но Александр узнал.

— Спасибо, друг . . .

— Не за что, Святослав Иванович.

Инспектор курса растворился в темноте.

На фоне обшарпанных простенков и приоткрытых дверей, из-за которых нагло подглядывали соседки, стояла беременная женщина.

— Не узнаешь?

— Алёна . . . Что с тобой случилось?

— Можно войти?

Она была бледная и в пятнах. Когда она села, живот выкатился ей на колени. Она возложила на него ладони:

— Поздравляю.

— То есть?

— Твой.

Он попробовал улыбнуться.

— Смеяться нечего. Должен теперь жениться. Формально требую руки. Тем более, ты этого хотел . . .

Он свел ладони и подался вперед.

— Что с тобой, Алёна?

— Не женишься, пишу на факультет.

— И что тогда?

— Отчислят. За моральное разложение. Затем забреют в армию, откуда можешь и не вернуться. А меня переведут на дневное с представлением отдельной комнаты в общежитии. Как матери-одиночке. У тебя есть чего-нибудь попить?

— Вода.

— Только спусти как следует. — Она отпила и вернула стакан. — Вот так. Усек?

— А без этого не переведут?

Алёна мотнула головой. Она была с родины Ленина, но «Ульяновск» никогда не говорила:

— В *Симбирск* придется возвращаться.

— Это плохо?

— Как посмотреть. С одной стороны, дыра. С другой — ребенку лучше. Газета дает оплаченный отпуск, мать уже простила. Можешь мне подогнать мотор?

Авансом он выдал частнику трешку и подогнал.

Помог спуститься.

Держась за дверцу, наклонился:

— Алёна... Кто?

Она завела глаза:

— Между прочим, и ты бы мог...

Ремень безопасности не доставал до застёжки. Он захлопнул дверцу, поднял руку. Машина выехала на улицу, оставив пыль над выбоинами асфальта.

Бабки у подъезда еще обсуждали инцидент, когда Александр вернулся из магазина с бутылкой. Они подло ухмыльнулись, и одна с фальшивым состраданием сказала в спину:

— Доигрался, голубок.

Однажды в детстве Александр потерялся в бамбуковом лесу. Молодая его мама свернула туда по малой нужде, отправив его подальше, где он и попал под штормовой ветер, гнувший вершины. Жуткий для русского мальчика лес оживших удочек, только гигантских — чтоб чудо-юдо ловить, — мертвенный, восковой, с нездешним шумом, острым и сухим. И это была уже не зона советских субтропиков на Кавказе, а, может быть, Китай под гоминьдановцами или Индонезия, где вырезают коммунистов. Он потерялся в мире, и ветер уносил его стыдливые «ау».

— Что с тобой?

Над ним наклонялся крепыш в подтяжках поверх рубашки с короткими рукавами. Хозяин квартиры, немец, но из Казахстана. Восток боролся в его душе с Западом, то этот побеждал, то тот, а в общем, малый совсем неплохой, к тому же кандидат наук.

— З-знобит, — ответил Александр. — Подорвали мне иммунитет. Коммунисты.

— Скажи «а-а».

Александр открыл рот.

— Нашел время для простуды. Жаль. Я девочек привез. Нет? Ну, лежи.

Оргия бушевала всю ночь, а на рассвете Александр проснулся от того, что на него ссали. Он откатился к стене — подальше от брызг. Хозяин стоял в дверном проеме и, глядя невидящими глазами, длинной струей орошал линолеум.

— Фридрих, — сказал Александр, — это не сортир.

Хозяин прервал струю.

Потом очнулся и вскричал:

— Прости!

Когда Александр проснулся, в квартире было тихо. В сквозняке из гостиной ощущалась убранность. На стуле, рядом с ним, лежали яблоки с опытного хозяйского участка, а к спинке была приколата записка: витамины, мол, от слова «жизнь», а о квартплате чтобы не беспокоился, когда сможет, тогда и отдаст...

Потом из бреда возник Альберт. Он был уже в штатском, смотрел с состраданием:

— Ощетинился, в халате... Тоскует, друг. Затоплю камин, буду пить. Хорошо бы собаку купить.

— Хорошо бы.

— Сейчас будет. Ложись...

Александр даже глаза закрыл, ожидая, как в детстве, и дождался: его обнюхивала с высоты своего роста черная собака.

— Русская борзая, — сказал Альберт, а девушка в белых джинсах и с прямыми, как у американки, льняными волосами, добавила:

— Милорду пять месяцев. Предки на сессии ООН, бабушка в больнице, а нам в Латинскую Америку через неделю... Вот тут вареное мясо и кости. На первое время. А дальше прокормите?

— Сам подохну, — пообещал Александр, держа собаку за вычурные лапы.

— Спасибо вам, вы добрый человек.

— Друг, ты понял?

— Понял.

— Ничего ты не понял. Дашенька, спускайся, а то таксист волнуется... Друг, ты меня слышишь? Я ведь убываю. Друг?

— Поздравляю. Плавающий континент...

— И не на год... Помнишь, я обещал, что *вылезу*? Прости меня. За Инес, за все... Черт, как ужасно, что ты болен, а счетчик щелкает... Вестей не жди. Пластическая операция, новое айденити. Я буду до конца стоять. Ты понимаешь? За нашу юность, за свободу, за дело Запада. После победы встретимся. Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве. Какой ты колючий... Поправляйся и не забывай: зовут Милорд.

Лицо ему лизали горячим языком. Он встал, оделся, спустился с собакой во двор. Матери похватили детей и отбежали, а бабки закричали:

— Черный черт!

По ночам Милорд глодал кость. Он гремел ею по всей квартире. Александр отнимал. Милорд принимался скулить на весь дом, который в ответ стучал так, что отдавалось в голове. «Тихо, — говорил Александр, лежа с ним в обнимку на матрасе и пытаюсь укачать, как сына. — Тихо, убьют ведь...»

Днем пришла делегация. Он не пустил. Они бились в дверь, дергая цепочку.

— Сам без прав живешь, еще и собаку завел...

Когда женщины откричались, мужской голос спокойно сказал, что, если дом не будет избавлен от скотины, он самолично спустит с него шкуру — с живого.

— Ничего тут не могу, — развел руками уполномоченный. — За топоры готовы взяться.

Александр стал выводить борзую по ночам.

Милорд утаскивал его далеко, в поля, — мало, что соображающего и ослабевшего так, что иногда он падал в темноту от резких рывков.

Бутылка сухого кубинского рому все еще стояла нераскупоренной, когда в один невыносимо солнечный день Александр открыл окно на похоронный марш Шопена и застонал, увидев, что на торжественные эти похороны смотрят дети с портфелями.

Он упал на матрас.

Но на следующее утро сбрил двухнедельную бороду и вышел в мир.

На Ленинских горах его охватил приступ агорафобии. Это вот что такое. Это чувство абсурда. Чувство невесомости: вот сейчас тебя подхватит и унесет, как эти обгорелые листья, скребущие по асфальту.

Он вышел на учебную территорию, но едва не повернул обратно, увидев блистающе-белую многоэтажную коробку. Двери разъехались, он столкнулся с Ивановым.

— Привет.

Не отвечая, Иванов положил ему руку на плечо и держал, пока лифт не набился до отказа. «Друг, я предупреждал», — сказал Иванов уже из кабины.

Информационные доски окружала возбужденная толпа.

Пробившись, Александр увидел приказ . . .

На лестничной площадке он стрельнул сигарету. С ним заговаривали, он не отвечал. Потом он вернулся в коридор. К двери инспекторской.

Святослав Иванович сделал вид, что не заметил. Александр подошел к столу вплотную. Сунув палец в иностранную книжку, инспектор прикрыл ее и поднял голову.

— Вы думали, научный коммунизм — это вам — так? Сами виноваты. Надо было в срок явиться на пересдачу.

— Меня же в армию заберут.

— Что ж. Каждый мужчина должен через это пройти. Всего два года, если не в ВМФ. Выполняйте священный долг, а там, глядишь, и восстановим.

Лицо было непроницаемо. При этом, как ни странно, инспектор читал в оригинале Пазолини.

— До свидания, Александр.

— Чао . . .

В коридоре мертвенно жужжал люминесцентный свет.

Он спустился на лифте к раздевалкам и пошел к выходу. Очнулся от плоского удара в лицо. Сплошное стекло, вымытое к началу занятий, вывалилось из алюминиевой рамы и грохнуло об асфальт. . .

Вплоть до решетчатых ворот дорожка была пуста.

Высотное здание МГУ — отсюда в правый профиль — медленно, но верно поднималось в небо.

Альма матер.

Внезапно превратившееся в мачеху.

Контроль на проходной он прошел беспрепятственно. Студенческий билет еще действовал, но внутри, в толпе, он почувствовал себя пасынком. Регистратор его эмоций, постоянно сидящий где-то за пультом в глубине сознания, с удивлением отметил взрывную силу чувств. Оказалось, все, что ненавидел, и не когда-нибудь, а еще этим утром, он на самом деле любил до дрожи. Обнять колонну и завывать.

Огибая зону «А», он так и сделал. Беззвучно.

На почте ему выбросили письмо от бабушки. Читать не стал, — потом только вынул из конверта червонец.

На протяжении нескольких этажей в лифте ему досаждал чей-то сочувственный взгляд.

На переходе в башню он, как из самолета, вчуже, восхитился сиянием города под крылом.

Комната встретила абсурдным шелестом бамбукового леса. Незнакомый человек, вынимая кисточку из туши, оглянулся во гнев:

— Дверь закройте!

Все стены, все поверхности, включая изнанку его секретера, были залеплены иероглифами, — человек был не китаец, а персонаж, известный когда-то во всем Союзе. Еще в школе Александр узнал о шахтере с Донбасса, который решил изучить все в мире языки.

— А, это ты. . . — Отложив кисточку, бывший шахтер встал и поджал здоровую ногу. (Одновременно с поглощением языков он наращивал мышцы на усохшей от полиомиелита.) — Теперь меня произвели в небожители.

Наблюдая, как Александр собирает вещи, полиглот расставил руки, вытянул здоровую ногу в рваном носке и стал совершать приседания. Собрать, в общем, было нечего. Ящики стола пусты. Осво-



бодив место еще для двух иероглифов, Александр снял с фанеры портрет Селина и Альберта на фоне политической карты мира. Селина он сложил и спрятал во внутренний карман пиджака. Альберта тоже решил не рвать.

Полиглот приседал и поднимался. В ауре солнечной пыли он выглядел как подросток.

— Могучий ты мужик, Толян. — Александр кивнул на иероглифы. — Какой по счету?

— Язычок-то? Дай Бог память...

— За сто перевалил?

— Не-е. Только приближаюсь.

Дверь лифта уже закрывалась, когда мудрец выскочил с какой-то бумажкой... Александр заблокировал лифт ногой.

— Тебе! Я расписался.

— Спасибо...

Повестка извещала, что отсрочка от военной службы кончилась и «гр. Андерс» должен явиться в военкомат по адресу... тогда-то... «При себе иметь военный билет».

По пути вниз Александр последний раз в жизни задержался на крыше гуманитарного корпуса. Видно было аж до Кремля, и его снова поразила смена чувств: все, что «гр. Андерс» только что любил, он ненавидел всей душой...

Этот простор — безвыходный и безоглядный.

Он разорвал повестку, выставил руку за балюстраду и отпустил клочки на ветер.

Милорд клал изнутри и лаял. Потом рвал плечи, стреляя в лицо языком. Сбежал за каким-то комком и стал жевать.

— Что ты там нашел?

Александр вынул из портфеля триста граммов вареной колбасы, ободрал с нее целлофан и дал собаке вместо парижских слипов.

Черное кружево было измочалено так, что ничего, кроме вкуса собачьей слюны, он не почувствовал.

Глядя с недоверием, Милорд гавкнул.

Опомнившись, Александр утер слезы, но кружево собаке не вернул. Чемоданы с бирками *Air France* стояли в спальне. Он откинул крышку верхнего и бросил их туда. И закружил по квартире, собирая инородные вещи. Он укладывал их с бессмысленной аккуратностью. Закрыв, надавил коленом и вынес чемодан в прихожую. Когда открыл второй, в шелковых складках кармана что-то звякнуло.

Ключи.

На колечке и с картонной биркой, размявшейся так, что он с трудом сумел восстановить адрес.

— Сиди тихо, — наказал он борзой и отправился в Москву — на поиски улицы Коминтерна...

Из метро его вынесло под дворцовые своды станции, украшенной еще сталинскими панно с сюжетами на военно-патриотические темы.

Район был рабочий.

Александр скользнул мимо ярко освещенной проходной завода, мимо Доски почета, где ударницам были пририсованы усы и папиросы, и сник в тени стены, защищенной сверху колючей проволокой. Переносной магнитофон хрипел откуда-то из кустов голосом раннего Высоцкого:

Она ж хрипит, она же грязная,  
и глаз подбит, и ноги разные,  
всегда одета, как уборщица...

Темно, но далеко не ночь — самое время нарваться на фингал, любовно выточенный в цехах за этой стеной. . .

*А мне плевать: мне очень хочется!*

Улица Коминтерна была за углом.

Окно на первом этаже упорно не гасло, бугай в майке линялой, пролетарской голубизны, заканчивал клетку для птиц. Плоскогубцами он подвинчивал концы проволоки. При этом то и дело перекуривал или, запрокидываясь, пил из трехлитрового эмалированного бидона.

В беседке посреди двора Александр сидел затемнившись, как для ночного боя: воротник поднят, лацканы пиджака закрывают рубашку, волосы на лоб, голова опущена. Но мусора не отдыхают. К тому же, еще видят, суки, в темноте.

— А ну, встал.

Козырьки фуражек поблескивали.

— Руки из карманов.

Он вынул.

— Дыхни. . .

Во рту было гнусно от перегара возбуждения. Но мусор и носом не повел (в отличие от Александра он был под дозой). Вот такие и вбивали его в землю — в двенадцать лет. Учили «родину любить».

Второй проявил вялый интерес:

— Бухой?

— Да вроде нет. . . Кого высиживаешь?

— Одну тут. . . — и он добавил: — *Товарищ сержант*. Обещалась выйти.

— Как звать, не Любка?

На всякий случай Александр мотнул головой двузначно.

— Если Любка, так она из диспансера только.

— Нет-нет. Другая.

— Смотри, поймаешь на конец.

Они удалились, ухмыляясь и пошлепывая по ладоням набалдашниками дубинок.

Дверь была на площадке слева. Второй ключ подошел. Квартира дохнула по-пролетарски. Закрываясь изнутри, он боялся, что палец соскользнет со спуска.

Третья по счету комната была необитаема.

Дверь еле скрипнула, а ключ он удалил бесшумно.

Пыльно мерцали половицы. Окна были голые, — листва за ними, как вырезанная из жести. В углу столик с трехстворчатым зеркалом. Отражаясь в нем, свет фонаря слепил. Венский стул. Больше мебели не было, если не считать шторы; как в театре, она отгораживала задник комнаты. Оттуда доносился странный звук — словно забыли выключить транзистор.

В коридоре зашлепала тяжесть. Оставив дверь сортира открытой, бугай матерился, отливая с трудом. Ушел он, сорвав бачок, — и Александр поздравил себя с акустической завесой.

Кольца шторы лягнули, сбиваясь.

За ней лежал матрас. Бормотанье шло из-под него. Александр опустился на колени. Под ним открылась вентиляционная дыра, которая уже не бормотала, а выразилась ясно:

— Хули, ребята? Идем на банк.

— У-уу, — загудели голоса. — Ну, Петя, пан или пропал. . .

Щелкнула карта:

— За туза на все. Ложи!

В подполье резались в очко, но судьба банка осталась неизвестной. Потому что из коридора в дверь стукнули:

— Инесса?

Александр замер.

— Ты что ль, Ангел? Кто там? С Лубянки, что ль? Отвечайте инвалиду коммунистического соревнования. Не то сейчас зарублю и отвечать не буду. Слышь, суки? Справка у меня! Затмение системы!..

Сосед ударился об дверь.

Схватив тетрадь, Александр прыгнул к окну. Шпингалеты заехали, но кожи на пальцах он не жалел.

Инвалид ударил топором, но промахнулся и с матом выдернул лезвие из косяка. Со второго раза дверь отлетела.

— Убью-ю... .

Вспыхнувшие окна осветили кусты. Плечом Александр высадил стекло и прыгнул. Он приземлился на клумбу и разогнулся, как пружина.

Топор вонзился в землю как раз за ним.

— Держи ворюгу!

Охваченный горячкой, пролетарский район палил из ружья. Александр, прижимая к животу похищенную тетрадь, пробирался во тьме — полной, пыльной и дурно пахнущей. Это была вонь подвалов его детства — то кислокапустной, то картофельной гнили. На поворотах он касался то занозистых досок, то кирпичных стен с колючими выворотами бетонного раствора. Потом его ударило под колено. Он чиркнул спичкой и удивился. К стене, которая перекрывала ему путь, было приставлено старинное кресло. Ободранное, рваное, но вполне музейное. Могло бы украсить в Зимнем дворце экспозицию, посвященную классическому веку родной литературы. Вольтерьянское. Как оно сюда попало? Из какого разграбленного «дворянского гнезда»?

Александр сел.

Кресло выдержало.

Он вынул коробок и зажег спичку.

Эту тетрадь он уже видел в руках Инес. Она была на спирали, старая и в морщинах. На малиново-красной обложке — здание на бульваре Сен-Мишель, где тетрадь была когда-то куплена. Он открыл и задохнулся. Французский почерк Инес был такой же простодушный. При всей своей непостижимой сложности человек этот был однозначен по-библейски. Да — да, нет — нет... Охваченный невероятным возбуждением, он стал перелистывать находку.

Пальцы обожгло.

Черно стало, как в могиле.

Под напором эмоций он всхлипнул. Прижал тетрадь подбородком к груди, вытянул ноги и расстегнулся с усилием. Разогнавшись, кровь загудела, как телефонный столб. Чувство узнавания свело пальцы. Возник, отнял дыхание и сразу же стал таять нездешний образ.

Александр обнял тетрадь и впервые за время отсутствия Инес провалился в такой глубокий сон, что, когда пришла пора проснуться, не сразу понял — куда же это, к черту, занесло?

*Journal intime* лежал перед ним, как разбитое зеркало.

Между французско-русским словарем под редакцией Ганиной и пишущей машинкой.

Устроился он на кухне. Из-за занавески просматривались подступы к дому. В мгновенную реакцию гигантской военной машины, не досчитавшейся одного призывника, не очень верилось, но бережного Бог бережет: если с дороги вдруг свернет защитного цвета помесь «газика» с БТР, у него будет время если не слить (по крыше, ход предусмотрительно открыт), то выброситься из окна.

С другой стороны, газовая плита за спиной позволяла не отвлекаться на хождения за чаем.

Дневник был пестр и анархичен.

Среди поспешных записей — попытки автобиографического романа, но писалось все это где, как и чем попало — даже карандашом. Там, где стерлось, он обводил по букве, по слову, а затем, заглядывая в словарь, на заедающей машинке перепечатывал страницу за страницей, кусок за куском собирая образ, в который сам не верил: неужели это и была его Дульсинея? Бог знает каким образом зачатая в церебральном холоде глобальных коммунистических страстей большеглазая девочка с незаживающей звездой сигаретного ожога на лбу...

«Как и всегда, собирались второпях, и я успела взять с собой только тетрадь, когда-то брошенную в Москве на полуслове. Других развлечений нет: продолжим...»

Мы в румынском санатории — Он и я. Черный «мерседес» отвозит нас на грязи. Из Бухареста туда же прилетает супруга *Дракулеску*.

На вертолете.

Это дворец в огромном саду. Кроме персонала и врачей (все говорят по-французски, но курят «Кент»), мы были с ним одни — пока не привезли двух индонезийцев. Они говорят только по-английски, меня попросили переводить на приеме. У обоих тропические болезни. Один синий, причем буквально: ладони, губы, лицо. Другой с виду нормальный, но в крови черви. Болезнь отнюдь не символическая, называется *палюдизм*. В знак благодарности они мне показали портрет Сукарно в феске — вырезку из газеты, хранимую в бумажнике. Они очень за своего Сукарно. Почему? Потому что служащим Сукарно (тоже, кстати, друг отца) выдает полтора килограмма риса в месяц.

Когда я наталкиваюсь в саду на эту пару, приходится делать усилие, чтобы не отшатнуться.

Фильм ужасов.

Потолок в комнате такой высокий, что он не чувствует запаха сигареты, выкуренной исподтишка. У него свои развлечения. Он собирает сливы и приносит: «Мой и ешь».

Сливы гниют в мраморном умывальнике.

«Не будешь есть — умрешь».

Румыны проверили: у меня все в порядке.

А есть не могу. Только кофе.

За это мне вкалывают что-то гнусное — по-социалистически толстыми иглами.

Жара, сонливость. Когда я просыпаюсь на закате и вижу перед собой соцреализм в огромной золоченой раме, жить мне не хочется.

Эффект страны, навязанной на лето?

Надеюсь...

Роман? Но кто поверит в героиню, в одну только возможность этой человеческой аномалии? Я первая не верю. Прошлым летом в Крыму мне не давал проходу космический кретин — *любимец их генсека*. Он крал лифчики у персонала, обслуживающего душ Шарко, напляливал на лысину и с гоготом носился под магнолиями — волосатый, как горилла. Однажды отвесил мне советский комплимент: «Инес, ты не серийного производства. Ты — *товар штучный*».

В том и отчаяние, товарищ космонавт.

*Эсперанс* — или имя слишком патетично? — родилась в Париже, но заговорила сначала по-испански. Во время изгнания на Восток приоб-

рела не только польский, но еще и русский. В советской средней школе при посольстве СССР в Польше, которая «за отличные успехи и примерное поведение» наградила ее похвальной грамотой, где в левом углу — Ленин, а в правом — Сталин. Вернувшись во Францию, она не забыла эти языки. На плечах — как клетка с попугаями, у любого другого такая голова взорвалась бы изнутри, но она гордо несла ее вперед. Во время сеанса профессиональной ориентации перед окончанием лица ей намекнули на возможность карьеры в разведке. *Шпионкой?*

От этого варианта судьбы она отказалась с возмущением.

Больше попыток эксплуатации ее талантов никто не предпринял.

Она осталась наедине с этим проклятьем — всех понимать.

Кроме самой себя.

В этих мирах, друг другу противостоящих, она чувствовала себя вполне уверенно — не принадлежа при этом ни тому, ни другому. *Se ne ras beau\**, осторожно говорила она. Ей строго отвечали: «Это — страна будущего». *Douce France, cher pays de mon enfance\*\**, подпевала она граммофону, заведенному ветераном первой мировой, дедом подруги, пригласившей ее на зимние каникулы в *Indre et Loire*, — не забывая при этом, что вокруг страна капитализма, осужденного Историей. Ощущение превосходства переходило в чувство неполноценности — и наоборот. Сверстники произрастали в соответствии с политической картой мира. Каждый — своего цвета.

Продукт посткоминтерновской эпохи, побочное дитя того типа космополитизма для бедных, который назывался «пролетарским интернационализмом», она мучилась завистью к сверстникам, принадлежавшим этим мирам — тому или другому. Кто там ли, здесь ли, но был своим.

Одноязыким. Одноклеточным. . .

*Эсперанс*. Этюд повышенной сложности, сыгранный в сумерках коммунизма. Интегральное исчисление. Чистая абстракция, но с текущей, словно персик. . .

Не дай себя сожрать.

Завтра, кстати, нас везут в Трансильванию.

В замок графа Дракулы.

Один из самых красивых замков, какие я видела. Я преувеличивала восторг, чтобы вызвать у него реакцию:

— Неужели ты хотела бы здесь жить?

— И еще как.

— В качестве Дракулы?

— Жертвы.

Он потемнел:

— Никогда я тебя не понимал. . .

И отвернулся к супружеской паре самодовольных хозяев замка и всей этой страны — прекрасной и несчастной.

С очередным комплиментом. . .»

Извещая, что уже ночь, соседи стучали по трубе.

Александр выходил с собакой.

Под зябким звездным небом за зоной отдыха расстилались до горизонта совхозные поля. Он возвращался не с пустыми руками. То надергивал сахарной свеклы, которую в вареном виде Милорд перека-

\* Мне здесь не нравится (*франц.*).

\*\* Мялая Франция, страна моего детства (*фран.*).

тывал, пятная линолеум, по всей квартире. То тыкву приносил, в ее оранжевой желтизне было нечто древнекитайское, буддийское и даже потустороннее. Созерцая тыкву в свете голой лампочки, он вчуже удивлялся своему спокойствию. Потому что в этой глухоте, звенящей в ушах, ничто не предвещало возвращения Инес. Но чем плотнее сдвигалось зеркало ее жизни, тем увереннее ему становилось: она непременно материализуется. И даже от этого опережающего знания ему становилось тошно, как от перекура: будто это не кремлевские хозяева держали натянутую паутину того, что громоздко именуется в газетах «международным коммунистическим движением», — нет, это было бы элементарно. Главный паук был именно он — Александр. Угнездившийся в эпицентре в ожидании неминуемой жертвы. Потому что за парой огромных глаз и на-все-наплевательским видом таилось самое неуверенное в этом мире существо.

Он не удивился, но непроизвольно замер на вдохе, когда в поле зрения стала влезать бумажка.

Однажды утром. В щель входной двери.

Он поймал ее на лету.

Это был вызов. Не в военкомат, не в КГБ — на Центральный телеграф СССР. В двенадцать ночи. Для переговоров с тем, что рука служащей обозначила как *Фобос*.

Он вышел на свет.

Именно *Фобос*. Спутник чего-то очень-очень дальнего, как помнится из астрономии. . .

Планеты *Ужас*?

Воротник пиджачка был поднят. Он опускал глаза, когда они проходили, но на третий раз не выдержал и улыбнулся.

— Кого ожидаем?

— Разговора.

— А вызов есть?

Он вынул:

— *Фобос* — где это может быть?

— Чего? . . — Вернув бумажку, милиционер пожал плечами. — На Грецию похоже, нет?

Он кивнул:

— На Древнюю. На мифы о богах и героях.

Патруль отошел, оглядываясь на Александра, подпирающего барьер среди проституток, грузин, фарцы. То и дело налетал озноб. Сжимаемая облупленное железо, он смотрел на башенный вход с аббревиатурой «СССР» над выпирающим синим глобусом.

Под ними светились часы.

— *Фобос*? — Телефонистка открыла толстый справочник. — Нет такого. Наверное, ошибка. Есть *Форос*.

— Где это?

— Крым.

Он сел и свесил руки, успокоившись так, что до него не сразу дошло, что этот *Форос* уже в седьмой кабине.

*Говорите*, велели ему в ухо.

Он разорвал губы:

— Инес?

Треск, разряды. Как из космоса, донесся голос: «Мы возвращаемся». — «Куда?» — «Еще не знаю, но через Москву. Ты будешь?» — «Если не заберут». — «Что?» — «Буду». — «У тебя ничего не изменилось?» — «Нет». — «Я сделала все, что могла, и даже больше. Ты слышишь?» —

«Еле-еле». — «Здесь жуткая гроза». — «Понимаю, — кивнул он. — Зевс...» — «Что?» — «Зевс-громовержец!» — Она не засмеялась: «Нет. Уже нет... Но сначала он был в ярости. В лицо им бросил...» — «Что?» — «Досье. Ему к приезду приготовили». — «Кто?» — «Представляешь? На тебя, на нас...» — «Я понимаю. Кто?»

Линия прервалась.

Он вывалился с трубкой и ждал, пока телефонистка не закатила мутные глаза.

Тротуар лоснился.

Моросило.

Он спустился.

Огибая встречных, заспешил вниз, к метро «Проспект Маркса».

Вдруг он запнулся.

В пальцах дрожала ментоловая сигарета. *Salem* — стрельнул у сердобольной «ласточки» в лаковых сапогах-чулках.

*Отравили?*

Хорошо — соседи на работе. Борзая так атаковала дверь, что он сначала открыл, потом опомнился...

Штатский.

Даже при галстукке — из тех, что на резинке. При этом с локтя снимается корзина:

— Велено доставить.

Хрустнув Александру под босые ноги, курьер сделал вид, что не заметил бестактного рубля...

Корзина была тяжелая.

Борзая распласталась на кухне, бия хвостом. Лукошко, но плетенное из лакированных прутьев и под безукоризненной салфеткой с бахромой. Под салфеткой — натюрморт из сталинской «Книги о вкусной и здоровой пище». Яблоки в папиросной бумаге. Он развинтил эти заботливые жгутики, понюхал сам и дал Милорду. Милорд схватил яблоко и, многоступенчато поднявшись, удалился. Грозди «дамских пальчиков» обвивали бутылку под неожиданным названием *Черный доктор*.

Под ней — конвертик.

«Обосрешься...» — задумчиво ответил он Милорду, вбежавшему за следующим яблоком. Перед ним был лист бумаги с изображением в миниатюре знакомой гостиницы без вывески:

*Я ОСТАЮСЬ.*

*Перед отъездом тебя*

*хотят обнять. «Как сына».*

*Осторожно...*

Эдем в лукошке.

От ароматов затошнило. Голова кружилась. *Неужели на самом деле? Ядом замедленного действия?* Он отыскал хозяйский градусник, вернулся и обнял себя, — исхудалость трицепсов вызвала жалость. Температура была нормальной, но, стряхивая ртуть, он еле удержался за сиденье. Градусник разбился об стену, выпустив целую армию блистающих шариков, которые он вкатывал по одному в конвертик, — пока не взмок. Он отодвинул все — словарь, машинку, тетрадь с бульвара Сен-Мишель. Откупорил бутылку и до краев наполнил граненый свой стакан вином, не только черным, но и с каким-то декадентским отливом.

— Давай. Лечи...

Края бегущих облаков пылали, когда он открыл глаза и увидел, как слева в поле зрения въезжает черная машина. Отсвечивая на закате хромом, плыла по этим рытвинам, как на воздушной подушке. Идущие с работы люди столбенели, поворачиваясь. На заднем окне отдернули занавеску. Из-за стекла смеялась африканка, смуглая и молодая, за ней просматривался кто-то седовласый — будто в нимбе.

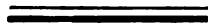
Александр вскочил.

Отблевавшись, он бросил полотенце на пол и спросил у смертельно бледного пацана, того, в зеркале:

— Куда это ты попал?

Борзая уже скулила под дверью — на голоса, говорящие не по-русски.

*(Окончание следует)*





---

---

## Александр Кушнер

### Я СКАЖУ ТЕБЕ, ГДЕ ХОРОШО . . .

\* \* \*

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Амстердаме.  
Цеховые дома его узкие волноподобны.  
Я усилие сделал, чтобы вспомнить их: над головами  
Их лепные коньки белогривые море способны  
Заменить, на картине кипящее в буковой раме  
Золоченой, — видения наши горьки и подробны.

Вспомнить что-нибудь трудно, труднее всего — по желанью.  
Упирается память: ей, видишь ли, проще в засаде  
Поджидать нас, пугая то Вишерой вдруг, то Любанью,—  
Почему ее вспомнил сейчас, объясни, Бога ради!  
Дует ветер с Невы, тополя прижимаются к зданью.  
Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде.

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо, где нас нету.  
В Амстердаме поэтому лучше всего: у канала  
Мы не бродим, не топчемся, не покупаем газету,  
Не стремимся узнать из нее: что бы нас доконало?  
Я стоял над водой — все равно что заглядывал в Лету.  
В Амстердаме нас нет, — там и горе бы нас не достало.

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо, где нам плохо.  
Хорошо, где, к тебе поднимаясь навстречу с дивана,  
Произносят такие слова, как «страна» и «эпоха», —  
И не стыдно тому, кто их вслух произносит, не странно,  
И, всерьез отвечая на них, не боишься подвоха,  
И болят они, как нанесенная в юности рана.

\* \* \*

Свет погасил я — и чудо, и чудо,  
Что за когтистый, ползучий узор  
Вдруг проявился на ткани — откуда? —  
Выцветших, дачных, застиранных штор?

О, шевелящийся! Словно в чертоге  
Я оказался волшебном, ларце.  
Это луны и листья-недотроги  
Фокусы. Крабы ползут, осьминоги,  
Лилии. Комната в черном чепце.

Радуйся! Сам себе сумрачный праздник  
Мрачный устроил — так бейся впотьмах  
С искренним призраком жизнебоязни,  
Не перешедшей еще в жизнестрах.

Вспомню приятеля: ходит понурый.  
Давят ли комнаты, жизнь ли узка?  
Рукописи ли томят, корректуры?  
Он застывает подобьем скульптуры,  
Вжившейся в образ Унынья. Тоска

И Меланхолия. Лиственной снастью  
Не соблазнится, сетями луны.  
И призывать его к этому счастью  
Не эгоизм ли с моей стороны?

\* \* \*

Под слово «любовь» подставляют слова  
Любые в стихах — и не знают заминок.  
Понятно, когда это боль, поединок.  
Но также: не знать почему-то ботинок,  
И даже: любить — это значит «дрова».

Скажите, зачем их рубить до утра?  
Я помню, как эти стихи на ура  
У нас проходили, семнадцатилетних,  
В десятом, простые, как стук топора.  
Сбегать так приятно с уроков последних!

Любить так прекрасно, так весело — жить!  
Я тоже могу кое-что предложить:  
Любить — это с ниточкой, вьющейся рядом,  
Покрепче связав узелком свою нить,  
Ни бытом не дать запугать, ни халатом  
Себя, ни размолвками, — как им не быть?  
А кто их боится, живет суррогатом  
Любви, — пусть идет он колоть и рубить.

\* \* \*

Ужас, ужас какой! Что прочел я, что вычитал...  
Запирали Володю на кухне, и в дверь  
Он царапался, плакал, — страшна ты, за вычетом  
Двух-трех дней, легендарная жизнь. Что он — зверь,  
Что он — пес или кот, чтобы с ним так решительно  
Поступали, в постель торопливо ложась?  
О, не только предметно, но и умозрительно  
Невозможно представить тройную их связь, —  
И не надо. Чужое несчастье обставлено  
Как борьба с износившейся формой любви,  
Но борцы изумленно глядят и затравленно  
На свои достижения. Нет, пусть соловьи,  
И луна, и дыхание — как его, робкое? —  
Расшатали стихи, раскачали строфу, —  
Вот и ломится в дверь он и плачет за скобкою  
Горько так, что вот-вот вместе с ним зареву.

\* \* \*

Присвоила мебель чужую и тут же ее продала;  
 очки не носила, хотя и была близорука;  
 любила мужчин молодых, к сыну равнодушна была  
 по той же причине, — как хищница их выбирала, как щука;  
 платить забывала молочнице; бедную дочь  
 насильно кормила — вы лжете? — овсяною кашей;  
 ей нравились женщины: русская Сафо, точь-в-точь,  
 но с дикой какой-то хлыстовскою страстностью нашей;  
 и под ноги Саре Бернар, разлетевшись, бросала цветы;  
 смешно одевалась, — прошу вас, достаточно! — ногти  
 запомнились грязные; преувеличив нужды  
 размеры, писала на самой трагической ноте  
 высокой — о бедности; в это же время Сергей,  
 обманутый ею, успел заработать немало,  
 страдалец, на тайной и страшной работе своей;  
 ведро почему-то помойное в центре стояло  
 большой ее комнаты; сжальтесь, оставьте ее,  
 любите чуть меньше, чуть сдержанней; дверь да веревка;  
 но, чуткие, лезут руками в чужое белье,  
 дотошные; что она — ведьма, колдунья, воровка,  
 у вас, что ли, крала? Грязнуля; была влюблена  
 в Волконского, князю же нравились мальчишки; Борей  
 хотела бы сына назвать — не решилась, — вот слава! Страшна,  
 мрачна, горяча и пылает, как шапка на воре.

\* \* \*

Человек узнаёт о себе, что маньяк он и вор.  
 Что в автографе гения он преднамеренно строчку  
 Исказил, — как он жить будет с этих, подумаешь, пор?  
 А никак! То есть так, как и прежде, с грехом в одиночку.

Потому что в эпоху разомкнутых связей и скреп  
 Никому ничего объяснить не дано — и не надо.  
 Кислой правды на завтра черствеет подмоченный хлеб.  
 Если правду сказать, и строка та была сыровата.

И не трогал ее, а дотронулся только слегка.  
 Совершенного вида стесняется несовершенный.  
 Спи, не плачь. Ты старик. Ну стихи, ну строфа, ну строка.  
 Твой поступок — пустяк в равнодушной, как старость, Вселенной.

Ай! Не слышат. Ой-ой! Ни одна не сойдет, не кричи,  
 С ненавистной орбиты ревушая зверем громада,  
 Серный газ волоча. О, возить бы на ней кирпичи,  
 Как на грузовике, что несется в пыли мимо сада.

— Ах, вы вот как, вы так? Обещая полнейшую тьму,  
 Беспросветную ночь, безразличную мглу, переплавку...  
 Он сказал бы, зачем это сделал, певцу одному,  
 Если б очную им вдруг устроили звездную ставку!

\* \* \*

Из гостей придя домой,  
Продолжаешь улыбаться...  
Час полночный, золотой,  
Жаль с ним, желтым, расставаться.

Ламп ли за полночь накал  
Ярче, ум ли веселее?  
Иль последний был бокал  
Четырех других полнее?

Почитать бы что-нибудь!  
Да пожить своею жизнью,  
Как бы преданной чуть-чуть.  
Поиграть своею мыслью.

Отпустить, в один прыжок  
Вновь настичь ее, подбросить,  
Дорогую, на зубок  
Взять, поерзать, поелозить.

Потрепать... С мгновенной, с ней  
Хорошо четырехстопный  
Управляется хорей,  
Ничего, что допотопный.

Я сейчас тебе скажу  
Что-то важное, вниманье!  
Здравствуй, выход за межу  
Золотого мирозданья!

Безупречное Ничто  
Дышит радостью слепую,  
Словно выигрыш в лото,  
Не заслуженный тобою.



# Гайто Газданов

## ОСВОБОЖДЕНИЕ

### Рассказ

*«Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort: Vouloir et Pouvoir... Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit»...*

H. de Balzac, *«La peau de chagrin»*.\*

Алексей Степанович Семенов, инженер и состоятельнейший человек, провел полубесконечную, как всегда, ночь, окончательно проснулся около одиннадцати часов утра и опять с отвращением подумал, что эти минуты пробуждения — самые скверные в его жизни. Голова была тяжелая, во рту было горько, нос был заложен, и Алексей Степанович чувствовал, как меняется вкус воздуха, когда он его глотал и потом, когда он выдыхал его уже отравленным. Глаза болели и чесались, дышать было трудно, мучила изжога, которая началась много месяцев тому назад и лишь изредка прекращалась на несколько часов.

Он отбросил одеяло, спустил с кровати жирные, белые ноги, с надувшимися кое-где жилами и холодными ступнями желтоватого цвета, посмотрел на волосатый живот, нависший над ляжками, провел руками по бокам головы, где над ушами рос ещё легкий пушок, встал, нащупал туфли и тотчас почувствовал знакомую тупую боль в паху. Сделав несколько движений, он стал отдуваться, как человек, выходящий из воды, потом направился в ванную.

В квартире, как всегда, было тихо. Все было чисто, все блестело: паркет, лакированный столик в передней, зеркала, вделанные в стену; ванна была такая же сверкающая, как все остальное. В передней стояли большие, белые цветы, название которых Алексей Степанович не знал; он не любил и не различал цветов. «Излишнее усердие», — пробормотал он, проходя.

Затем начался его долгий туалет. Сначала он чистил зубы двумя щетками — одна резиновая, другая обыкновенная; потом брился, бесконечно долго мыля щеки и морщась от прикосновения бритвы к лицу; потом, наконец, принимал ванну, после которой всякий раз начинал мерзнуть и дрожать; мохнатый халат, в который он заворачивался, быстро становился влажным и неприятно холодным. Алексей Степанович снимал его и надевал другой. Потом в халате он направился в гостиную, сел в кресло, болезненно вздохнув, протянул руку к небольшому столику и позвонил. Тотчас же вошла горничная, которая принесла кофе. Он отпил глоток и спросил:

— Какая сегодня погода?

— К сожалению, опять идет дождь, местье.

— Очень приятно, — сказал Алексей Степанович.

---

\* «Два глагола вмещают в себе все пути, ведущие к смерти: хотеть и мочь... Хотеть испепеляет нас, мочь разрушает...»

О. де Бальзак. «Шагреновая кожа» (франц.)

Это значило, что сегодня, как вчера и позавчера, он снова должен был мокнуть во время своей ежедневной прогулки, которую ему рекомендовал доктор. «Необходимо, Алексей Степанович, — говорил доктор. — А то ведь, знаете, в нашем с вами возрасте... со здоровьем шутить не следует... наше тело требует... знаете, известные, так сказать, физические требования...» Алексею Степановичу было неприятно, что доктор говорил о нашем возрасте: он был моложе Алексея Степановича на десять лет и отличался завидным здоровьем. Все, что говорил доктор, Алексей Степанович давно знал наизусть. Он только не мог понять, какая может быть польза от того, что он пройдет пешком, хлюпая по жидкой, холодной грязи, полчаса каждое утро; но он послушно это делал и не без некоторого злорадства замечал, что никаких улучшений от этого не происходит.

Но самым обидным было то, что Алексей Степанович ничем, в сущности, болен не был. Нескольким докторов, точно сговорившись, объяснили ему, что никакой болезни в точном смысле этого слова у него нет, но что жизненные функции его организма недостаточно интенсивны; это объясняется, во-первых, ожирением, утомляющим сердце, во-вторых, возрастом и общей усталостью. Но худеть тоже было нельзя, потому что средство для худения тоже вызывало ослабление сердечной деятельности. Была отмечена еще небезупречная деятельность печени и замедленная циркуляция крови, но все это в данный момент не представляло ни малейшей опасности для жизни, так же, как не представляли, например, опасности для жизни мучительнейший ишиас или ревматические боли, иногда совершенно невыносимые. «Но, несомненно, вам нужно беречься». Беречься значило рано ложиться спать, не пить, не есть слишком много, иначе могла начаться какая-нибудь болезнь в собственном смысле слова, то есть процесс, который приводит сперва к ослаблению организма, потом к смерти. Смерти Алексей Степанович совершенно не боялся, но перспектива медленного умирания и предсмертных долгих страданий ужасала его. Со временем ему становилось, однако, все легче и легче беречься: пить ему было противно, аппетита почти не было и ранним вечером его уже начинало клонить ко сну, хотя он знал, что если он ляжет, поддавшись этому обманчивому желанию, то спать все равно не будет.

Одевшись, он вышел на улицу. Пал мелкий зимний дождь с ветрами, на авеню Булонского леса было очень мало прохожих. Мимо Алексея Степановича прошли быстрым и гибким шагом два одинаково одетых широкоплечих человека, судя по всему, атлеты, оба без шапок. Он посмотрел им вслед, сделал несколько быстрых шагов, но тотчас же опять началась боль в паху и в пояснице, и он остановился и пошел медленно. Холодные брызги били ему в лицо. Подняв воротник и натянув шляпу, он дошел до входа в Булонский лес, затем повернул обратно и стал подниматься к дому. Сквозь очки, забрызганные дождем, он смутно увидел маленький синий автомобиль своего секретаря, подъехавший к дому за несколько минут до него.

Секретарь был сын его старого товарища, которого Алексей Степанович помнил еще мальчиком в коротких штанах и который теперь жил в Париже и занимался только вопросом о том, где бы достать денег на вино. За последние десять лет Алексей Степанович видел своего друга трезвым только один раз, на похоронах его дочери; да и то, непосредственно после похорон, он, отделившись от всех, зашел в кафе, и, когда через десять минут догнал Алексея Степановича, ведшего под руку его жену, он был опять пьян, как всегда. Все эти годы он жил, ничего не замечая и не понимая, в непрекращающемся пьяном дыму; он рассказывал всегда, независимо от того, слушали его или нет, о себе почему-то в третьем лице бесконечные истории, становившиеся

в последнее время все менее и менее содержательными — по мере того как тускнел его рассудок — и состоявшие больше из междометий.

— Алеша, ты помнишь? .. Едет полковник Сусликов (его фамилия была Сусликов) на коне ... Не было другого такого коня, Алеша! Едет полковник Сусликов. Да ... Не было такого коня! Ребята! .. Ты понимаешь, Алеша? Да ведь если все рассказать, Алеша, ты же знаешь ... Ты меня знаешь, Алеша ...

Но из всего его рассказа, который мог длиться целый час, было ясно только то, что Сусликов в свое время был полковником и ездил на лошади,— и больше ничего. Его жена, Марья Матвеевна, которая много лет в трудные и голодные времена была любовницей Алексея Степановича, и ее сын старались держаться несколько в стороне от него, давно потеряв надежду его исправить, — и он оставался один и все продолжал самому себе свой пьяный и безумный рассказ. Он провел годы на войне, был храбрым и хорошим офицером, но, попав за границу, сразу стал пить от отчаяния; потом бросал, начинал работать, но затем снова запивал. Они жили в ужасающей, неправдоподобной бедности, и Алексей Степанович не мог им помочь, потому что сам существовал с величайшим трудом до тех пор, пока однажды не разбогател, как в сказке или во сне. Но он не любил говорить о происхождении своего богатства, хотя в нем не было ничего нечестного. Он изобрел автоматическое приспособление для особой системы вагонных уборных, имевшее необыкновенный успех и принесшее ему миллионы. В первое время он никак не мог привыкнуть к богатству, раздал много денег, помог десяткам людей, которые потом за это называли его же идиотом, о чем он узнал совершенно достоверно от других, которые еще не успели получить от него деньги и всячески старались очернить тех, кому это лучше и раньше удалось, чем им. Тогда же семья Сусликовых стала жить очень хорошо, мальчика отдали в лучший лицей; но Алексею Степановичу постепенно становилось все неприятнее бывать в их доме, потому что, несмотря на близкие отношения с Марьей Матвеевной, он чувствовал, как все изменилось; и причина этих изменений, которых не должно было бы происходить, заключалась в его богатстве. Эти изменения были так неожиданны и печальны, что иногда Алексей Степанович думал, что, может быть, стоило бы отказаться от богатства и не видеть этого. Он вспоминал, как однажды, всего за несколько месяцев до своего внезапного обогащения, он вошел в квартиру Сусликовых и увидел, что Марья Матвеевна тряпкой вытирала пятно на полу от разлитого стакана чая и, сделав неверное движение, упала — неловко, грузно и тяжело. Он бросился ее поднимать, она села на пол и заплакала. Он стоял на коленях рядом с ней в неудобной промежуточной позе человека, который должен кого-то поднять и не поднимает.

— Алеша,— сказала она,— за что все эти мучения? За какое преступление?

У него были слезы в глазах, он молчал и гладил ее руку и смотрел на загрубевшую, покрасневшую от холодной воды кожу ее пальцев. Из соседней комнаты слышалось непрекращающееся бормотанье ее мужа; можно было только разобрать отдельные слова и короткие фразы: «Нет, ваше превосходительство, простите ... Я не позволю ... уважаю ... ребята! ..»

— В доме хлеба нет — он мальчика с утра за вином в кредит посылает, — сказала, всхлипывая, Марья Матвеевна.

У Алексея Степановича было шесть франков, он отдал их ей, пожертвовав папиросами, и через полчаса, когда они пили чай, она сказала, уже успокоившись:

— Ну что же, вот ты разбогатеешь, Алеша, тогда мы заживем. Ты нас не забудешь?

Но уже через несколько месяцев Марью Матвеевну нельзя было узнать. Изменилось выражение ее глаз, ставшее тревожно-ласковым, побелела кожа на руках, чудом исчезли морщины с лица, и еще позже Алексей Степанович совершенно случайно встретил ее на улице в обществе какого-то сомнительного субъекта средних лет, который держал ее за талию.

— Что это значит? — спросил потом Алексей Степанович. Она посмотрела на него долгим взглядом и ответила:

— Это значит, милый друг Алеша, что мне тридцать девять лет и что я хочу жить. Теперь ты понимаешь, что это значит?

— Считаешь ли ты, что это хорошо?

— Je m'en f... — сказала она по-французски. — Что у меня есть? .. Пьяный сумасшедший и ты, которому я больше не нужна: ты приходишь раз в месяц. И есть деньги, твои деньги. И кто мне имеет право что-либо запретить? Ты знаешь, что я заплатила достаточно дорого за те удовольствия, которые могу теперь получить.

— Тебе виднее, конечно, — сказал Алексей Степанович, — я тебя не обвиняю, я действительно не имею права. Прости меня, пожалуйста.

Они сидели в ее квартире, тикали часы, у подножья которых лежал черный мраморный леопард, — и на деньги, которые, наверное, были заплачены за эти часы, в прежнее время семья могла бы жить два месяца. Алексей Степанович вздохнул, поцеловал руку Марьи Матвеевны и ушел.

Сын Марьи Матвеевны кончил лицей и учился в университете; он приходил иногда в гости к Алексею Степановичу, и тот удивлялся, сколько этот молодой человек хрупкого вида может съесть. Потом он решил, что Анатолий должен что-нибудь делать, помимо своих университетских занятий, и назначил его своим секретарем; но все это было только предлогом, и главное, чего хотел Алексей Степанович, было видеть Анатолия как можно чаще. Анатолий несколько раз в неделю приезжал на автомобиле, который, как решил Алексей Степанович, ему полагался по служебным обязанностям, и рассказывал о письмах, которые получались на разных языках и в которых почти всегда заключалась просьба о помощи.

Анатолий был единственным человеком, которого Алексей Степанович еще любил. Было неизвестно, чей он сын — Сусликова или Алексея Степановича. Марья Матвеевна в разные периоды жизни в зависимости от настроения то говорила Алексею Степановичу: «Не забывай, что у тебя есть сын», то напоминала ему: «Помни, что этот ребенок не имеет к тебе никакого отношения». Анатолий родился еще в России, и теперь вспомнить и выяснить это не было никакой возможности. Но даже это было не важно. На Анатолия богатство не подействовало. Он любил книги, библиотеки и музыку и ничем другим не интересовался; был немного наивен, честен и прям. И только с Анатолием Алексей Степанович еще шутил и чувствовал себя легко, избавляясь на несколько часов от того чувства непобедимого отвращения ко всему, которым была заполнена его жизнь и о чем ни он, ни доктора не говорили ни слова, хотя именно этот вопрос был самым важным и самым страшным.

Алексей Степанович поговорил с Анатолием полчаса, предложив ему остаться завтракать, шутил, и, казалось, дурное настроение, владевшее им с утра, несколько рассеялось. Но оно снова усилилось после завтрака, когда к Алексею Степановичу пришел инженер Уральский со своей очередной женой.

Инженер Уральский был человек лет сорока, пухлый и жизнерадостный, обжора и веселый собеседник. Когда он переставал шутить и говорил серьезно, становилось заметно, что он довольно образован,



очень понятлив и неглуп. Он, однако, отличался излишним любвеобилием, все женился и разводился — вот уже в четвертый раз за четыре года, — и во всех его женах было нечто странное и роднившее их друг с другом, несмотря на разницу лет, цвета волос, роста и размеров: какой-то привкус дешевого и непременно иностранного полусвета, — так что со стороны было впечатление, что это все одна и та же женщина, обладающая большим, хотя и не безграничным даром превращения. Но самым удивительным и печальным было другое: именно то, что в присутствии любимой женщины Уральский становился совершенным идиотом и добиться от него положительного ответа на какой-нибудь деловой вопрос было невозможно. Он мычал, глупо улыбался, смотрел на любимую женщину, он терял все свое остроумие и всю сообразительность, и на него было жалко и противно смотреть.

Он привел свою новую жену, чтобы познакомить ее с Алексеем Степановичем. У нее был довольно широкий зад, большие черные глаза, чудовищно лишенные какого бы то ни было человеческого выражения, очень красные губы и медно-рыжие волосы. Алексей Степанович все старался вспомнить, где он уже видел такие глаза, сделал усилие — и вспомнил, что это было в Берлинском зоологическом саду перед решеткой той нелепой разновидности антилопы, которая называется «гну».

Разговор не клеился, жена Уральского, к тому же, не знала по-русски, и Алексей Степанович должен был пользоваться французским языком, который он ненавидел за то, что ему приходилось напрягать свое внимание и случалось помимо желания говорить вещи, которых он вовсе не думал и которые не могли бы быть сказаны, если бы тот же разговор велся по-русски. Когда Уральский уходил, Алексей Степанович не сдержался и спросил:

— И откуда вы их таких выкапываете?

За последнее время он привык к тому, что может говорить с людьми откровенно, и то, чего раньше он никогда не сказал бы, теперь выходило просто и естественно; теперь на него уже не могли обидеться, потому что — Алексей Степанович это прекрасно знал — это было невыгодно. Как бы резко он ни говорил, его собеседники превращали все в шутку; и это было первое наблюдение, заставившее его задуматься над тем, не ошибался ли он всю жизнь, полагая, что известные вещи хороши, а другие плохи, приятны или неприятны, оскорбительны или не оскорбительны.

Он раскрыл газету, прочел несколько строк и отложил ее в сторону, продолжая почти невольно думать все над теми же вопросами, которые пришли ему в голову несколько лет назад и с тех пор не давали покоя. Когда он был беден, не было времени думать об отвлеченных вещах: надо было доставать деньги, ходить, просить, сидеть часами, ожидая людей, от которых зависел очередной заработок в несколько сот франков, — и на это уходило все время и вся энергия. Но потом, когда это прекратилось, и когда Алексей Степанович после месяца сумбурной жизни, в которой с невиданным до тех пор разнообразием сменялись впечатления, ощущения, люди, дела, — впервые остался один в своей новой квартире, и когда ему решительно нечего, казалось, было желать, — он ощутил тоску и пустоту в душе; и с этого времени она уже его не покидала, так же, как многочисленные болезни, которые, в сущности, были и раньше, но к которым он за недостатком времени и денег относился невнимательно. Теперь каждое его ощущение приобрело явную ценность: и насколько раньше было неважно, что Алексей Степанович Семенов, этот полный и плохо одетый человек, живущий в дешевой комнате, за которую, вдобавок, он неаккуратно платил, страдает от ревматизма, — настолько теперь это было существенно и значительно; и каждая боль обслуживалась доктором, массажистом и

владельцем аптеки, продававшим Алексею Степановичу множество дорогих и бесполезных лекарств. Раньше самому Алексею Степановичу было не особенно интересно, что и как он думает; теперь, когда у него оказалось много свободного времени, эти досуги заполнились постоянным обдумыванием многих вещей, точно впервые представших пред ним.

Он посмотрел на портрет, висевший на стене: это был портрет дочери Сусликова, умершей несколько лет тому назад. Ее Алексей Степанович знал и помнил все двенадцать лет ее жизни, помнил ее соской во рту, потом маленькой девочкой в белом платье и потом в Париже, когда она возвращалась из школы с пальцами, запачканными чернилами, — как возвращались в свое время ее мать и отец и сам Алексей Степанович. Потом была длительная болезнь, и Алексей Степанович помнил это бедное худое тело на простынях кровати, которое переворачивали и шупали доктора, и ужасные ее глаза. Когда он подходил к ней, она всегда протягивала ему руки трогательным и доверчивым детским движением, которое каждый раз вызывало у него слезы. За время ее долгой болезни все настолько привыкли к ней, что уже почти не обращали внимания на ее стоны и тихий плач; изредка мать ей говорила быстрым и равнодушным голосом нежные слова, не вязавшиеся с этими привычными и небрежными интонациями. И только Алексей Степанович, любивший ее больше всех, был неизменно внимателен к малейшему ее движению, которое отдавалось болью во всем ее теле. И затем, уже в последние дни болезни, ее глаза приняли тот свинцовый, непрозрачный оттенок, который Алексей Степанович знал очень хорошо и в значении которого нельзя было ошибиться. В бессильном и смертельном отчаянии, глядя в эти тускнеющие глаза, Алексей Степанович думал, что отдал бы все немногие радости своей жизни и саму жизнь за то, чтобы ее спасти; но эта его готовность была так же бесполезна, как все остальное. И вскоре наступил день, когда глаза закрыли, положив на них монеты, — и худенькое тело после нескольких часов мучительной агонии стало неподвижным. Алексею Степановичу казалось тогда, что и он, в сущности, умер для всего; и так нелепо, чудовищно и неподвижно глядели на него все привычные предметы — стол, кровать, кресло, — потерявшие свой прежний смысл, как все существующее. Алексей Степанович так никогда и не оправился от этого. После того, как он увидел эту самую страшную вещь, появление которой уничтожало все и делало бессмысленным и бессодержательным все лучшее, что он знал в жизни, он понял — не умом, а чем-то другим, бесконечно более верным, — страшную и непреодолимую истину, о которой нельзя было рассказать и которая погружала в непрекращающуюся и смертельную печаль весь этот напрасно существующий мир. И в этом Алексею Степановичу не могло уже помочь ничто, и всеильное его богатство здесь оказывалось таким же несостоятельным и ненужным, как все остальное.

И у него не осталось никаких желаний. От еды его тошнило, читать было скучно, играть в карты — неинтересно, любить было некого; и, несмотря на то, что от него косвенно зависела судьба десятков людей, никто из них не был заинтересован в его личной жизни. Ему было даже не с кем говорить, и он все больше времени проводил в кресле, наедине со своими безотрадными ощущениями. Он поехал однажды к Марье Матвеевне, с которой прежде, много лет тому назад, ему было так легко и хорошо: она понимала его с полуслова и вместе они занимались тем, что она называла лирическими путешествиями. Так они говорили обо всем: о счастье, о смерти, о богатстве, о славе и о том единственном чувстве, которое обладало неистовым и неисчерпаемым богатством ощущений и мыслей.

Он приехал к ней днем, вошел, тяжело сел в неудобное кресло.

— Ну, милый друг Алеша, рассказывай, — сказала она.

— Ты помнишь, как мы с тобой говорили раньше в России и первые годы в Париже?

— Тысячу лет назад?

— Да, тысячу лет. Тогда было лучше, чем теперь. Расскажи мне, как ты живешь, я ведь тебя почти не вижу.

И Марья Матвеевна начала рассказывать. Алексей Степанович неподвижными глазами смотрел на нее. Он думал, что она станет говорить о том, что прошло, что может еще случиться, как изменилась ее жизнь и как в ней, кажется, нет места для тех вещей, которые раньше были так важны. Но ничего этого она не сказала. Она долго жаловалась Алексею Степановичу на прислугу, на дороговизну и пространно рассказывала, почему она вынуждена была отказаться от услуг русских портних и обратиться к французским.

— И ты понимаешь, что если тебе нужно даже не шикарное, а просто приличное платье *argès-midi\** (я уже не говорю о вечерних туалетах), то помни, что надо обращаться только к французской портнихе.

— Мне не нужно приличного платья, — сказал Алексей Степанович с изумлением, которое относилось отчасти к вопросу о платье, отчасти к мысли о том, что Марья Матвеевна говорит про такие пустяки, в то время как он ожидал совсем другого.

— Нет, ты меня не понимаешь.

— Действительно...

— Дело в том, что у них все какие-то амбиции, все они жены генералов. Какое мне дело, что в конце девятнадцатого века один из ее мужей командовал какой-то там бригадой? Какое отношение этот факт, ну скажи на милость, Алеша, имеет к моему теперешнему платью? Что ты смотришь на меня как баран на новые ворота? — сказала она, внезапно раздражаясь и заметив наконец остановившийся, пристальный взгляд Алексея Степановича.

— Ты стала как-то вульгарнее, — медленно сказал он. — Но дело не в этом, я хочу другое сказать. Вот ты прожила довольно долгую жизнь, у тебя был муж, любовник, дети, у тебя умерла дочь, ты знала целые годы нужды и несчастий. И неужели теперь со мной ты можешь говорить только о портнихах и прислуге? Неужели нет ничего интереснее?

— Нет, — ответила она. — Ты хочешь философствовать. Нет, с меня довольно, мне не двадцать лет.

— Именно поэтому...

— Именно поэтому, — повторила она. — Именно поэтому: осталось мало времени и мало возможностей.

Она поднялась и пошла к двери, потом вернулась и резким, быстрым движением, которое было характерно для нее (Алексей Степанович тотчас узнал его, и это сразу напомнило ему множество нежных и, казалось, забытых вещей), положила ему руки на плечи и села на его колени; у него сразу заняли ноги от ее тяжелого тела. Она ничего не сказала и только смотрела с минуту в его глаза; и он понял в этом немного испуганном и сожалительном взгляде больше того, что она могла бы сказать. Он понял, что в ее жизни все было почти так же безнадежно, как и у него, — с той разницей, что она еще хотела жить и ценила некоторые вещи, которые у него вызывали только грусть и отвращение, и что вопрос о портнихах и прислуге должен был ее интересовать, так как мешал ей думать о том, о чем не следовало думать, чтобы не плакать и не огорчаться. Но этот ее взгляд вернул только на то время, в течение которого он продолжался, возможность одинакового понимания вещей, сделал ее на эту минуту спутницей

\* Здесь: На каждый день (франц.).

Алексея Степановича в его печальном и последнем путешествии. Но потом она тяжело и неловко соскользнула с его колен; ее юбка задралась вверх, обнажив ее полные ноги, одного вида которых в прежне время было достаточно, чтобы Алексей Степанович не мог заснуть несколько часов, и на которые теперь он смотрел так же, как смотрел бы на всякий другой предмет: с примесью, пожалуй, некоторого, почти незаметного, сожаления, в котором при очень пристальном внимании можно было найти следы давно угасшего и бессильного желания. И тотчас же после этого, когда она вышла из комнаты, он почувствовал, что она не вернется к вещам, которые на минуту ожили в ее случайном взгляде и исчезли — на этот раз окончательно. Он вздохнул и уехал.

Он ни во что не верил. Как-то Анатолий, показывая ему русскую газету, недавно начавшую существовать и обреченную на скорое закрытие из-за недостатка средств, говорил о статье против революции, составленной в энергичных и непримиримейших выражениях.

— Вы знаете, дядя, — сказал он, — куда есть такие люди. . .

— Какие?

— Ну, вот, убежденные. . .

— А хочешь, я тебе докажу, что ты дурак?

— Каким образом?

— Вот увидишь.

Это на некоторое время развлекло его, он телефоновал, назначал свидание, разговаривал, и через неделю, когда Анатолий пришел к нему, он показал статью, напечатанную на пишущей машинке. Анатолий прочел ее. Статья была посвящена доказательству того, что вне революции и бунта невозможны ни творчество, ни искусство, ни «гордая и свободная мысль», ни перспектива существования иного, лучшего человечества. Статья была подписана тем же, знакомым Анатолию, именем.

— Как же так? — сказал Анатолий.

— Милый мой Толя, очень просто. Это стоило мне, — он вынул записную книжку, — всего семьсот сорок шесть франков.

— Как вы это сделали?

— Много будешь знать. . .

Алексей Степанович не сказал Анатолию, что он вызвал по телефону автора статьи, условился о свидании; затем за завтраком в ресторане сказал, что собирается издавать левую газету и что в числе постоянных сотрудников он, конечно. . . Сказал, что для первого номера, который должен быть особенно удачным, он собирает материал, заплатил авансом гонорар по повышенной для этого номера расценке и через несколько дней получил статью о революции и творчестве. Он знал, правда, заранее, что все будет так, как он предвидел, но все-таки не думал, что это так легко и недорого. И если до богатства он не очень любил людей вообще и не очень верил им, то теперь они вызывали у него брезгливость и отвращение. Он всегда теоретически знал, что деньги меняют человеческие отношения; но это было отвлеченное знание, из которого можно было делать отвлеченные выводы о ценности этих отношений вообще, но которое он обсуждал, как обсуждал бы какую-либо психологическую проблему. Теперь он имел долгий опыт, против которого нельзя было возразить. Он знал даже, что, если бы Марья Матвеевна не была уверена в том, что он ей никогда не откажет, — она заслужила это долгими самоотверженными годами своей жизни, — она была бы к нему так же мила, как все другие, и не позволила бы себе никаких резких реплик, хотя чувства её не соответствовали бы её поведению. Но она могла себе позволить все: слишком долго она делилась с Алексеем Степановичем скудными своими обедами,

небольшими суммами денег, на которые они иногда ходили вдвоем в дешевый кинематограф, делилась с ним своими немногочисленными радостями и своим телом — всем, что у нее было. Алексей Степанович с удивлением замечал, что он не чувствовал к ней никакой благодарности и что даже её судьба была ему, в сущности, безразлична; но он знал, что он должен быть благодарным и что он должен делать для нее все, — и он делал это с равнодушной и безразличной готовностью.

В сотый раз обдумывая и вспоминая все это, он по привычке искал разрешения этих вопросов, возможность какого-то выхода. Но выхода не было. То, что он знал раньше, давно, — бурная радость физического существования, — исчезло теперь, и все теперешнее ощущение его жизни было непрекращающейся сменой болей, недомоганий и особенного телесного отвращения, которого он не знал до сих пор. Изредка, когда с ним заговаривали о социальных реформах некоторые люди, желавшие получить от него субсидию на издание радикальной газеты, и когда он задумывался над необходимостью этих реформ, он отвечал им, что у него только одна — и очень скверная — жизнь, что до других людей ему нет дела и что если даже бросить все это, то никакие социальные реформы ничему не помогут; что в лучшем случае, если даже будет революция, произойдет перераспределение благ и вчерашние их обладатели попадут в положение пролетариев; но ни пролетарии, ни буржуа не станут от этого лучше или счастливее. И основные изменения будут настолько незначительны, что ради них не стоит решительно ничего предпринимать — и издавать радикальную газету меньше, чем что бы то ни было.

Но после таких разговоров он замечал, что то полубессознательное представление о мире, которое у него было раньше и которое заключало в себе почти неиссякаемое богатство образов, раскрывавшихся по мере того, как он думал о разных вещах, стало теперь скудным и бедным; не осталось ничего, кроме десятка пессимистических убеждений, большого количества физически-болезненных ощущений и чего-то очень похожего на непрекращающуюся душевную изжогу. Напрасно он убеждал себя, что мир не может быть таким, что есть любовь, самопожертвование и непостижимая красота звуков и видений: все это было недоступно его чувству и, следовательно, не существовало.

И тогда он ощущал весь невыносимый ужас своей жизни.

Он пообедал один в громадной столовой, залитой светом, за столом, за которым можно было посадить двадцать человек; он съел несколько кусочков рыбы, отдававшей каким-то терпким и незнакомым ему запахом, три ложки очень горячего супа, немного мяса, из которого противно струился красноватый, бледно-красный сок, и один мандарин. Кофе и чай были ему запрещены.

Он встал из-за стола и пошел в кабинет. Комнаты были огромные, светлые и пустынные. В квартире было тихо. У него мелькнула мысль, что вот он, пожилой человек, которому ничего не нужно, живет один в очень большой квартире, а тысячи людей в том же городе спят на улицах и под мостами. Но мысль была давно знакомая, давно потерявшая свою связь с чувствами и поэтому представлявшая собой чистейшую отвлеченность.

Проходя по комнатам, он щелкал выключателем, туша повсюду электричество; и через некоторое время все погрузилось в неверный свет, доходивший от уличных фонарей. Стояла абсолютная тишина. Алексей Степанович медленно шел обратно, из кабинета в столовую, в смертельной тоске, казавшейся неотделимой от этого бледного освещения, тишины и пустынности.

Он открыл радио и услышал голос, объявлявший, что сейчас начнется передача концерта Тосканини из Орэга. Он сел в кресло, закрыл

глаза и незаметно задремал; и, когда он проснулся, комната была полна звуками, в незабываемом движении которых он тотчас узнал Пасторальную Симфонию, уже приближающуюся к концу. Потом голос ведущего объявил: «Danse macabre».\* Алексей Степанович поморщился и выключил аппарат; но пожалел и снова включил его. Он давно и хорошо знал эту вещь и не любил её. И он стал слушать и с недоверием и изумлением заметил, что в понимании Тосканини она звучала совершенно иначе, открывая ему вещи, которых он никогда не знал и которые теперь, слушая в сотый раз «Danse macabre», понимал и видел впервые. И когда раздались аплодисменты, он поспешно закрыл радио и, глядя прямо перед собой, подумал о бесполезном теперь гении Тосканини, замечательность которого он понимал сейчас так же отвлеченно и безучастно, как все остальное, — и как все остальное, это было бессильно вызвать к движению хоть какую-нибудь часть его души.

Он опять принялся ходить по квартире. Далеко с улицы доносились редкие гудки автомобилей, как с моря. Он подумал об этом, потом с несколько оживившимися глазами позвонил два раза. Через минуту в кабинет постучали.

— Приготовьте автомобиль, — сказал Алексей Степанович, — я еду в Гавр через четверть часа.

Ночь была сухая и холодная. Лежа в бесшумной машине и глядя на неподвижный, как на статуе, картуз шофера над рулем, Алексей Степанович дремал и просыпался.

Лишь на рассвете, проведенный гарсоном гостиницы в очень нагретый номер, он лег в постель с неприятно холодными простынями и, пробуждаясь каждые полчаса, до полудня лежал; потом вышел на набережную, посмотрел с полчаса на холодные и длинные волны, послушал, как шипит их пена и как шум теряется в бесконечной поверхности воды, промерз, вернулся в гостиницу, опять вызвал шофера и к вечеру был снова в Париже, в своей квартире, где все оставалось так же неизменно, светло и совершенно безнадежно. . .

На следующий день утром Анатолий сказал ему, что получил приглашение поехать на три недели в Англию и что если дядя ничего не имеет против этого. . .

— Что же я могу иметь? — сказал Алексей Степанович. — Езжай себе на здоровье. Деньги тебе нужны?

Но Анатолий отказался от денег. В этом он тоже был непохож на других людей, которые обычно не отказывались никогда. Он тратил мало и в противоположность своей матери, которая не могла обходиться без тысячи вещей, назначения которых она даже не знала несколько лет тому назад, но которые теперь ей были совершенно необходимы, — был очень нетребователен.

— На время моего отсутствия я пришлю вам одного товарища, который будет меня замещать, — сказал Анатолий. — Это уже устроено. Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь, расходы я беру на себя и об этом тоже условился.

— Что вы говорите, Анатолий Александрович? — насмешливо и вежливо сказал Алексей Степанович. — Расходы вы изволите брать на себя? Вы считаете, что вы должны прийти мне на помощь для преодоления финансовых трудностей? И давно ты такой богатый? Может быть, ты мне еще займы предложишь?

— Нет, я вас очень прошу. . .

— Иди ты к черту, — сказал Алексей Степанович. — Позволь мне самому заниматься моими делами. А когда ты едешь?

Анатолий уезжал на следующий день, и в то же утро пришел его заместитель. Это был человек двадцати трех-двадцати четырех лет,

\* «Пляски смерти» (франц.).

среднего роста, крепко и хорошо сложенный, и по гибкости и легкости его движений, за которыми с невольной и бессознательной завистью следил Алексей Степанович, было видно, что он очень силен и здоров. И с этой наружностью и белыми, тугими волосами, как у женщины, — синие и голодные глаза и глубокие круги под ними. В первую минуту Алексей Степанович подумал: не наркоман ли он? Но в дальнейшем он отказался от этого предположения — настолько точны и уверенны были все движения молодого человека, все доказывало в нем идеальное физическое равновесие. «Но почему же эти идиотские глаза? — спрашивал себя Алексей Степанович, — точно от неудовлетворенного желания?»

Очень скоро Алексей Степанович убедился, что временный его секретарь довольно образован, неглуп и обладает быстрым пониманием. Но, глядя в эти глаза, он не мог отделаться от впечатления, что имеет дело с человеком, вся жизнь которого есть усилие сдержать себя, — усилие, всякий раз увенчивающееся успехом, как трудный и опасный цирковой номер. И ему случилось несколько раз поймать себя на том, что он испытывает нечто похожее на физическую тревогу, такую же, какую он ощущал, смотря на акробата, едва не срывающегося с трапеции, повисшей в высокой и жуткой пустоте.

Но уже через несколько дней Алексей Степанович знал, чем объясняется этот странный взгляд молодого человека, которого он с первого же дня знакомства стал про себя называть «акробатом». Он пригласил его пообедать, и после обеда Акробат сказал Алексею Степановичу, что единственное и главное несчастье его жизни — это отсутствие денег.

— Денег как средства, конечно.

— Да, денег как средства.

— Для достижения чего?

— Я люблю одну женщину. . .

— Plus ça change, plus ça reste la même chose\*, — сказал, вздохнув, Алексей Степанович.

Акробат сказал, что женщина, которую он любит, не может принадлежать ему, потому что он слишком беден и не имеет права обрекать ее на нищенское существование — в маленькой квартире без прислуги, с кухонными и хозяйственными заботами и так далее. По словам Акробата, эта женщина была необычайно красива и необычайно умна.

— Конечно, конечно, — сказал Алексей Степанович.

— Вы в этом сомневаетесь?

— Нет, я только никогда таких вещей не видел в своей жизни, хотя я допускаю, что они могут быть. Но если я вас правильно понял, то, будь вы богаты, она жила бы с вами?

— Я думаю, что да.

— И вы хотели бы быть богатым?

— Да.

Алексей Степанович промолчал. Он хотел спросить, сколько она требует, но не сказал этого, не желая оскорблять Акробата и подумав, что вдобавок это было бы слишком упрощенно.

— Но она любит вас?

— Я думаю, да.

— И вы уверены, что, если бы у вас были деньги, все было бы хорошо?

— Мне кажется.

— И вы бы не пожалели ни о чем?

— Нет. В этом я абсолютно уверен.

Через три дня, после завтрака, Алексей Степанович сказал Акробату:

\* Все меняется, но все остается по-прежнему (франц.).

— Я хочу оказаться один раз в роли сказочного волшебника.

Синие глаза Акробата напряженно смотрели на него.

— Я рад, что могу это сделать для вас, хотя, по правде говоря, это не очень ценно, потому что мне это не дорого стоит. Но я стар и несчастен. И если мои деньги могут хоть кого-нибудь сделать счастливым, это очень хорошо. Я имею все основания в этом сомневаться,— сказал он,— по-моему, деньги могут уменьшить страдания, но неспособны создать что бы то ни было. У них нет творческой силы. Но это уже философия старого скептика, до которой вам нет дела. Я буду рад, если это мое убеждение — ошибка. Идите.

И когда Акробат, который настолько растерялся, что даже не поблагодарил его, уже наполовину закрыл за собой дверь, он крикнул:

— Позвоните мне завтра, в десять утра, я дам вам все указания.

Он щелчком сбросил со стола коробку спичек, на которой остановился его взгляд, и задумался о том, что богатство не имеет творческой силы, что Акробат неправ; но если предположить на минуту, что чудо возможно, то еще останется по крайней мере одно утешение. Теперь это последнее средство было пушено в ход: и если оно окажется столь же обманчивым и недействительным, как все, тогда останется только... Он пожал плечами, встал и начал ходить по комнате. Бедный Акробат! Он думает, что теперь в этом, может быть, действительно прекрасном теле, в мускулах и груди начнется то ответное движение, которое одно способно его сделать счастливым и которое только теперь может возникнуть и расширяться; и все это способно создать то же богатство, которое было так бессильно в руках Алексея Степановича и которое теперь должно было приобрести магическую власть.

— Но этой власти нет,— с силой сказал вслух Алексей Степанович.

Анатолий вернулся из Лондона, Акробат исчез совершенно бесследно, и жизнь Алексея Степановича продолжала идти так же, как раньше. Прошла зима, воздух стал теплее, лунными ночами Алексей Степанович глядел из окна на ряды зацветающих каштанов. По словам Анатолия, Акробат путешествовал не то в Италии, не то в Южной Америке, дни становились все длиннее. Алексей Степанович продолжал лечиться, жил в таком же одиночестве и перестал даже думать о многих вещах, потому что всякий раз когда перед ним возникал какой-нибудь из все тех же вопросов, которые казались ему самыми важными, то отрицательный ответ был готов даже до обсуждения, точно было заранее и навсегда известно, что ошибки быть не может и что все осуждено и обречено на преждевременное исчезновение с такой же несомненностью, с какой было очевидно, что вот, пройдет еще несколько дней, и от молочно-белой, воздушной реки каштановых цветов ночью не останется ничего.

— Но следующим летом будут, другие,— отвечал себе Алексей Степанович и тотчас повторял: — Другие. Этих же больше не будет.

Потом он переходил в иной план обсуждения и убеждал себя, что ему нет никакого дела до цветущих каштанов и что они ни в малейшей степени не могут повлиять на его жизнь и не могут ничего в ней изменить — ни к лучшему, ни к худшему.

Затем он уехал к морю, днем изнемогал от жары и пил ледяную воду, вечером, опираясь на палку, сходил к пустому и далекому берегу и глядел на волны. «Здесь бы хорошо умереть», — подумал он однажды. Это был вечер, перед наступлением которого прошел короткий и быстрый дождь. Воздух стал свежее, сильнее пахло море. Он возвращался домой. Он медленно дошел до виллы, в которой жил, поглядел на ее открытые, темные окна, вошел, щелкнул выключателем и вдруг, как в далеком сне, увидел синие, неудержимо глядящие глаза Акробата и черное дуло револьвера, направленное на его грудь.



---

---

Геннадий Калашников

## ТОНКИЙ ВОЗДУХ

Попробуй, расскажи  
о том, как нынче жив,  
и в слово подмешай живой немного крови,  
о том, как час назад  
вдруг хлынул листопад. . .  
Смотри, уже октябрь — насупленные брови.  
Приметы октября —  
как будто якоря —  
ржавеют средь листвы, и небо на приколе.  
Крылами машет клен  
и, чем-то удручен,  
листву свою швыряет в чисто поле.  
А там, за окружной, .  
веселой рыжиной  
леса горят и светятся лимонно.  
Чертановский бетон  
открыт со всех сторон  
ветрам извилистым и влаге воспаленной.  
И здесь моя родня —  
речушка Городня,  
что теплится едва в овраге под горою,  
железо, хлам, мазут,  
но в ней нашли приют  
и утка серая, и селезень с зеленой головою.  
Пойдем скорей, мой сын,  
их хлебом угостим,  
мы побредем с тобой вдоль тихого течения,  
по склону вод пойдем  
и, может быть, пойдем  
смысл осени, ее негромкие реченья.  
Услышим клена лист  
и сильный тонкий свист  
косых утиных крыл в стремительном полете.  
Пойдем, сынок, с тобой,  
пусть шепчет под стопой  
трава холодная в неяркой позолоте.

## УЗОР

Так безлик, что уже ни на что не похож,  
этот день суетливый, нечеткий.  
А пороешься — все-таки что-то-найдешь,  
хоть узор на балконной решетке.

И не вспомнить, когда он и где промелькнул,  
дряхлый, старый, не очень красивый. . .  
Кто ковал его, стебли железные гнул,  
что влагал он в крутые извивы?

Он трудов не жалел, чтоб железо цвело,  
чтоб чуть-чуть позатейливей стало.  
Словно время в изгибы его затекло,  
хриплой ржавчиной весь обметало.

Тонкий воздух вскипает вокруг завитка,  
меж волнистых бежит перепонок.  
Этот ржавый узор сохранился пока,  
оттого-то и воздух здесь тонок...

Оттого-то и медлит прохожий. Душа  
прозревает исток, размыкает преграду.  
Взгляд, поймавший в полете раскосом стрижа,  
острых крыльев размах получает в награду.

Там среди облаков голубеет прогал,  
там и выше просвет показался.  
Он в трясине времен не исчез, не пропал,  
кто узор выгибал, завитушки ковал  
и с забвением жадным тягался.

## ЖАРА

Асфальт размяк, листва в испарине,  
и город глух, как после выстрела.  
Он весь лежит на дне аквариума,  
вода давно откуда вытекла.

Архангел круг над ним вычерчивает,  
над сетью улиц варикозной,  
уже крылом одним зачерпывая  
придвинувшийся сумрак грозный.

Уже он различает вывески,  
влечет его поток воздушный  
вдоль по реке, с плотвою вымершей,  
где скучен ныне сад Нескучный.

Летун тяжеловесный Барлаха,  
он раздувает ноздри жадно.  
Он над Ордынкой и над Балчугом —  
горячий, грузный, медножабрый.

Что протрубит и что расслышим мы?  
Быть может, только этот шорох,  
с каким уходит время вышнее  
в семипалатинские норы.

Оно сыпучее, текучее,  
оно чужое и родное.  
Хожу по городу и мучаюсь,  
как безъязыкий гуманоид.

\* \* \*

Поземка тоньше, ветер злей,  
и в сумерках поблекли краски...  
Политехнический музей  
стоит на склоне, как салазки.

Вот-вот скользнет — толкни слегка  
(сравнение требует развития) —  
туда, где Яуза-река  
течет в чешуйчатом граните.

Свернется холод в рукавах,  
а на Солянке иль в Зарядье,  
как иней, соль блеснет в словах  
в неповторимом звукоряде.

Многоголосица Москвы,  
поющий, акающий облик.  
Чересполосица молвы,  
цветущих слов горячий отблеск.

Городит сказка огород,  
и вот, распахивая ворот,  
над снежным городом встает  
еще один — звучащий город.

Звучит, растет до облаков  
в державной мощи, светлой силе,  
как будто сорок сороков  
враз, как один, заголосили.

В нем для тебя горит окно  
и месяца блестит подкова.  
Пускай дорогу замело —  
тепло за пазухой у слова.

Ведь в слове копится тепло  
и никогда не вымерзает.  
Тебя морозом обожгло?  
Заговори — гортань оттает.



# Анна Дубчак

## ЧИБИРИХА

### Рассказ

С замирающим, полным благоговенья и трепета сердцем Сашенька спускалась в подвал, открывала тяжелую, обитую кожей и мерцающую позолоченными жукообразными гвоздиками дверь институтской библиотеки, углублялась, петляя по коридорам и минуя арки, в читальный зал и там, обложившись книгами и вдыхая их сладковато-пыльный запах, листая нежными розовыми пальчиками ветхие, пожелтевшие и стертые до трухи страницы редких фолиантов, растворялась в прочитанном. А закрыв книгу, еще долго не могла прийти в себя и взять в толк, где же она находится.

Читальный зал, как ночной тихий лес, светился крупными фосфоресцирующими гнилушками — зелеными лампами. Возвращая книги, полупьяная от впечатлений и собственных глубоких раздумий, Сашенька выходила на свежий воздух и, глядя на оживленные вечерние улицы, удивлялась непонятности людей, толпящихся у входа в рестораны, из распахнутых окон которых неслась громкая, режущая уши и искажающая представление о прекрасном музыка. Наблюдая огромные очереди в кинотеатр на фильмы ужасов или боевики, она непроизвольно качала головой, не принимая, не желая принимать этот массовый, как она считала, психоз, эту стадную болезнь. . .

Она ходила только на те фильмы, которые вызывали непонимание окружающих ее людей, и руководствовалась газетной критикой, считаясь с мнением московских авторов. Философские картины, переполненные символикой и неземными, богоравными людьми, с туманными, гениально снятыми пейзажами, приводили ее в тихий экстаз. Она долго потом не могла заснуть, вызывая в памяти отдельные сцены, и от наслаждения томилась, ходила возбужденная по спальне, смотрела в окно и выбирала в светящемся ночном ультрамарине то, что могло зазвучать в унисон с только что пережитым. Для этого нужно было лишь поднять глаза к звездам, к блистательным неумирающим светилам, чистота которых уравнивала суету и грязный снег нижней части видимого пространства.

Домашняя жизнь Сашеньки напоминала в последнее время тесный, теплый и светлый парник, в котором приятно чувствовать себя ухоженной и чистенькой земляничкой. В доме было тихо. Родители не докучали излишней опекой. Отец хоть и ночевал дома, но приходил поздно и никогда не объяснял, где был. Все и без того понимали: раз его долго нет, значит, он занят в клинике или — навещает больных.

Мама имела привычку совершать длительные прогулки по близлежащему парку, а перед сном, заварив на кухне десятка два трав и приготовив из них притирания или успокоительные настои, надолго запиралась у себя в спальне и там, как считала Саша, занималась омолаживанием своего и без того сохранившегося тела.

— Ты колдунья, — говорила Саша матери на даче, где под потолком сушились пучки целебных трав.

— Посушу, потолку, смешаю несмешиваемое и кто-нибудь представится в одночасье, — делая круги руками над кипящим варевом, шутила мама и заставляла Сашу разбирать на столе горы пахучих цветов.

Там же, на даче, на лужайке перед домом, в старой ванне с нагретой за день водой, мама устраивала пряные процедуры и приглашала к себе дочь, но та, набив карманы сарафана яблоками и вишней, лезла на крышу, прижимая к груди книгу. Глядя оттуда, с крыши, на спящую в мятной тине Светлану Анатольевну, Саша рассеянно улыбалась, дивясь маминым чудачествам.

После института Сашу направили работать в Саратов. И началась для Чибириевой Александры Петровны совершенно другая жизнь.

Сразу же по приезде в военный городок, где и находилась библиотека, в которой предстояло работать, командование военного училища выделило ей однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме, и Саша, обезумев от радости, начала обставлять свое, еще пахнувшее свежей краской и лаком жилище. Из дома пришел контейнер с кроватью, креслом, книжным шкафом и книгами.

Мама в письме инструктировала Сашу: «... Девочка моя, то, что у тебя в начале твоей самостоятельной жизни такая хорошая, как ты пишешь, квартира,— это большая удача. Послушайся совета матери — не выходи замуж за первого встречного, ведь охотников сейчас сбегится столько... Знаешь, сколько проходимцев кругом, их называют еще бичами. Блуди себя, это я тебе не как ханжа говорю, а как мать... ты не маленькая и все понимаешь. Лучше поживите, если уж так случится, некоторое время, не расписываясь, а там видно будет. Не прописывай никого, не посоветовавшись со мной. Я приехать не могу, сама знаешь — папу одного оставлять нельзя. С его желудком без горячего — это верный конец. Правда, последнее время он что-то раскапризничался: бульон ему, видите ли, процеживать надо. Знаешь, Саша, он начал лысеть.

И вообще, ты только уехала, а мне все кажется, что мы не видели целую вечность. Все изменилось с твоим отъездом. И я никак не могу взять в толк, что происходит... Если бы не папин скверный характер и большой желудок, я бы давно приехала. Папа, ты знаешь, тоже скучает, ты не думай... но молчит. Ты ведь знаешь, он всегда молчит. Это человек действия, его тоже надо понять. Письмо какое-то сумбурное получилось. Целую тебя, моя маленькая, пиши почаще. Твоя мама.

Р. С. Высылаю тебе пакетик с ромашкой, там все написано, что с ней делать. Мяту пришлю в следующий раз».

Почти всю первую зарплату Саша потратила на подарки родителям. На вторую купила шелковые шторы и стол, на третью — мягкие стулья. Питаясь все это время в столовой, где готовили на прогорклых жирах и растительном сале, она заметила, что сильно подурнела, осунулась и даже похудела. Мучаясь изжогой и выпивая стаканами содовую воду, Саша решила наконец, что экономить таким образом на желудке не станет. Резкие боли под ребрами лишь укрепили в ней это решение. Теперь она стала есть часто и помногу. Особенным удовольствием стало сочетание еды с чтением. Устраивая книгу таким образом, чтобы не испачкать ее, она придвигала тарелку со щами к себе и, не отрывая глаз от страницы, подносила ложку ко рту. Ела она также и на диване, полулежа, разложив на салфетке бутерброды и печенье.

Вскоре боли в желудке прекратились, а Сашенька, и без того склонная к полноте, стала округляться и наливать здоровьем.

В библиотеке Чибириева старалась ни с кем особенно не общаться, предпочитая одиночество ненужным разговорам и излипаниям, чем вызвала сразу же неприязнь заведующей, Хрусталевой Елены Михайловны, и своей напарницы — Петуховой Евгении Васильевны, которые желали и всем своим видом показывали, что ждут от нее ответных откровений.

Зато приходящие в библиотеку офицеры и высший командный состав находили у «Александры Петровны» полное понимание и полагались на ее вкус. Казалось, что Сашенька работает здесь всю жизнь, а старая Женя — только пришла.

Евгения Васильевна, худая, с черными глянцевыми, облепившими маленькую птичью головку волосами, злилась в своем углу, но придаться к работе Саши не могла — не находила нужных слов и — главное — причин.

А Саша без устали готовила выставки, оформляла стеллажи, проводила лекции и литературные вечера, вела кропотливую работу с каталогами, досаждая тем самым ленивой и медлительной Евгении Васильевне.

Хрусталева молчала и лишь изредка, состроив озабоченную мину, предлагала Саше какую-нибудь новую, «интереснейшую» работу. Хрусталева была женой полковника, носила дорогие безвкусные вещи, массивные драгоценности и выглядела больной, бледной и хрупкой женщиной. Страдая гипотонией, она частенько прикладывалась на работе к коньяку, повышая давление и тем самым вызывая недоумение у обладавшей хорошим обонянием Саши.

Евгения Васильевна, худая и плоская, как щепка, словно дополняла своим видом начальницу, но, в отличие от нее, носила толстую суконную зеленую юбку и ядовито-оранжевую вязаную жилетку, напоминая своим видом исхудавшего, угрюмого попугая. Она косилась на яркий румянец Сашеньки, на ее раздобревшее за последние месяцы тело, ловко охваченное теплым трикотажным платьем, и не понимала, зачем та вообще появилась здесь, и без нее справлялись . . .

— По-моему, — шептала Евгения Васильевна в кабинете Хрусталевой, — Чибирева беременная, смотрите, как ее разнесло. . .

— Ее дело молодое, — отзывалась со своего кресла сонная от резкой перемены давления Елена Михайловна, — не наше это дело, Женя. И не берите в голову, оставьте ее в покое . . . Хотите коньяку?

— Так не замужем ведь! — не унималась Женя. Когда она чем-то сильно увлекалась, разговором ли, чтением, у нее сохло во рту, начинало першить в горле, потом появлялся жесткий, надсадный кашель, сменявшийся булькающими грудными хрипами, — Евгения Васильевна в молодости много курила.

— Вы идите, Женя, работайте, — отправляла громкую и суетливую сотрудницу Хрусталева, на какое-то мгновение выныривая из своего тепло и расслабляющего забытья. — Идите, а я тут документы кое-какие. . . — Потом слово забывалось и Елена Михайловна уносила мыслями домой, а вернувшись оттуда, находила свой кабинет уже опустевшим. . .

Состояние покоя Саша считала одним из основных компонентов счастливой жизни, и это состояние обволакивало ее вот уже больше пяти месяцев. Жизнь дома и жизнь здесь, в маленькой и уютной квартирке, отличалась тем, что самостоятельность и полная свобода делали Сашу более уверенной в себе, нежели дома, при маме. Хотя мысли о доме, о странном поведении отца, которого она любила тихой и преданной любовью, заставляли братья за письма все чаще и чаще. Изменились и письма матери, исчезла мягкость и сюсюканье, появились интонации одиночества и душевной боли. От писем по-прежнему пахло лекарственными травами и все больше — сердечными каплями. Мать жаловалась на грубость отца, плакала (на тетрадных листах оставались голубоватые расплывчатые пятна от слез) и просила Сашу приехать. Но всегда находились какие-то неотложные дела, и поездка каждый раз откладывалась. Наконец, пришло письмо, где мама писала, что

отец ушел от нее к своей медсестре, с которой он проработал десять лет и которая, как выяснилось, была почти его второй женой:

«... Я ничего не знала, вернее, догадывалась, но не смогла спросить его ни о чем. Я, как дура, процеживала ему бульоны, делала массаж, колола витамины и все для кого?! Для кого?! Сашенька, я совсем одна... Пиши, дочка, раз не можешь приехать, но я не поверю, что в библиотеке такие срочные дела и ты не можешь отпроситься на недельку... Не звери же рядом с тобой работают... Помнишь ли ты о том, что я тебе писала еще в августе? Не верь мужчинам. Я вон как любила твоего отца, я его и сейчас люблю, а он предал меня, ушел к чужой женщине, и она готовит ему, стирает рубашки, я не выдержу, наверно, Саша... Приезжай!»

Р. С. Чистотел в желтом пакетике, а липовый цвет — в полотняном мешочке. Не спутай».

Саша отпросилась у Хрусталевой и поехала домой. Светлана Анатольевна предстала перед дочерью такой же, как прежде, ничуть не постаревшей. И тот страдательный тон, который так растревожил Сашу, никак не вязался с выхоленным видом матери, с ее японским халатиком и французскими духами, от которых ломился трельяж. Мама кормила Сашу голубцами и куриными котлетами, пекла лимонник и наполеон, а перед отъездом подарила дочке тоненькое обручальное кольцо.

— Ты все молчишь, ничего о себе не расскажешь, а ведь у меня целый шкаф приданого ждет не дождется, когда ты замуж соберешься...

— Мама,— брала Саша маленькую мамину ладонь и нежно гладила ее,— опять ты за свое. Пойми, я живу полной жизнью...

— У тебя кто-то есть? Ты встречаешься с кем-нибудь?

— Да нет... Ты не поняла... Я только еще начала жить, понимаешь? К тому же, нужно время, чтобы осмотреться, чтобы выбрать, наконец... Да и обязательно, что ли, замуж?

Появление вечером отца, веселого и разговорчивого, разрядило затянувшееся разбирательство по поводу целесообразности брака, и Саша, забыв обо всем, бросилась на грудь отцу. Она целовала его красные от мороза щеки, коротко подстриженные и пахнущие одеколоном серебристые виски и любила его, такого сильного, молчаливого и всепонимающего...

На отце был незнакомый джемпер ручной вязки, но даже он не смутил Сашу. Чуть позже, когда мама ушла на кухню заваривать чай, Саша похлопала отца по плечу и сказала:

— Я не могу тебе сказать ничего, так же, как и ты не сможешь придумать мне объяснение... Нет, ты, конечно, не должен ничего объяснять, ты меня вырастил, отцовский долг выполнил, но маму жалко...

— У нас с ней прекрасные отношения, ты же знаешь нашу маму, она склонна все преувеличивать...

— Так, значит, ты не ушел от нас?

— Конечно, нет... Просто мы слегка повздорили... Ты-то как, пышка?

Потом пришла мама, принесла чай, и Саше показалось, что не было тех страшных писем, той боли и тоски, и что мама все сама себе придумала. Они сидели всей семьей, отец шутил, смеялся, мама уходила в прихожку, чтобы подкрасить губы, возвращалась, стараясь быть веселой...

Саша уехала, а через неделю пришла телеграмма: Чибирев Петр Александрович скоропостижно скончался. Саша вернулась домой и увидела на столе раздутого, с синюшным лицом, отца. Мамы нигде не было. Квартира наполнялась родственниками в трауре, как муравьями; было тихо и пахло сладковато уже начавшим разлагаться телом...

Какая-то женщина в черном глухом платье, очень красивая, с шапкой кудрявых, совершенно седых волос, но молодая, завела Сашу в спальню, где черным прямоугольником высился завешенный крепом трельяж, усадила на кровать и, назвавшись Маргаритой Дмитриевной, сказала Саше, что папу отравила мама, подсыпав в чай яда.

— Вы что, разыгрываете меня? — Саша пыталась вырваться из рук Маргариты Дмитриевны, но та держала ее крепко. — Вы, наверное, та медсестра, с которой папа проработал десять лет? — догадалась Саша.

— Светлана Анатольевна знала о наших отношениях, просто вы были еще девочкой. . . У вашей мамы тоже был друг, он и сейчас хлопочет, чтобы ее отпустили на похороны.

— Она что, в тюрьме?!

— Пока под следствием, но что будет с ней дальше. . . — Маргарита Дмитриевна расплакалась, как ребенок, и вблизи Саша обнаружила, что она вовсе не молодая, а просто сильно напудрена. Слезы темными ручьями бороздили лицо и скатывались на маленький кружевной воротничок. — Я не знаю, как буду теперь жить. . . ведь ваш отец, Саша, был таким человеком. . . Он был необыкновенный. . . И вообще, мы ведь взрослые люди: так, как жили мы, — многие живут. . . Не понимаю, зачем было это делать? Ведь мы все равно бы скоро уехали. . . Трегубов говорит, что ваша мать в последнее время заговариваться стала. . .

— А кто такой Трегубов?

— Как кто? — раздраженно крикнула медсестра и закашляла. — Любовник твоей дорогой матери, вот кто. . .

Саше почему-то захотелось взять сидящую перед ней женщину за волосы и оттаскать как следует. Она испугалась своих мыслей и взглянула женщине в глаза.

— Вы любили моего отца?

— Да, мне просто не верится, что там. . . на столе. . . Петя. . . Вы видели, вы видели, что она с ним сделала?

— А почему вы думаете, что это мама? . . — спросила Саша, вспомнив вдруг ее шутки по поводу несмешиваемости трав. — Она что, сама вам сказала?

— Нет. Она молчит.

— Я пойду, — сказала вдруг Саша и с силой вырвала руку из ладони Маргариты Дмитриевны.

В комнате, где находился покойник, резко пахло горячим воском, Саше стало плохо, и последнее, что она запомнила об этом дне, было страшное лицо отца и маленькая фотография матери на стене, над письменным столом. . .

На следующий день после похорон Саша увидела мать. Тщательно подкрашенная, собранная и подтянутая, она познакомила дочь с Трегубовым, высоким седым стариком в строгом костюме, отмела начисто все сплетни об отравлении и, проводив Сашу на вокзал, сказала, что все объяснит в письме. Саша не узнавала свою мать. В Саратове ей показалось все это кошмарным сном, и она даже заболела. Но потом стали приходить письма от мамы, которая, ничего не объясняя, писала о себе лишь в общих чертах, туманно намекая, что «жизнь продолжается» и что «Трегубов — честный и порядочный человек». Было еще упоминание о «медсестре Рите», которая уехала куда-то на Север, а может, и в Москву.

Травы, большие душистые пачки трав, которые регулярно присылала Светлана Анатольевна, Саша отдавала соседке, тете Паше, — со времени своей последней поездки домой их запах почему-то стал непереносим. Соседка продавала травы на местном базарчике, а Саша де-



лала вид, будто о том ничего не знает. Зато Евгения Васильевна однажды в библиотеке, ткнув острым пальцем в пухлое плечо Саши, изрекла, стараясь быть одновременно и остроумной и немногословной:

— Кофточка у тебя, я смотрю, новая. Сирийская? В военторге купила?

Саша потерла уколотое плечо и удивленно посмотрела на напарницу:

— Да, а что? Там еще есть, если вам нужно...

— Зверобоем пахнет да липой... — краснея, но не находя сил сдержаться, выпалила старая Женя, напуская туману в Сашино сознание.

Саша промолчала, что от нее самой несет псиной и кошачьей мочой (все в военном городке знали Евгению Васильевну как заядлую кошатницу и собачницу), промолчала, но намек так и не поняла.

— Побочный заработок или кто помогает? — подводила упорно Евгения Васильевна Сашу к истинному смыслу своих намеков.

— Так зарплата же вчера была, — снова не поняла Саша.

— От Паши много имеешь?

— Тетя Паша? — Чибирева наконец-то сообразила и облегченно вздохнула, как человек, который во всем разобрался и который не считает себя ни в чем виноватым. — Так у меня травы много, мне не жалко! Могу и вам принести... А насчет тети Паши — это вы напрасно. Пожилой человек... уж она сама решит, что куда и как полезней...

Евгения Васильевна, ожидавшая от Саши растерянности или хотя бы краски стыда, почему-то струсила и ушла в свой угол: от такого обстоятельного и прямого ответа ей стало не по себе. Она не умела говорить так, как говорят люди, старающиеся уязвить в самое больное место; все-то у нее получалось нелепо, несмешно или непонятно. Вот и сейчас: начала и не закончила.

А Саша тотчас забыла о разговоре и занялась разборкой новых журналов. В ней с утра жило предчувствие, что сегодняшней вечер разобьет ее стекляннорозовую сферу, в которой она находилась до этих пор, как перезревшая фасоль в хрупком стручке... Она спокойно работала, читала, ожидала новых посетителей и втайне мечтала об ужине, о тихом домашнем уюте. В сумочке и в столе она держала пакетики с пирожными и время от времени, когда Евгения Васильевна уходила в книгохранилище или в читальный зал, слизывала крем с бисквита, запивала чаем, и с замиранием сердца глядела в окно, следя за приближающимися к библиотеке силуэтами. Увидев знакомое лицо, она в считанные минуты подбирала отложенные заранее книги и с улыбкой встречала своего читателя.

Молодые офицеры не раз приглашали ее на вечера в училище, в кино, но Сашенька, краснея и дрожа почему-то всем телом, отвечала, что вечер, к сожалению, занят, что «как-нибудь в другой раз»...

Девственность, которой Сашенька бессознательно тяготилась, поднимала давление и вызывала неясные желания. Читая о любви, Саша с небывало жгучим чувством представляла себя на месте героини и, испытав целую гамму острых ощущений, на некоторое время успокаивалась. Но потом с ней начинало твориться что-то невообразимое: она не могла заснуть, металась по постели, комкая в испуге горячие простыни, потом вставала, зажигала лампу и подолгу, до стука зубов, разглядывала себя в зеркале, не понимая, что с ней происходит. Темный огонь пульсировал на щеках и отзывался в каждой клеточке тела. Она страдала, задыхаясь в своем непонятном недомогании, доводившем ее до судорог во всем теле. Я больна, решила она про себя.

Ночью, во сне, отчетливо понимая, что это все-таки сон, она отдавала свое тело всем офицерам и солдатам, которых только знала, а

проснувшись, — мокрая от пота и дрожащая от озноба, — плакала, создавая свою ненормальность.

Чем безумнее были сны, тем тише и незаметнее становилась сама Саша, тем незаметнее она старалась вести себя днем, на людях, тем длиннее становились юбки, глуше — кофточки. Ни одной душе она не могла рассказать о своей беде, о внутреннем, сжигающем ее огне.

Разговор о тете Паше забылся в теплой беседе с Морозовым, молодым лейтенантом.

— Хорошо, так и быть, пойду с вами в кино, — сказала Саша громче, чем обычно, сама удивляясь своей храбрости и наглости по отношению к Евгению Васильевне, к которой и было, в общем-то, обращено сказанное. Лейтенант, конечно же, принял все на свой счет и ушел, подпрыгивая на длинных, чуть кривоватых ногах, проигрывая в уме предстоящее свидание.

После кино прошлись немного, замерзли, и Морозов попросился к Саше на чай.

— С вареньем, говорите? — улыбался он соломенными, торчащими дерзко усами, мысленно раздевая Сашу.

После чая сели на диван, и Морозов, не дав опомниться Сашеньке, больно поцеловал ее в губы. Сашенька погрузилась в свой ночной сладостный кошмар, в яркий, оражевый от шелкового абажура сон с головокружительными вертящимися обоями, взлетающей подушкой, качающимся потолком и тяжелым дыханием сошедшего с ума Морозова.

Она очнулась, открыла глаза и в полном одиночестве встретила серое осеннее утро. От Морозова осталась вздутая губа, недопитая чашка с остатками желтого чая и раскрошенный кекс.

Диван казался прохладным мягким облаком, на котором лежало чужое тело. Саша взглянула на часы: можно было спать еще целый час!

«Морозова я, пожалуй, пропишу...» — подумалось ей напоследок, и, накрывшись собственной юбкой, она сладко задремала, впервые в жизни проспав на работу.

Утром в библиотеке Евгения Васильевна бухнула вошедшей Александрой:

— Воровка!

Сашенька, все утро жившая одним лейтенантом Морозовым, подумала первым делом, что под украденным подразумевается именно он, Морозов, и не сумела скрыть улыбку, недоумевая по поводу права старой Жени на молодого офицера.

— Два пятьдесят было, — грозно проговорила Евгения Васильевна и победно взглянула на подошедшую сзади Елену Михайловну. — А осталось всего пятьдесят копеек! Вот!

— Саша, вы брали деньги у Жени? — миролюбиво и незлобно спросила Хрусталева, всем своим видом вводя в заблуждение Сашу, не понимающую, на чьей стороне начальница.

— Я?! — Саша забыла Морозова и с трясущимися губами и руками села, где стояла. — Конечно, нет...

— Вы понимаете, надеюсь, что если не я и не вы, то получается, что Евгения Васильевна сама у себя украла два рубля, а теперь ищет виновных... Такого не бывает, — равнодушно произнесла Хрусталева и посмотрела куда-то мимо Саши.

— Но я не брала денег.

— Я понимаю, конечно, что не пойман — не вор. Ладно, время покажет. . . Идите, Чибирева, работайте. . .

Деньги стали пропадать все чаще и чаще. Все, кто работал в здании, вмещающем в себя библиотеку, канцелярию и склады, были охвачены паникой. Саша, которой никогда в жизни не приходилось ни перед кем оправдываться, не находила слов, чтобы защитить себя: ведь пропадали деньги у всех, кроме нее.

— Это болезнь, женщины, ничего удивительного, — строго напрягая ноздри и разбрызгивая слюну, доказывала Сашину виновность Евгения Васильевна в бухгалтерии. — Она уже и сама не замечает, как у нее это получается. . .

— Это ужасно!

— Ее надо проучить, заставить, наконец, и вызвать милицию!

Устраивали ловушки: оставляли деньги на виду, подсчитывали до копейки, потом возвращались и пересчитывали — хоть гривенник, а пропал! И никого так и не поймали, но все как один думали на Чибиреву.

Морозов, как и многие в училище, слышал эту историю, но в виновность Саши не верил и продолжал пользоваться благосклонностью молодой библиотекарши.

Удивительно, как за всей этой кутерьмой никому и в голову не пришло поинтересоваться личной жизнью Чибиревой — вот где можно было бы получить больше информации и гораздо более «интересной».

Сама Александра, понимая всю беспомощность своих робких и унижительных оправданий, погрузилась с головой в любовь.

Библиотека, которая раньше была ее вторым домом, превратилась с тех самых злосчастных дней в место отбывания трудовой повинности. Сознание того, что все окружающие считают ее воровкой, убивало, доводило до нервных срывов. Но Морозов одним своим добродушным видом и ослепительной, счастливой в любое время дня и ночи, улыбкой умел так успокоить Сашу, хотя бы до следующего утра, что она воспринимала свое неизбежное «завтра» уже как плату за неожиданное и, может быть, даже незаслуженное счастье в лице Морозова.

«Жизнь, она как зебра — полосатая», — любил говорить лейтенант.

Глотая одну обиду за другой, Саша жила словно в чаду, где струей чистого, живительного воздуха был молодой соломенноусый парень, имени которого она так и не узнала. «Морозов, как тебя зовут?» — спрашивала она, лежа на его плече и боясь посмотреть на часы, которые неумолимо приближали час расставания.

— Морозов, — отвечал Морозов и нежно целовал ее розовое ухо. — Морозов, и точка.

Однажды вечером он пришел с двумя тортами. Одну коробку оставил в прихожей и как бы про себя сказал:

— Сегодня у пацана день рождения.

И только тогда Сашенька узнала, что у Морозова двое детей, жена и теща. На вопрос, почему он раньше ей ничего о себе не рассказывал, лейтенант пожал плечами:

— Так не спрашивала. . .

Через неделю после того памятного вечера он пришел хмельной, с бутылкой коньяка и пакетом лимонов.

— Саш, ты баба — во-о-о! . . . — Он сунул ей под нос торжествующий большой палец со сломанным ногтем и усадил Сашу к себе на колени. — Я, Саш, того. . . уезжаю. . .

Расслабившись, уронив руки, оперев локти в колени, Морозов плакал, как мальчик, которому сказали, что теперь он стал взрослым и в его игрушки будет играть кто-то другой, младше и счастливее его.

— В Уфу, Саш. В Уфу. Усе на чемоданах. Жаль бросать квартиру,

тетшин гараж... Да и лодку только купил, обещали с места не трогать... Да и тебя, конечно, жаль...

Он обнимал Сашу горячими, жирными от колбасы руками, дышал ей в лицо чесноком, громко икал, утирая указательным пальцем от коньяка усы и размазывал по щекам слезы.

— А как же я? — спросила Саша, понимая, что все рушится, что она умрет после того, как он бросит ее. — Что же будет со мной? Они же меня тут съедят... Не уезжай, миленький... — Она провожала его до двери и со слезами на глазах наблюдала, как он пытается попасть в сапог.

Морозов мычал, ругался матерно, ловя непослушный сапог и, прыгая на одной ноге, как подстреленный медведь, бормотал:

— Я ж адрес твой знаю... Напишу, не бойсь...

— Назови, назови мой адрес... — давилась слезами Саша.

— Улица Зенитная, дом, так... раз, два, три с краю... двадцать пятый. — Он замер, скосил на нее ярко-голубые, в розовом кровавом белке, глаза. — Саш, не плачь... а то я сейчас...

Дом двадцать первый, и не Зенитная, а Василевского...

Она ждала от него писем, начиная с вечера следующего дня. Но Морозов уехал. Уехал.

В кино Сашу никто почему-то не приглашал. К ней приходили по очереди: Сережа и Квасов. Ели ее борщи, котлеты, угощали водкой и шоколадом.

Саша писала матери:

«Мама, я никого не прописываю. Друзья у меня есть, но они все с квартирами, все устроены. Так что не беспокойся. А о своих подозрениях не думай, врач сказала, что все обошлось, и посоветовала мне одно средство... Сама понимаешь, дети мне сейчас ни к чему. На работе все попритихло, но это временное затишье...»

В ответ же пришло письмо:

«Девочка моя, даже не знаю, как ты отнесешься к тому, что я тебе сейчас сообщу, но постарайся понять меня правильно. Словом, у тебя скоро будет братик или сестренка. Вопрос решенный...»

Прочитав письмо, Саша взяла несколько дней за свой счет и выехала к матери.

Светлану Анатольевну она нашла худой, болезненной и очень ярко накрашенной.

— Не обращай внимания, — предупредила дочернины вопросы мать, подставив с порога ей для поцелуя сильно напудренную щеку. — Просто эти коричневые пятна ничем не выводятся... Когда тобой ходила, такого безобразия не было... И вообще это положение меня так испортило, не знаю, как Трегубов еще терпит меня... Ну, проходи, Сашенька, я так по тебе соскучилась...

— Я не хотела, — сказала она чуть позже, указывая пальцем на свой торчащий рахитичный живот. — Правда-правда... Это его инициатива, — и она с брезгливой миной кивнула в сторону кабинета мужа. — Ему второй молодости захотелось, видите ли... Конь, а не мужик! — она покраснела. — Ох, только бы родить, только бы не помереть на старости лет... Стыд, Саша, прямо стыд по больницам шататься... А он не понимает...

Трегубов в вязаном жилете поверх байкового коричневого халата расцеловал Сашеньку в обе щеки и пригласил в свой кабинет — полюбоваться коллекцией морских раковин. Саша смотрела на окаменевшее нежно-розовое «мясо», свернутое в причудливых колючих трубках, прикладывала их к уху, но, ничего не услышав (хоть и было обещано), возвращала в руки оживленному Трегубову со словами:

— Да... Надо же, прямо море плещется!

Мама, как всегда, встретила Сашу ее любимыми голубцами и лимонным пирогом. Она смотрела, как Саша ест, и столько любви, столько обожания читалось в ее взгляде, что Саша совсем переставала понимать ее. Ведь второе замужество, как она считала, отдалило от нее мать. Стоит мне уехать, думала Саша, и мать опять успокоится, а когда родится маленький Трегубов, так и вовсе обо мне забудет.

— Тебе плохо, мама?

Светлана Анатольевна смахивала с уголков глаз слезы и прикладывала к покрасневшим векам платочек.

— Я внуков ждала, а тут... — Она с немим укором посмотрела на живот, и губы ее задрожали.

Высохшее личико матери под толстым слоем пудры и румян стало похожим на лицо старой запыленной куклы. Серый шелковый халат с диковинными красными вышитыми птицами на плечах делал ее фигуру уродливой, почти карликовой. На ее фоне Трегубов — высокий, румяный, по-юношески худощавый и подтянутый — казался совсем молодым. Тщательно уложенные серебристые волосы и отполированные ногти, которые он демонстрировал, вертя в руках раковины, выдавали в нем молодящегося и уверенного в себе опытного ловеласа.

После ужина Светлана Анатольевна почувствовала себя плохо и прилегла в спальне. Трегубов, куривший в это время на кухне, мешал Саше мыть посуду. Сначала он развлекал ее анекдотами, а потом, вытряхивая пепел в ведро, вдруг залез ей под юбку и, стиснув зубы, стерпел все обрушившиеся на его седую голову удары и пощечины. После чего сгреб сильными и цепкими руками всю Сашеньку и, подталкивая, увлек в свой кабинет с раковинами.

Боясь, что их увидит или услышит Светлана Анатольевна, Саша глазами просила Трегубова остановиться. Она уже лежала на полу, на вытертом зеленом ковре, и, сгорая от стыда, позволяла этому сумасшедшему семидесятилетнему старику терзать свое тело. Она зажмурила глаза и вспомнила колючие рыжеватые усы лейтенанта Морозова, запах и чистое дыхание молодого здорового мужчины!.. Ах, как пахли его аккуратные надушенные височки!.. Теперь же медленно и упорно кружился серый, в легкой паутине потолок, вертелись полки с глянцевыми, цвета сырой свинины раковинами; тонкие коричневые губы пахли табаком и корицей от полчаса назад съеденного пирога; она ложилась и считала до ста, потом еще раз до ста, потом сбилась со счета сбросила с себя обессиленного и постанывающего отчима, перешагнула через него, одернула юбку и в дверях.. столкнулась с матерью.

Светлана Анатольевна стояла, прислонившись к стене, и смотрела вниз: под ее крошечными тапочками хлюпала красноватая вода.

— Я рожаю, Саш... .

Саша задержалась дома вплоть до выписки матери из родильного дома. Приехали на такси, внесли в дом темноглазое существо с малиновыми щеками в пене кружев и голубых лент.

Светлана Анатольевна, помолодевшая, с красиво уложенными волосами, в новом светлом платье, развязав ленты, достала из вороха кружев и батиста маленького Митю Трегубова.

— Сашенька, я так счастлива! — плакала она от радости, прижимая к своей необъятной от молока груди младенца и осыпая его поцелуями. — Теперь мне есть для кого жить... — она вдруг осеклась, быстро оглянулась, но, не увидев рядом с собой дочери, закусила губу.

Трегубов-старший, казалось, совсем забыл о Саше. Неделя, проведенная с ней в отсутствие жены, по-видимому, лишь укрепила в нем веру в собственные силы и несколько охладила пыл. Саша же, яростно смывая с себя жгучим кипятком запах старой кожи, табака и англий-

ского горького одеколона, решила сюда больше не возвращаться. Да и возвращаться-то было уже не к кому: Светлана Анатольевна Чибириева умерла в одночасье со своим первым мужем, дорогим Сашиним папой; вместе с Митей народилась чужая женщина — Трегубова. . .

Саша уезжала с тяжелым сердцем, на счету которого уже были три большие потери.

. . . У Евгении Васильевны украли червонец (!). Хрусталева, сошурив свои и без того припухлые глаза, уставилась на Чибириеву:

— Ну что? Милицию будем вызывать или сама во всем сознаешься? Обойдемся, так сказать, узким товарищеским судом. . .

Саша швырнула на стол старой Жени свою десятку и вышла из кабинета заведующей, хлопнув дверью.

Если бы знать, что этим жестом она подписала себе приговор. . .

В тот вечер к ней пришел прапорщик Квасов и принес бутылку водки. Саша достала из кладовки банку с маринованными огурцами, сварила картошку.

К десяти часам явился нежданно-негаданно рядовой Сережа (он приходил обычно по вторникам и пятницам), фамилию которого Саша не знала.

— Не понял, — сказал он, разглядывая сапоги сорок пятого размера. — Не понял. . . — Он внимательно посмотрел на Сашу, потом оттолкнул ее от себя, прошел в комнату и, увидев Квасова, повернулся к Саше.

— Не понял, — сказал он в третий и последний раз. Дальше все происходило как во сне. Глядя на два катающихся по полу тела, обтянутых гимнастерками цвета хаки, Саша на время онемела.

После ухода обоих гостей, она долго подбирала с пола маринованные огурцы, еще теплую картошку и золотистые пуговицы. А потом, как заведенная, мыла полы, проветривала комнату, скребла и без того чистые кастрюли. . . Утомившись, легла в горячую ванну и, рассматривая рисунок на пузырьке с шампунем, пыталась привести в порядок свои мысли и чувства. Вспоминая часы, проведенные с Квасовым, Сережей или Трегубовым, она с горечью поняла, что пустоту, возникшую с отъездом Морозова, ничем не заполнить, жизнь, которой она жила вместе с молодым лейтенантом, — не вернуть, Морозова никем не заменить. . .

Она плакала, и слезы стекали ей на грудь, скатывались в зелено-мутную воду и растворялись в мыльной пене. Ее жизнь, ясное дело, окончена. Все. Ей почему-то захотелось, чтобы ее посадили в тюрьму. Она не видела просвета в своей жизни, не находила выхода из создавшегося тупика, в который загнал ее невидимый враг. А в том, что этот враг существует, уже не было никаких сомнений. Воровство в библиотеке, приписываемое именно ей, ляжет несмываемым пятном на всей жизни. И даже если когда-нибудь откроется правда и выяснится, что Саша не воровала, о ней все равно будут говорить: а, это та самая Чибириха, на которую думали, что она воровка!

Мама — единственный человек, которому она могла бы довериться, предала ее, отдав свою жизнь Трегубову — этому пучку засохших гвоздик. Из головы не выходила мамина фраза, обращенная к маленькому Мите. . . Все правильно, я уже выросла. Теперь она будет жить только для него.

На следующий день пришли из ЖЭКа с вызовом на товарищеский суд. Саша не пошла. Она поняла наконец, чего от нее добиваются: отдать квартиру и съехать в коммуналку — дом напротив. Приходила даже «щитовидная» женщина-льготница, претендентка на ее квартиру, — смотреть, в каком состоянии потолок и стены. . . Звучали слова:

«аморальное поведение», «разврат», «свинья бесстыжая», «здесь драки и пьянка каждый день», «больная, что ворует»...

Как искусный канатоходец, Саша прошла свой невидимый канат до конца — как ни раскачивали, как ни пытались его оборвать. Она выиграла — квартира осталась за ней, но здоровье оказалось подорванным. Беседуя сама с собой, она перестала замечать, как начала выражать мысли вслух. Связанные в глубине подсознания, слова ее для постороннего слушателя выглядели набором случайных соединенных фраз, и Хрусталева первая посоветовала Саше обратиться к врачу.

Сначала Саше выписали маленькие, похожие на цветной мелкий горох, таблетки. Потом, уже в больнице, стали колоть «пьяные» уколы. Время от времени она возвращалась на работу и чувствовала себя вполне здоровой.

Серым дурманящим потоком потекло время. Таблетки, уколы, пахнущие хлоркой штампованные простыни, старые девы, мучающиеся климаксом и носящиеся с рецептами печений и узорами вязаний... Ненавистный запах пустырника, въевшийся в складки одежды, в волосы, в кожу, в мебель, в подушки...

Маленький Митя рос. Стали все чаще приходиться письма и посылки от матери. Обида забылась.

На день рождения Трегубов прислал Саше двести рублей и отрез пунцового итальянского шелка. Деньги Саша носила всегда с собой, а из шелка, явно предназначенного для шикарного платья, сшила две наволочки и покрывало на кровать. Это был протест против всего, что могло бы подчеркнуть в ней женщину.

Квасов однажды по пьянке разбил Чибиревой кухонное окно. А Сережа, пришедший в себя после драки, очень скоро женился и уехал с семьей в неизвестном направлении.

И вдруг случилось происшествие, потрясшее весь военный городок: скоропостижно умерла Хрусталева.

Евгения Васильевна, которой убитый горем полковник Хрусталева вручил ключи от кабинета и сейфа жены с просьбой принести все ей принадлежавшее, открыла сейф и ахнула: в коробке из-под туфель она увидела некогда пропавшие у сотрудников вещи, драгоценности и деньги. Были там и двести рублей Чибиревой, стянутые резинкой, с синим чернильным пятном на верхней купюре, те самые деньги, которые прислал Трегубов и о пропаже которых Саша не посмела сказать в библиотеке, зная наперед, что ей все равно никто не поверит. Видать, не выдержала покойница и вопреки своим правилам польстилась на деньги Саши, не выдержала, забыв в миг ослепления о том, что Саша — ее ширма, ее палочка-выручалочка, ее бессловесная козырная карта...

На похоронах говорили, что Елена Михайловна умерла от рака груди. Но большинство женщин, знающих Сашу и ее историю, утверждали в один голос: Хрусталеву наказал Бог. Хоть и грешно так говорить о покойной, но женщин было трудно сдерживать.

Чибирева одна из первых шла за гробом и безутешно рыдала. Она глотала слезы, стонала от собственного бессилия перед судьбой: не сумевшая при жизни обидчицы оправдаться и разоблачить ее, она сожалеала, что правда досталась такой дорогой ценой.

На кладбище, когда стали опускать гроб, Александра Петровна не рассчитала, оступившись, и рухнула прямо в яму, на крышку гроба. В толпе ахнули, поднялась паника, с какой-то женщиной сделался припадок. Чибиреву с трудом подняли, дали успокоительных капель.

В тот же вечер соседи, в том числе и старая Паша, услышали душераздирающий крик из квартиры Чибиревой. Дверь оказалась незапертой, и женщины устремились на крик.

Александру Петровну они нашли забившейся в угол кладовки. В луже, вытекшей из разбитых банок с соленьями, закрыв лицо руками, она стояла и уже тихо, жалостливо всхлипывала:

— Я боюсь... Я так боюсь... Я же могла ей переломать все ребра. Не помню, понимаете, не помню, была ли там крышка... а что если ее там и вовсе не было?! Как же тогда? А вдруг она была еще жива, а я упала на нее? Она же была такая хрупкая... — Чибирева перешла на шепот, — хрупкая и деликатная... Так-то это так, — вдруг взвизгнула она, — а воровать-то кто воровал? Я?! Деликатная, воспитанная, жена полковника! Да прибить ее мало, пьянчужку такую! Но, знаете, страшно, очень страшно... Я как глаза закрою, так она передо мной и стоит... и не в гробу лежит, а прямо стоит — и все... Теть Паш, страшно-то как...

— Я — шизофреничка! — заявила с порога высокая полногрудная женщина в красных резиновых сапогах и красной, в блестках, косынке, из-под которой выбивались желтые обесцвеченные волосы. — Я могла бы, конечно, и без очереди, но вас тут так мало, что я уж подожду, подожду... Собиралась в этот ЖЭК, к Живоглотову, да не знаю, выслушает или нет... Я по обмену, мне бы только разрешения испросить, и все. Съезжать хочу отсюда, соседи затравили, чтоб им... больная, видите ли... И сожитель их мой не устраивает. Он и меня не устраивает, дак куда ж денешься! Привыкли уж... Ну, пьет он, что ж с того? Все пьют.

В ЖЭКовском коридорчике было темновато и как-то неудобно. За окнами сек мелкий ледяной дождичек. Приближалась зима. В это время года все люди какие-то вялые, скучные и несловоохотливые. Женщина в красной косынке внесла в наше сонное царство некоторое оживление. Она разговаривала громко, ходила по коридору, размахивала руками и своими движениями приглашала поучаствовать в разговоре.

— Это Чибириха, — сказала моя соседка по дивану. — На нее поклеп возвели, вот она с ума и сошла. Такая приличная женщина была, скажу я вам... В нее еще мой свояк, Шурка Морозов, влюблен был... Даже от жены одно время уходить собирался. Он приезжал недавно, но не свиделся с ней, видать, не судьба...



---

---

# Равиль Бухараев

## ПОСТСКРИПТУМ

### ИСЛАМ

я внял чему-то и пришел покой  
стихам молиться больше не умею  
как залюбуюсь собственной строкой  
так Истина и заслонится ею

явись Она — и счастливо смеясь  
без сожаления единым махом  
Руми свои стихи забросит в грязь  
чтоб без помех беседовать с Аллахом

### ЗАТИШЬЕ

слушай мощь тишины если выдался повод и случай  
в одиноком единстве молчат небеса и река  
потому я и жив что бессмертная точность созвучий  
как предсмертное счастье ко мне не являлась пока  
как тебе объяснить неужели же снова стихами  
что молчанье — спасенье в высокой такой тишине  
как иначе суметь между птицами и облаками  
удержать равновесье шагая по Божьей струне

я б и проклял слова за двусмысленность ложь и  
мятежность  
если б смел проклинать глядя в бездну на эти низы  
как живые деревья заранее чувствуя свежесть  
не маши ты ветвями в затишье оставь до грозы  
можно ветер узлом завязать да напрасна морока  
лишь для мудрости силу дарует душе тишина  
всем молчаньем любви говорю — до свершения срока  
слушай мощь тишины чтоб звучала лишь Божья струна

### ЛИДЕ

не напишу ничего что прекраснее дерева  
не начеркаю точней чем лучистые ветки  
времени было отмерено только до вечера  
вечером лучше молчать или делать пометки

вечером лучше отречься от вечного сплина  
русской морочной хандры и татарской печали  
вечером лучше припомнить как пахнет малина  
в теплой ладони вернее как пахла вначале

вечером лучше зажечь не свечу так светильник  
щелк выключателем и темнота отступила  
вечером лучше поставить на утро будильник  
дом недостроен все выше уходят стропила

друг мой любовь моя лучше молчать вечерами  
иначе мы не услышим как дышит Василий  
я и забыл что он вырос и нынче не с нами  
слышу как плачет Господи Боже помилуй

вечер проходит в труде запоздалых радений  
поздно любимая тьма обнимает все туже  
только успеть бы мне вымолить сна без видений  
да пробужденья без слез только б не было хуже

## ВОЗВРАЩЕНЕЦ

все ж разумнее чем имя замарать  
все ж надежнее чем всеу ворожить  
все же родину я выбрал — помирать  
а как выбрал оказалось — нужно жить

то-то чести в этом выборе моем  
то-то выбор между щелью и дырой  
то-то выбор между ложью и враньем  
то-то выбор между скукой и хандрой

я не нужен ни деревьям ни земле  
я не нужен ни себе ни им ни вам  
ни хвале не верю вашей ни хуле  
ни словам не верю вашим ни слезам

только верю я что важно выбирать  
только верю я что можно дорожить  
все же родину я выбрал — помирать  
но покуда нужен Богу — буду жить

\* \* \*

отпрянул я от края самого  
с трудом собрал свои мерила  
душа ослица валаамова  
зачем же ты заговорила

ведь здесь довольно было шепота  
чтоб окончательно угробась  
со всей дурной поклажей опыта  
по осыпи скатиться в пропасть

## ВОЛЯ

не выдается досуга  
разве что вот на заре  
мерзнуть в промозглости юга  
где-то в чужом декабре

то ли Австралия то ли  
Англия так же темно  
в розысках чаемой воли  
где ни броди все одно

засветло выбреду в двери  
здесь как ты сам ни тужи  
здравствуют всякие звери  
кролики белки ежи

имя ища полушарью  
наискось вверх до куста  
небо глазами обшарю  
Южного нет ли Креста

нет ни креста ни досуга  
разве что вместо спанья  
дрогнуть на мокряди луга  
не обижая зверья

вот ведь накликалась доля  
я это или не я  
Господи Твоя воля  
Господи воля Твоя

\* \* \*

не мне ли все проще и проще  
быть трезвым на каждом пиру  
как дерево лишнее в роще  
я рад что однажды умру

прося лишь несуетной силы  
до истины той дорасти  
что жизнь и у края могилы  
лишь саженец в Божьей горсти

## ТИЛФОРД

невесть чем очи вновь соблазнив  
расскажи ни о чем не сказав  
об осеннем строении ив  
о подводном струении трав

это осень а это река  
это лебедь на мелкой воде  
это просто пустая строка  
расскажи как живется нигде

и строка что прозрачно пуста  
вдруг поведает ясную суть  
так отрадно смыкались уста  
что словами нельзя разомкнуть

лишь молчанье превыше всего  
чувство с чувством случайно сличит  
расскажи не сказав ничего  
тем любовь и жива что молчит

## ОСЕНЬ В ЧАСТНЫХ ЛЕСАХ

попривык к ежевичным оградкам  
 притерпелся к тому что легко  
 проморгал все что делалось рядом  
 оттого что смотрел далеко

на чужой чей-то частный валежник  
 с неба сеется Божья вода  
 ты уже никакой не мятежник  
 да и не был ты им никогда

в ежевичной английской пустыне  
 не примни что живешь по уму  
 все прозрачней становится ныне  
 непричастность твоя ко всему

в частной чаще где мокро и сыро  
 вдоль по речке пустой как стекло  
 все что по сердцу было уплыло  
 что пришлось по душе уплыло

долгий спуск разрешенной тропинки  
 все известно что ждет вдалеке.  
 от пожухшей уже ежевики  
 жгучий привкус на языке

\* \* \*

закажите туда мне билет  
 где и духа моего уже нет  
 где и сор уже вымели из угла  
 где и память обо мне изошла

закажите билет мне туда  
 где сесть взялась моя борода  
 где шумели так бездумно сады  
 где пропали неразумно труды

где я пил это злое вино  
 где я умер и мне все равно  
 где прошлись и по мне помелом  
 где забыли меня поделом

распахните мне ясный простор  
 расстелите мне красный ковер  
 вот иду я как будничным днем  
 и плетется за мной та же тень

неужели же все наяву  
 вроде не жил и вроде живу  
 проживу-то всего ничего  
 может вспомню себя самого

\* \* \*

я и не жил до сих пор толком  
был как новый а теперь трачен  
что ж ты вяжешь-то меня долгом  
донимаешь-то зачем плачем

уходил я от тебя сушей  
потому что был твоей скукой  
что же нынче-то в тоске сушей  
допекаешь ты меня мукой

уходил я от тебя небом  
отцепись ты со своей болью  
все-то манишь ты к себе хлебом  
а встречаешь дай-то Бог солью

уходил я от тебя морем  
загигбался под чужим кровом  
да отстань ты со своим горем  
отвяжись ты со своим зовом

обделила ты меня волей  
оделила грудой объедков  
что же ты мнишь себя моей долей  
кровом родиной землей предков

что ж ты мнишь себя моим домом  
что ж ты мнишь себя моим храмом  
испечется всякий блин комом  
обернется всякий стыд срамом

ну а сам-то что опять вою  
мне что идолы твои боги  
но куда я с этой любовью  
кроме как опять к тебе в ноги

через море небеса сушу  
вспять иду как уходил раньше  
измочалила ты мне душу  
Бог с тобою будем жить дальше

## НАСТОЯЩИЕ СТИХИ ПРО ЛОНДОН

*...как может Вестминстерское аббатство не повидать такого человека...*

*В. Соколов*

совершенно незачем заговаривать зубы  
тому кто не видел как мало в Темзе воды  
меня занимают в Лондоне печные трубы  
и крошечные сады

печные трубы предполагают наличие камина  
а это значит можно вытянуть ноги к огню  
особенно если погода невыносима  
но я ее не виню

сыро и холодно в общем совсем промозгло  
сеется морось и ноги скользят  
зато в саду по утрам бывает даже морозно  
если есть сад

если есть сад ничто не имеет значенья  
потому что иней лежит на ветвях поутру  
производя нечто вроде свеченья  
на задувающем с моря ветру

в день зимнего равноденствия между затмениями  
луны и солнца в девяносто втором году  
я никого не пугаю поэтическими откровеньями  
а просто по набережной иду

главное чтобы сад и камни были данностью  
у меня же ничего этого нет  
и это неважно ведь я уже не лажу с реальностью  
иначе вместо этой действительности написал бы сонет

## ПОСТСКРИПТУМ

я не хочу больше писать стихи  
отбиваясь от бреда вычуры чепухи  
это все помраченье наваждение раж  
это прихоть причуда несусветная блажь

я не хочу больше ничего творить  
делать надобно дело а не говорить  
я не хочу больше выбирать слова  
как душа промолчала так она и права

я не хочу больше ничего писать  
бунтовать смиренничать литургисать  
это не вдохновенье мятежный труд  
это все вождельенье за которым блуд

я не хочу больше сходить с ума  
это все лихоманка чахотка чума  
вымысел домисел лихорадочный бред  
схлынет горлом горячка и ничего дальше нет

я не хочу больше я не хочу  
тьма крошечная хоть держи надо мной свечу  
отщемило и такая внутри пустота  
я не хочу больше раскрывать рта



---

---

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

---

---

### Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

*Перевела с французского Марианна Кожевникова*

#### CLVI

Налетела песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса, туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров поселились птицы, они жили с нами и, не пугаясь, охотно садились на плечо, но им не хватало пищи, и, что ни день, они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух, и я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и ссыпали крошащийся прах в море.

К полудню солнце побелело от зноя, мы впервые изнемогали от жажды и тогда увидали мираж. Геометрически четкий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно воскликнул и пустился бежать к городу. Я понял: вскрик его, словно вскрик улетающей дикой утки, перебудоражил всех остальных. Все были готовы бежать вслед за одержимым, толкаясь и задыхаясь, к миражу, к гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом, и только; все образумились.

Один из моих солдат плакал.

— Что с тобой? — спросил я его.

Я думал, он оплакивает убитого.

Но он увидел на песке сухую, мертвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц.

— Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти, — сказал он.

Мы вытянули работника из нутра колодца, и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В здешних местах есть подземные пресные воды. На протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам. Текли и позволяли животворящей крови течь по жилам. Сухой колодец пригвоздил нас к земле, словно булавка бабочку.

Всем невольно подумалось об огромных корзинах, полных сухой шелухи.

На следующий вечер мы добрались до колодца Эль Бар.

С наступлением ночи я собрал проводников.

— Вы обманули нас. Эль Бар сух. Как мне поступить с вами?

Чудесные звезды украшали эту горькую и великолепную ночь. Вместо воды у нас были алмазы.

— Как мне поступить с вами? — повторил я проводникам.

Но что за польза от человеческой справедливости? Мы все должны были превратиться в сухую колючку.

Всходило солнце и за песчаным маревом казалось треугольным. На наше тело будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум. Но не миражи своими сияющими городами сводили их с ума. Не было больше миражей, не было отчетливого горизонта, не было четких очертаний. Будто дышащая жаром печь, окружал нас песок.

Я поднял голову: в мареве тлела бледная головешка, готовясь разжечь пожар.

«Бог собрался нас метить, как скот», — подумал я.

— Что с тобой? — спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека.

— Ослеп.

Я приказал оставить в живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюхо, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На остальных — нагрузили пустые бурдюки, и я повел караван, отрядив несколько человек к колодцу Эль Ксур, о котором слухи были разноречивы.

— Если и Эль Ксур сух, — сказал я, посылая их, — вы умрете там, как умерли бы здесь.

Они вернулись через два долгих, медлительных дня, которые стоили жизни трети моих воинов.

— Колодец Эль Ксур — окно в жизнь, — сообщили они.

Мы напились и двинулись к Эль Ксуру, чтобы пить еще и еще и пополнить наши запасы воды.

Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к Эль Ксуру. Возле колодца росла колючка. Но первыми нам бросились в глаза не безлистные скелеты кустов, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но, когда приблизились к кустарнику, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали его и теперь шумно поднялись в воздух; похоже было: сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потемках! Улетать они не хотели и долго кружили над нами хлопьями черной сажки.

Мы убили три тысячи ворон, потому что у нас кончилось продовольствие.

Какое это было празднество! Люди рыли в песке печурки, набивали их сушняком, что пылал, будто сено. Аромат жаркого носился в воздухе. Дежурный отряд не выпускал из рук двадцатипятиметровой веревки — пуповины, питающей нас жизнью. Другой отряд обносил водой лагерь, словно обихаживал апельсиновый сад в засуху.

А я, по своему обыкновению, не спеша расхаживал по лагерю, глядя, как оживают люди. Потом я ушел от них и, затворившись в своем одиночестве, обратил к Господу такую молитву:

«На протяжении одного дня, Господи, я видел, как иссыхала плоть моего войска и как она ожила. Она была корой сухого дерева, но вот бодря и деятельна. Наше освеженное тело отправится куда только пожелает. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Я слышал, как они смеялись и пели. Войско, которое я веду за собой, несет с собой груз воспоминаний. Оно — узел множества жизней, текущих вдалеке. На моих воинов надеются, из-за них мучаются, отчаиваются, радуются. Войско мое не обособленность, оно — частичка огромного целого. И все-таки достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Я веду своих воинов завоевывать оазис. Они станут семенем для варварских племен. Они принесут наш уклад людям, которые о нем не ведают. Мои воины, что сейчас едят, пьют и живут, как счастливое



стадо, попавшее на плодородную равнину, изменят все вокруг себя — не только язык и обычаи, но и храмы, и крепости. Они перегружены силой, которая стронет с места вереницу веков. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Они об этом не знают. Им хотелось пить, они напились и счастливы. Но колодец Эль Ксур спас для жизни стихи, города и чудесные висячие сады, потому что я решил украсить садами пустыню. Вода колодца Эль Ксур изменила облик мира. Но стоит солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Те, что вернулись первыми, сказали: «Колодец Эль Ксур — окно в жизнь». Ангелы уже приготовились собирать мое войско, словно сухую кору, в корзины и опрокидывать их в Твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглой. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным-давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, — ячмень — равновесие грязи и света, способное напитать людей, — я увидел в ячменном поле незримый путь, не ведающий, каким повозкам он служит и куда ведет. Теперь я вижу: поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца Эль Ксур.

Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животах. Довольство их — животное довольство стада. Они сгрудились вокруг прокола иглой. В глубине его — колыханье черной воды, стоит vedру ее потревожить. Но когда вода эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в зерне пробуждается неведомая дотоле мощь и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады.

Но сбудусь я в своем народе, только если Ты будешь ключом свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле, и колодец Эль Ксур, и мое войско — лишь груда камней. Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх, к звездам».

## CLVII

Вскоре нас разглядывал город. А мы — мы видели лишь его небывалой высоты красные стены, они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито лишенной всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно не предназначенной для взглядов со стороны.

Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе из-за своих зубцов. Он распахивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбается тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, казалось, сами отдавались нам: так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора. Бродяга ты или завоеватель — величавые ворота и нарядная главная улица примут тебя по-королевски.

Но до чего же стало не по себе моим воинам, когда стены, вырастая по мере приближения, так откровенно и с таким каменным спокойствием отвернулись от нас, свидетельствуя, что на свете нет ничего другого, кроме этого города.

Первый день мы потратили на медленный обход его стен, отыскивая в них трещину, неровность, пусть заложенный, но вход. Ничего похожего. Мы были досягаемы для ружейного выстрела, но ни один не

потревожил мертвой тишины, хотя кое-кто из моих людей, не выдержав напряжения тревоги, вызываяще стрелял в воздух. И все-таки за этими стенами был город, он дремал, будто кайман, защищенный своей броней, и не снисходил до тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться.

С далекого холма, с которого невозможно было заглянуть внутрь города — города, заботливо скрытого стенами, мы увидели зелень, яркую и густую, словно кресс-салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватало глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня, иссушенная солнцем: так тщательно высасывал оазис воду только на свои нужды. Его стены, будто каска — волосы, спрятали в себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах от рая, изобильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен, будто кратер базальтом.

Когда мои воины поняли, что в стене нет ни единой щели, кое-кто из них ужаснулся. Ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принес в него вместе со своим багажом отравы чуждедальних обычаев. Ни один торговец не ввел в его обиход незнакомой вещи. Ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам казалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища, у которого все не так, как у других племен. Ведь девственность самых затерянных островов нарушали кораблекрушения, и всегда находится между людьми то, что подтверждает их родственность в человеческом и располагает к ответной улыбке. Но если бы это чудовище показалось нам, оно не имело бы облика.

Были среди моих воинов и те, что не пугались; им щемила сердце неизъяснимая, особенная любовь. Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котел, где вперемешку полощутся все народы, в котел, растопивший ледник в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов ее садов и обычаев!

Но все мы, и я тоже, перейдя пустыню, остановились перед непроницаемым. Ибо тот, кто противостоит тебе, открывает тебе дорогу в собственное сердце, открывает свою плоть твоему мечу, и ты можешь надеяться, что победишь его, полюбишь или погибнешь. Но что ты можешь против того, для кого тебя нет? Боль пронзила меня, и тут мы заметили вокруг глухой и слепой стены полоску песка белее, чем остальной песок, ее выбелили кости, свидетельствуя о судьбе чужестранных посланцев, она была похожа на пенный след на утесе, что оставляют набегающие одна за другой морские волны.

Вечером с порога моего шатра я смотрел на твердыню неприкасаемости, что высилась посреди моего лагеря, размышлял, и мне показалось, что город, который мы стремились завоевать, осадил и завоевывает нас. Если ты вдавливаешь твердое округлое зерно в рыхлую почву, вовсе не земля, окружившая его, взяла его в плен. Прозябнув, зерно возьмет верх над землей. Если за этими стенами, — думал я, — есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпка и печальна и забудит в нас неведомые нам чувства, если вдруг эти незнакомцы воспользуются своим сокровищем и рассыплют среди моих воинов свое богатство, я знаю, потом вечерами, в лагере, я услышу, как мои воины подбирают на своих гитарах, на которых не часто играют, мелодию, пленившую их сердца новизной. Мелодия эта изменит их сердце.

Победитель, побежденный, — думал я, — мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнет и раздавит его. Но если он хорошо обжит внутри и надежно выстроен — вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, — и если он вдруг заговорит, то вот он уже пустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки, подчинил толпу своей власти, и толпа последует за ним, увеличивая его силу.

Достаточно, чтобы в этих местах жил один-единственный мудрец, избравший для себя тишину и молчание и успевший сбыться, чтобы сила моего оружия истощилась, ибо он подобен зерну. Но как мне отыскать его, чтобы обезглавить? Он явлен лишь силой своего воздействия и существует в той мере, в какой существенно исходящее от него. Такова особенность жизни, что уравнивает себя с миром. Борьба ты можешь лишь с безумцем, который предлагает тебе утопии, но не с тем, кто размышляет и трудится над настоящим, потому что настоящее — вот оно, есть, такое, какое есть. Такова особенность любого творения, творец его уже покинул. Если с горы, куда я привел тебя, ты увидел, что все твои затруднения разрешены таким вот способом, а не иным, то как тебе от меня защититься? Ты ведь должен всегда быть где-то.

Вот кочевник, сокрушив стены, завладел королевским дворцом и ворвался к самой королеве. Бессильной королеве, потому что все ее слуги и воины перебиты.

Когда играешь в игру ради самой игры и вдруг допускаешь промах, то краснеешь, униженный, и хочешь его поправить. Хотя судьей тебе только ты сам, игра создала в тебе игрока, игрок возмутился. Остерегаешься ты и неверного движения в танце, хотя нет над тобой никого, кто был бы вправе упрекнуть тебя за ошибку. Поэтому, если я хочу взять тебя в плен, я не буду брать тебя силой или властью — я разбуду в тебе желание танцевать. Ты пошел туда, куда мне хотелось.

И поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высидил дверь и стоит грубиян грубияном с кровавым топором в руке, дымясь силой и мощью, пенясь безудержным хвастливым желанием удивить собой, — поэтому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомленного снисхождения. Удивлена она лишь совершенством тишины. Она не нисходит услышать шум и гвалт, как ты не снисходишь до работы мусорщиков, хотя не сомневаешься в ее необходимости.

Выдрессировать — значит научить пользоваться тем единственным путем, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил ее, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости. Собака следует инстинкту — не разуму. Танцор ведет партнершу, подчиняясь правилам игры, о них не думая. У них общий тайный язык. И точно такой же язык у тебя и у твоей лошади. Ты научил ее слышать твои движения.

Желание удивить королеву стало ахиллесовой пятой кочевника, инстинкт подсказал ему, что удивит он ее одним — тишиной: поступи он иначе, она станет еще отстраненней, разочарованней, — и он стал играть в тишину. Вот королева и начала менять на свой лад варвара, предпочитая свисту топора молчаливые поклоны.

Поэтому мне сейчас и показалось, что, окружив этот город-магнит, что притягивал наши взгляды, закрыв свои глаза крепко-накрепко, мы

навязали ему опасную роль, наделив благодаря нашему приходу той властью, какой обладают монастыри.

Я созвал моих генералов и сказал:

— Я завоюю этот город удивлением. Нужно, чтобы его обитатели о чем-нибудь нас спросили.

Мои генералы, умудренные многолетним опытом, мало что поняли из моих слов и недовольно зашумели.

А я вспомнил о притче, что рассказал мой отец собеседнику, который утверждал, будто только сила принуждает подчиняться сильным.

— Ты говоришь так, — отозвался отец, — и не боишься оказаться неправым, ибо если сильный подчинился, значит, подчинивший сильнее. Но представь себе купца сильного, спесивого и скупого. Он возит с собой целое богатство — зашитые в пояс бриллианты. И живет щедушный горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом, они из разных миров, говорят на разных языках, и все же горбун задумал присвоить себе бриллианты. Скажи мне, на какую силу рассчитывает горбун?

— Понятия не имею, — ответил собеседник.

— Как-то щедушный окликнул спесивого исполина, — продолжал рассказывать отец, — предложил чашечку зеленого чая, потому что на улице было уж очень жарко. Почему бы и не попить чаю с щедушным горбуном, чем, собственно, ты рискуешь, если твои бриллианты зашиты в пояс?

— Ничем не рискуешь, — согласился собеседник.

— Однако, когда они расстались, горбун ушел с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделать: он станцевал тот танец, который навязал ему щедушный.

— Что еще за танец? — поинтересовался собеседник.

— Танец трех костяных кубиков, — ответил отец.

И объяснил:

— Игра бывает сильнее того, что поставлено на кон. Ты — генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга. И все-таки по твоему приказу одна часть солдат ведет в тюрьму другую часть. Ибо значима не вещьность, а тот смысл, который ей придан. Когда бриллиант стал значим лишь как возможность продолжить игру в кости, он перекочевал в карман горбуна.

Генералы, окружив меня, возмущались:

— Как доберешься ты до этих горожан, если они не желают тебя слушать?!

— Как вы любите ветер слов, но гудит он без толку. Да, подчас люди отказываются думать, но слышать-то они могут!

— Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих посулов, если достаточно тверд душой.

— Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать! Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя — музыку. И если он зашел в неразрешимый тупик, а ты показал ему выход, он примет его. Или ты думаешь, что из ненависти к тебе или пренебрежения он сделает вид, будто ничего не замечает, и продолжит биться головой о стенку? Если ты подсказал игроку спасительный ход, который он безуспешно ищет, ты повел его, а он тебе подчинился, пусть даже он настаивает, что знать о тебе не знает. Если тебе протянули то, что ты ищешь, ты берешь. Неважно, ищешь ты потерянное кольцо или разгадку ребуса. Я протянул тебе кольцо. Я подсказал разгадку. Конечно, ты можешь отказать и от того и от другого из ненависти. И все равно ты уже послушался меня, ты не мечешься, ты сидишь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскочить и продолжать поиски...

Жители этого города чего-то хотят, ищут, жаждут, защищают, растят. Иначе вокруг чего воздвигли они свои стены? Если с помощью стен ты охраняешь скудный колодец, а я за стеной предложил тебе озеро, стены рухнут сами собой, так они смехотворны. Если ты оберегаешь свою тайну, а мои солдаты кричат о ней во всю глотку, стены рухнут сами собой, так они бессмысленны. Если ты воздвиг их, сторожа алмаз, а я усеял алмазами все вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой, — не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, оберегая искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать свое искусство.

Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть. Потом они станут меня слушать. Мне не потревожить их мирного покоя, огражденного укреплениями, военной трубой, — трубного гласа они не услышат. Слышишь то, в чем нуждаешься. Чем возвышаешься. Избавляешься от противоречий.

Они ощутят на себе мое воздействие, даже если меня не замечают. Самая великая истина заключается в том, что на свете ты не один. Ты не можешь пребывать неизменным в изменчивом, непостоянном мире. Я, и не прикасаясь к тебе, влияю на тебя, хочешь ты этого или нет. Я изменил твою суть, как ты можешь этого не заметить? Ты был хранителем тайны, я открыл ее всем, смысл твоей жизни переменялся. Ты танцуешь, читаешь стихи сам себе, я собрал насмешников и отдернул занавес, ты уже не танцуешь.

А если танцуешь, то, верно, ты сумасшедший.

Хочешь ты или нет, но смысл твоей жизни зависит от смысла жизни окружающих. Хочешь ты или нет, твой вкус зависит от вкуса окружающих. Твой поступок — очередной ход в игре. Шаг в танце. Я изменил игру или танец, ты изменил поступки, поступь.

Ты построил стены, играя в одну игру, ты их разрушишь, начав играть в другую.

Потому что жив не вещностью — смыслом, который ей придан.

Я накажу этих горожан за высокомерие, слишком уж они положились на свои стены.

Единственная твоя крепость — мощь связующих нитей, они создали тебя, ты им служишь. Мощь семечка оберегает кедр, он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлешься на прочность его коры, но и кора — порождение семечка. Корни, ветви, кора — так проявило себя семечко. Зато зернышко ячменя слабосильно, ему не выстоять против посягательств времени.

Но вот передо мной человек — глубоко укоренившийся, устойчивый, прочный, напряженный силовым полем, он приготовился расцвести, подчинившись незримым, но явственно ощущаемым силовым линиям. О нем я скажу: крепость его неуязвима, время не истирает ее — упрочивает. Время у него на службе. И что за важность, если на взгляд он гол.

Что бережет панцирь, если кайман мертв?

Так, разглядывая город противника, заключенный в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. «Кто из нас поведет танец? — думал я. — Опасно в пшеничное поле бросить хоть один плевел: плевел сильнее пшеницы, неважно, много ли он дает ростков и каковы они на вид. Твое множество в семени. Пусть время развернет тебя, тогда посчитаем».

## CLVIII

Долго я размышлял о крепостных стенах. Настоящая крепость — ты. Вот почему мои солдаты скрестили перед тобой сабли. Ты не прой- дешь. У льва нет панциря, но удар его лапы подобен удару молнии. Он прыгнул на твоего быка и распахнул его перед тобой, будто шкаф.

Ты согласен со мной и упомянул о слабости ребенка; в будущем он изменит мир, но в первые свои дни подобен дрожащему пламени свечи. И я вспомнил, как умирал малыш Ибрагима. Когда он был здоров, улыбка его была для всех подарком. «Иди к нам!» — звали его. И он подходил к старику. Улыбался. Старик светлел. Старик трепал его по щеке, не зная, что же ему сказать, — ребенок сродни зеркальной гла- ди, от нее кружится голова. Сродни распахнутому окну. Перед ребен- ком всегда робеешь, словно он всезнающ. Так оно и есть, в нем дышит дух, который ты потом иссушишь. Из трех камешков он построит мор- ской флот. Старику не увидеть в малыше адмирала, но властность его он чувствует. Сын Ибрагима — пчела, что повсюду собирала свой мед. Все для него становилось медом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты приостанавливался, пытаясь понять, чем же он тебя одарил. Словом этого не выразить. Несказанные эти дары ничьи, они сродни весеннему солнцу, что хлынуло вдруг — и в ответ засверкало море. Благоговением отозвалась душа моряка. Будто луч славы на миг осенил корабль. Ты скрестил на груди руки — ты вливаешь. Так улыбался и малыш Ибра- гима, чудесная случайность на твоем пути, которую ты не умел, не знал, как удержать. Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но богат- ство его ты не рассмотрел. И сказать ничего не можешь. Опахала его ресниц поднимались и опускались, будто открывались и закрывались окна в иной мир. Он молчал и учил тебя. Учит не говорящий — направ- ляющий. И тебя, старого коня, вел он, словно юный пастух, в заповед- ные луга, о которых ты ничего не мог сказать, но вдруг чувствовал, что напоен, сыт и утешен. И вот ты узнал: луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все стар- ухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, баюкали, обмахивали. Так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать неприступной, раз все горожане заделались солдатами и обороняли свою твердыню от смерти. Не говори мне, что болезнь ребен- ка — борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко- далеко лекарство, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец бо- лезни танцуют всадники, мчась по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых. Когда напильсь из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку у смерти. Да, конечно, ты видишь только отрешенное, потное лицо ре- бенка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади.

Ребенок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе мощной армии.

Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золотоискателей вокруг золотой жилы, солдат вокруг капитана, я понял: они стали одним целым, они — мощь и сила; словно семечко, тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. Не подозревая об этом, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребенку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли, оно упорядочивает их и превращает в кору — крепостную стену кедра.

Как сказать о семени — «слабое», если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могучности, кулакам и зычному голосу великана? Он силен лишь на этот короткий миг, правда его мгновенна. Ты позабыл о времени. Время укореняет тебя. А громила? Он уже обречен незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка. Ребенок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребенка. Но не станет. Что за опасность — ребенок? Но ты увидишь, как ребенок поставит ногу на голову великана, сокрушив его.

## CLIX

Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого «сейчас», это неправда, и ты закрепил в своем языке кажимость. Как всегда, ты позабыл о времени. Конечно, если ребенок разозлит великана, великан уничтожит ребенка. Но ребенок играет в другие игры, не его дело злить великанов, ему это не интересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно. А еще чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нем. Потом наступает время творчества, и ребенок изобретает пращу. Или становится больше и сильнее великана. Или совсем уже просто: ребенок начинает говорить, к нему стекаются люди, они для него надежный щит, он поведет их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться!

Если в поле пшеницы я увижу один плевел, знаю: поле побеждено. Знаю: побежден деспот, войско его и жандармы, если где-нибудь в его царстве подрастает ребенок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, которая по-иному упорядочит мир, взяв его будто в тугую, будто в железную раму (я вижу, силовые линии уже готовы), знаю, что эта картина, это царство развалились и лежат в руинах — храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося: он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень. Ствол снес купол, вышибив ключ свода. Здесь отныне над обращенной в прах вещностью царит дерево, вытягивая из нее соки, питая свой дальнейший рост.

Но я знаю: придет час — и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.

Чем ты станешь, когда время развернет тебя? Я не знаю, каков город, укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился на накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей. Бродит безоружным. Семя это еще не посажено в землю, оно не знает своей силы. Глубинные воды Эль Ксур возродили мое войско. Мы — семя, спасенное Господом. Кто сможет противостоять нам на нашем пути? Нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты — крепость — сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку крепость, — крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен: дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе одрябло.

## CLX

— Стало быть, — думал я, — дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти — значит, я незыблем. Но панцирь мертвого каймана уже не назовешь крепостью.

Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр.

Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял: смысл языка совсем не в самих словах. Он передает тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу, она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова, подобные семенам, они способны втягивать землю и растить кедр. Но ты можешь посадить и оливу, у тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр, тем мощнее гудение ветра в смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что магией хохота газель превращается в гиену? Гиена съедает газель, кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает неверов. Но что могут слова, если не служат языку, способному вместить?

Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты — мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя — язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли — благодаря кедру, она становится гудением ветра.

И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом, заботясь, чтобы ты сбылся?

Всякий раз, когда я вижу, что усилия человека действительны, я не воздаю хвалу громоханью его фанфар: с таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать; не хвалю его жандармерию — жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мертвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутком — и только. Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительны сони. Действенность усилий я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка, я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой, плодотворной целостности, где оно, лицо чудесной мраморной статуи, — ты смотришь на него и становишься иным.

## CLXI

Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущие в сгустившейся мгле костры моих бивуаков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит; войско мое — мощь пустившегося в путь семечка, город — мощь накрепко закрытой пороховницы, войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину, она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующее, я ничего не знаю о ней и в потемках ищу признаки таинственного возрастания — не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо все вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит



оружие. Но ты, ты — корабль, плывущий по реке времени. Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера, он подтолкнул вперед все вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество; ночи, затягивающей раны, помогающей подниматься сокам, привычно шагать дозорному; ночи, отданной в распоряжение слуг, потому что хозяин лег отдыхать. Ночи, сглаживающей ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я — победитель — откладываю до завтра свои победы.

Ночь гроздей, ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы. Ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими. Ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна. Спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров. Спит генерал, сделав главным дозорного. Спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь переданной в надежные руки власти и приостановленных дел.

И вместе с тем время обманов. Мародеры ночью нагружаются добычей. Риги вспыхивают огнем. Предатели завладевают крепостью.

Ночь криков, что будят эхо. Ночь подводных камней для корабля. Ночь видений и чудес. Ночь пробуждения Господа — Господа-тата, ибо любящий всегда дожидается, когда любимая откроет глаза.

Ночь, когда слышится хруст суставов. По ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягивается незримый ангел, заключенный в плоть моего народа, и придет день, когда он освободится. . .

Ночь, обогащающая поля семенем.

Ночь терпения Господа.

## CLXII

Ты говоришь мне о скромной, непритязательной жизни в мирном семейном кругу, с мирными радостями и добродетелями, домашними праздниками и заботливым пестованием детей — ты строишь воздушные замки, мой друг.

— Я рад за тебя, — отвечу я. — Но скажи, что ты будешь считать добродетелью? Чему радоваться? Какие чтить божества? Живя по-твоему, каждый живет в особицу, это дерево питается соками не так, как другое. А подобных себе — где же ты их сыщешь?

Ты говоришь, все хотят одного — жить мирно. . . Согласен. Но посмотри, ведь вы уже ведете борьбу, охраняя незабываемость каждый своего уклада, желая избежать любой случайности, любой грозящей ему опасности. Разве дерево — не борьба семечка?

— Но когда наконец мы достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность. Устоятся и нравственные правила. . .

— Согласен! Свершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невестой, юной она умерла. Умерла с улыбкой. И будет улыбаться вечно, навек оставшись прекрасной, не узнав старости. . . Но твое мирное племя — оно или завоюет мир, поглотив всех своих врагов, или само растворится во враждебном мире. Пока оно живо, оно смертно.

Ты ошибаешься, считая, что можно жить и оставаться неизменным, что долговечность твоей картины сродни воспоминанию об умершей возлюбленной.

Ты возражаешь мне:

— Если картина эта полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, она обретает долговечность, передаваясь

от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей. . .

— Что ж, — согласился я, — если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным медом. Вскарабкавшийся на вершину горы с полчаса радуется пейзажу, упивается одержанной победой. В его памяти живы камни, по которым он карабкался вверх. Но воспоминание быстро меркнет. И пейзаж теряет интерес.

Торжества, конечно, помогают оживить воспоминания.

Празднуя, ты словно бы оживляешь вновь трудности и радости возникновения дома, деревни, веры, воскрешаешь в памяти затраченные усилия, принесенные жертвы. Но мало-помалу стирается власть торжества, праздник кажется тебе обветшалым, ненужным пережитком. Так случится, уверяю тебя, случится неизбежно. Твое счастливое племя станет племенем оседлых и забудется в безжизненном сне. Если ты понадеялся на магию пейзажа, сел и стал любоваться, то рано или поздно соскучишься и почувствуешь, что не живешь.

Откровение веры наполнило тебя жизнью. Ты решил: это тебе подарок. Но что делать с подарком? Рано или поздно ты убираешь его в кладовку. Когда радость погасла, сама вещь оказывается бесполезной.

— Неужели мне никогда не отдохнуть?

— Отдохнешь там, где в помощь все тобой накопленное. В мирном покое смерти, когда Господь соберет свою жатву.

## CLXIII

Неизбежно сменяются для человека времена жизни.

Друзья твои непременно от тебя устанут. И пойдут к другим, чтобы пожаловаться на тебя. Пройдет усталость, и они вернуться, простят тебя, и будут снова тебя любить, и снова будут готовы рисковать своей жизнью ради твоего спасения.

Если о вероломстве твоих друзей тебе расскажет посторонний, что пришел к тебе не ко времени и передал то, что тебе совсем не предназначалось, что было тоской по тебе, ты разгневаешься, выйдешь из себя и, когда твои друзья, вновь тебя полюбив, вернуться к тебе, ты их прогонишь.

Но если ты и сам то любил, то не любил своих друзей, ты обрадуешься возвращению, обрадуешься, что тебе возвращена благосклонность, и поможешь их благосклонности, устроив праздник.

А почему тебе, собственно, не нравится, что в человеческой жизни сменяется весна — летом, лето — осенью? Ведь и в тебе в течение одного только дня столько сменится зим и весен и все, что питает тебя, завися от аппетита, то желанно, любимо, то безразлично, то отвратительно, разве не так?

Нет, не в человеческих силах всегда быть сытым одним и тем же пейзажем.

## CLXIV

Вот и настало время поведать тебе, что же такое человек. В Ледовитом океане кочуют льдины величиной с огромную гору, но на поверхности воды — лишь крошечный гребешок, играющий на солнце. Все остальное дремлет в глубинах. Слова высвечивают в человеке лишь крошечный гребешок. Веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. Нарбатывала понятия, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает

тебе доступ к еще неведомому. Он говорит: «ревность» — и обозначает разом целый пучок взаимозависимостей; ревностная страсть к женщине помогает тебе ощутить и томление по воде в пустыне, и множество иных жажд. И я становлюсь для тебя яснее, яснее мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума. Имей в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, — то, что вспышкой света озарит еще неведомое, выхватив его из немотствующей тьмы. Ты сделал ощутимым дотоле неизвестное, и твой народ устремился к нему. Мы ведь не ведаем, чего с такой настоятельностью алчем. Но я принес тебе что-то, и ты насытился. А логик смотрит на нас с тобой как на безумцев, логика вчерашнего дня помешала ему нас понять.

Упорядочить подземное, проторить для него пути к сознанию — вот в чем я вижу силу, цель, смысл своей крепости. Ибо нужды твои и желания бессвязны и противоречивы. Тебе нужен мир и нужна война, правила игры, чтобы радоваться игре, и свобода, чтобы, играя, наслаждаться самим собой. Изобилие, чтобы почувствовать удовлетворение, и жертвенность, чтобы обрести в ней себя. Ты завоевываешь добычу ради завоевывания и наслаждаешься запасами ради запасов. Любишь здоровье ради ясности разума и любишь одолевать жаждущую плоть, совершенствуя дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к ранам и стремление ранить самолюбивого из сочувствия к человеческому. Желание растить любовь, оградив ее незыблемой верностью, и знание, что любовь существует, несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости и неравенства для восхождения вверх. Из хаоса своих нужд и желаний, из этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастишь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и вызволило из тебя воистину человека? Какую часовню станешь ты строить из своих камней?

Мощь моей крепости — вот то, что я протягиваю тебе как семечко. Вот эту высоту ствола, вот это расположение ветвей. Дерево тем долговечнее, чем плодотворнее распоряжается соками земли. Тем долговечнее царство, чем лучше усваивает то, что ты из себя нарабатываешь. Но для чего крепость из камня, если она панцирь мертвого каймана?

## CLXV

— Они охотятся за вещами, как свинья за трюфелем, — говорил отец. — Вещи созданы для охоты. Но сами вещи тебе не в помощь, потому что живешь ты смыслом, которым их наделили.

Смысла вещей не найдешь, не добудешь охотой, его нужно нарабатывать.

Вот мы и нарабатываем его нашими беседами.

— Что кроется за этими событиями? — спросили моего отца.

— Картина, которую я творю, — ответил отец.

Ты всегда забываешь о времени. За то время, пока ты доверял фальшивой сенсации, она уже в чем-то определила тебя, трудилась, как зерно, пустила корни. Ты разуверился в ней, но расти уже будешь по-другому. Вот я убедил тебя в чем-то, и сколько ты нашел подтверждений моей правоте, совпадающих фактов, красноречивых подробностей. Я предупредил: жена тебе неверна. И ты увидел: она кокетлива, и это правда. Уходит из дома когда вздумается, что тоже правда, хотя до сих пор ты всего этого не замечал. Затем я скажу, что все выдумал, но моя выдумка пошла тебе на пользу: она была

новой точкой зрения и открыла тебе глаза на реально существующие факты.

Я сказал: горбуны переносят чуму. Ты ужаснулся, сколько вокруг горбатых. Раньше ты не замечал их. И чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько увечных живет у нас в городе. Ничего другого я не хотел.

## CLXVI

— Я в ответе за каждый шаг каждого человека, — говорил отец.

— Но у тебя есть предатели и трусы, — возразили ему. — Что же, ты трусишь и предаешь?

— Да, моей трусостью трусит трус. И моим предательством предает предатель.

— Как ты можешь предать сам себя?

— Факты я представил некой картиной, они не согласились с ней, картина моя, я за нее в ответе, я сделал ее явью, а она убедила их в правоте моего врага. Значит, я сослужил службу своему врагу.

— А каким образом ты оказался трусом?

— Трусит тот, — отвечал отец, — кто отказывается идти вперед, чувствуя, что беззащитен. Трус кричит: «Река уносит меня!». Смелый чувствует свои мускулы и плывет.

— Я называю трусом и предателем того, — заключил отец, — кто винит других за ошибки и жалуется, что враг слишком силен.

Никто не понял его.

— Как-никак, есть множество обстоятельств, и за них мы никак отвечать не можем... — сказали ему.

— Нет, таких не существует, — сказал отец.

Отец взял одного из гостей за руку и подвел к окну:

— Скажи, что тебе напоминает это облако?

Гость долго присматривался.

— Спящего льва, — наконец сказал тот.

— Покажи его своим друзьям.

Друзья гостя полюбовались в окно на спящего льва, которого тот показал им.

Потом отец отвел их всех в сторону и позвал к окну совсем другого человека.

— На что похоже это облако? — спросил он.

Гость долго всматривался в него.

— На улыбающееся лицо, — наконец сказал он.

— Покажи его своим друзьям.

И друзья увидели улыбающееся лицо, на которое показали им пальцем.

Затем отец собрал всех гостей вместе и предложил:

— Поговорите-ка об облаке, что висит за окном.

И гости ожесточенно заспорили: так очевидно для одних было улыбающееся лицо, а для других — спящий лев.

— Факты, — сказал отец гостям, — бесформенны, словно облако; вожатый, ваятель, мыслитель придает им форму. Формы все одинаково достоверны.

— Относительно облака мы с тобой согласны, — отвечали ему, — но относительно жизни... Утром на поле боя ты видишь, что войско твое ничтожно по сравнению с армией противника. Разве в твоей власти изменить ход битвы?

— В моей, — отвечал отец. — Облако занимает пространство; события, факты — время. Если я озабочен, чтобы моя картина мира вос-

торжествовала, я должен печься, чтобы время ей шло на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка. А оно есть уже и сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Созидание не морфий, что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать — значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется вверх дерево.

Но гости не понимали его.

— Логика событий. . .

Отец мой разъярился:

— Тупицы! — рявкнул он. — Холощенный скот! Историки! Логики! Критики! Вы похожи на трупных червей, вам никогда не понять, что такое жизнь!

Он повернулся к премьер-министру.

— Король, наш сосед, надумал объявить нам войну. Мы не готовы к ней. Создать, сотворить — вовсе не значит за один день собрать войско, которого нет. Надеяться на это — ребячество. Нужно создать в короле-соседе того, кто захотел бы нашей любви.

— Не в моей власти сделать это.

— Я знаю одну певицу, — продолжал отец. — Когда я устаю от тебя, я всегда думаю о ней. Как-то вечером она пела нам об отчаянии преданного и нищего влюбленного, что не смеет признаться в своей любви. Я видел: наш главнокомандующий плакал. Хотя он богат, спесив и насилует девиц без счета. На десять минут она превратила его в робкого ангела, и он пережил все муки застенчивости.

— Я не умею петь, — ответил премьер-министр.

## CLXVII

Затевая спор, ты невольно огрубляешь человека.

Например, народ сплочен вокруг своего короля. Король ведет свой народ к цели, но тебе кажется, что она недостойна человека. И ты вступаешь в спор с королем.

Многих ты убедил в своей правоте, но они кормятся службой королю. И пока не появился ты со своей точкой зрения, у них была своя и с их точки зрения можно было любить короля или терпеть. Ты поднял их на самих себя, против хлеба для их детей.

Большинство из них последует за тобой, но с усилием, не чувствуя себя вправе посягать на короля, поскольку есть основания и любить его, и терпеть: ведь и в самом деле, долг этих людей — кормить свое потомство, а когда колеблешься между одним долгом и другим, на сердце беспокойно. Когда человека одолевают сомнения, руки у него опускаются. Разъедаемый противоречиями, он садится и сидит, дожидаясь, когда же они минуют, так и умирает среди тех же противоречий. А если ты еще и прибавишь противоречий своим согражданам, они с тоской будут ложиться вечером в свою постель и с отвращением вставать. (Воодушевляет освобождение от пут. Освободить человека — значит помочь ему себя выразить и принять. Значит научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему единую суть во всех его разноречивых устремлениях.)

Кое-кто не последует за тобой вовсе. Эти будут вынуждены оправдаться в собственных глазах, ибо обличаешь ты короля отнюдь не без оснований. Ты принудишь их найти другие основания, которые будут способны потягаться с твоими. Такие всегда найдутся, ибо рассудок ведешь ты — и ведешь куда захочешь. Тебя ведет только дух. И вот

они всё определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов, тебе теперь к ним не подобраться.

И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действия. Он призвал сказителей, историков, логиков, учителей, казуистов и толкователей со всех концов своего царства. Тебя перетолковали, исказили и превратили в отвратительное чудовище, ибо что-что, а это всегда возможно. Обнародовали твою низость, потому что всегда возможно и это. И возникла еще одна категория людей — прочитай о тебе, они не знали, что и думать, но, будучи людьми добросовестными, порядочными, они поверили портрету, созданному логиками, портрету, на который ты напросился. Их затоснило от отвращения, и они сплотились вокруг короля. Король вновь обрел для них достоинство истины.

Вот почему никогда не нужно бороться «против», бороться нужно «за». Человек ведь не так прост, как тебе кажется. Даже роль — и тот отчасти на твоей стороне.

## CLXVIII

Ты говоришь: «Он — мой сторонник, мы с ним можем сотрудничать. А этот всегда возражает мне, естественно, что он — мой противник, с ним я могу только воевать».

Поступая так, ты растишь и укрепляешь своих врагов.

А я говорю тебе: «враг» и «друг» — слова, и ничего больше. Что-то они, конечно, определяют и помогут тебе разобраться, если встретитесь вы на поле боя, но невозможно уместить человека в слово, у меня есть враги, которые мне ближе друзей, враги, которые мне всех нужнее, враги, которые меня чтят больше друзей. Я влияю на человека независимо от того, что он говорит. Я бы даже сказал, что влияние мое ощутимее для врага, чем для друга: идя в одну сторону, мы реже сталкиваемся, реже говорим, тогда как враг — он идет против меня и не упустит ни одного моего движения, ни одного слова — он от них зависит.

Разумеется, слышит меня каждый по-своему, ибо каждый несет унаследованный груз прошлого, который никому не под силу изменить. Например, по моей земле течет река, и рядом высится холм, обороняя мою землю; я не горюю, что есть холм и река течет на юг. Не станет горевать об этом и завоеватель, если он в трезвом рассудке. Есть холм — я им пользуюсь, есть река — я пользуюсь рекой. Хотя, может быть, было бы куда лучше, если бы холм располагался в другом месте, и мощный союзник был бы выгоднее мне, чем сильный противник. Но что сожалеть попусту? Сожалея, что не родился в другое время, в другом месте, — ты даже не мечтаешь, ты набиваешь себя гнилью. Есть только то, что есть, и только с существующим я должен считаться — и вот я влияю на друга и на врага. Влияние мое на друга более или менее положительно, влияние на врага более или менее отрицательно. Делом или силой я стараюсь уравновесить весы, убирая груз с одной чаши, добавляя к другой.

Но ты принялся разбирать и судить всех с точки зрения нравственности; для дела, которым ты занят, нравственность ни при чем — однако ты отстранил обидчика, оскорбителя, предателя, вынуждая их и завтра обижать тебя, оскорблять и предавать. А я — я поручу предательство тому, кто меня предал, роль его в шахматной партии определится, и я могу опереться на него, готовясь победить. Разве знание, каков он, мой противник, — плохое оружие? И если победа моя неоспорима, разве не будет у меня времени его вздернуть?

## CLXIX

Ты упрекнул жену:

— Как это так? Я ждал тебя, а тебя не было?!

— Не было, потому что я зашла к соседке, — отвечает жена.

И правда, она зашла к соседке.

Ты упрекнул врача:

— Как это так? Тебя не было, когда спасали захлебнувшегося ребенка?!

— Не было, потому что я сидел у больного старика, — ответит тебе врач.

И правда, он лечил старика.

Ты упрекнул одного из своих сограждан:

— Как это так? Ты не служишь нуждам своего царства?!

— Я служу другим его нуждам, — ответит он тебе.

И правда, он служит ему по-своему.

Но имей в виду: за людскими поступками и делами ты не видишь, как растет дерево. Брошенное в землю семечко задало работы и твоей жене, и врачу, и слуге царства. С их помощью уже создается то, что ты намеревался создать. Для кузнеца, чей символ веры — ковка гвоздей, неважно, какие ковать гвозди. Может он ковать гвозди и для корабля. А ты, отойдя чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и увидишь не беспорядок, а растущий корабль.

Нет в жизни правоты, нет неправоты, каждый, кто живет жизнь, ее не знает, ибо нет языка, который бы ее вместил. Каждый судит о ней с помощью своего обособленного наречия.

Жизнь не упускает возможностей. Всюду находит себе пищу, распространяется, завоевывает. Живя логикой своей ступеньки, можно и забыть, что живешь. (Дом для женщины — трата времени, а не осуществление себя.)

Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправданно. Оно может быть и благородным, и низким, смотря как на него взглянуть. Может быть утечка жизни в человеке, человек может выпасть из жизни. У него могут появиться благородные основания не следовать общему течению жизни. Благородные и логичные. Но значит это одно: жизнь слабо тянет его за собой. Или, например, кузнец бросил ковать гвозди и отправился ломать камень. Он предал корабль.

Что мне в твоих доводах, если у нас нет больше общего языка?

Князь теперь говорит одним языком, строители — другим, прорабы — третьим, кузнецы — четвертым, рабочие — пятым.

Ты оплатил ваятелю статую. Заплатил ему дорого, и он почувствовал благодарность, не за воздаяние — за признание его заслуг. Статуе нет цены, как нет цены жизни, которой рисковали, — сколько бы ни заплатить, не переплатишь. Статуя стоит того, чтобы быть купленной.

Заплатив деньги, ты купил не только статую — душу скульптора.

Хорошо, если почтенным кажется тебе занятие, которым ты живешь. Твоя работа — хлеб для твоих детей. Как оно может быть низким, раз превращается в детский смех? Посмотри, он служит деспоту, но деспот служит детям. Поступки человека двоятся, не можешь и ты однозначно судить о нем.

Ты можешь осудить лишь того, кто предал жизнь, она позвала его за собой, но он среди множества шагов не выбрал того шага, что ведет к ней.

Под палящим солнцем человек кладет на камень камень. Такая у него работа. Столько ему за нее платят... Ох, как он от нее устает...

Усталость — вот все, что он получает, укладывая камни, он принял свою усталость и не ропщет. Не в чем его упрекнуть, если только он строит не храм.

Ты возвращивал любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней.

Ибо жизни нужны питающие соки, чтобы расти и облагораживаться.

Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно пережить немало людей. Самых разных. Ты словно бы узнаешь, что же такое корабль, при помощи гвоздей, парусов и досок.

Разуму жизнь недоступна. Суть ее в том, чтобы длиться и распространяться. Превращаясь в действия и поступки, она сопрягается с разумом. Но не сразу, а постепенно. Иначе как выжить ребенку? Он так слаб перед лицом мира! Кедру не выстоять против пустыни. Кедр рождается вопреки пустыне и живет, ее поглощая.

Никогда не руководит тобой рассудок. С помощью рассудка ты оправдываешь свое поведение. Не ищи разума и в поведении своего противника, он ничуть не разумнее тебя. Не благодаря логике твое творение распространяется в пространстве, длится во времени. Почему распространяется оно так, а не иначе? Почему вожатым стало одно, а не другое? Случайность? Но почему случайности не расточили дерева в прах, а укрепили его против весомой тяжести мира?

Обдумыванием ты порождаешь то, чего еще не было. Ты определил и, значит, помог родиться. Порожденное тобой ищет пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Оно трудится, чтобы сделать собой чужеродное. Тебя восхитили сокровища этого человека. И он почувствовал себя богатым, хотя до этого не ощущал своих богатств, занятый накоплением своего сокровища. Но ты увидел, назвал, и он стал богачом. Не перекрещивай человека в иного, чем он есть сейчас. Видно, есть настоятельная необходимость, против которой тебе ничего не поделать, быть ему таким, а не другим. Но ты можешь изменить направление его витальной силы, ибо человек переполнен жизнью, в нем есть всё. Твое дело — найти в нем то, что тебе по нраву. И прорисовывать, не спеша, пока твой рисунок не станет очевидным для всех — и для этого человека тоже. Увидев его, он согласится с ним, потому что соглашался и вчера, но равнодушно, никак ему не помогая. Теперь портрет обозначился, получил имя и заживет жизнью любого живого существа, ища пищи, стремясь утвердиться и вырасти.

Хозяин задает рабам и работу, и неработу. Жизнь тоже вынуждает тебя работать то больше, то меньше. И если тебе понадобилось, чтобы работа вытеснила досуг, скажи человеку: «Как ты мудр, взваливая на себя работу, несмотря на тяжесть ее и горечь, только благодаря работе обретаешь ты собственное достоинство, ибо она — возможность творчества. Как ты прав, пользуясь любой возможностью творить! И что за беда, если начальник у тебя такой, а не этакий. Не горюешь же ты, что родился теперь или что родился среди холмов...»

Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к работе.

Или ты хочешь, чтобы было отдано предпочтение досугу. Ты скажешь:

— Ведь ты из тех, кто, вопреки принуждению и тирании куска хлеба, отдает работе лишь ту необходимую крупицу времени, без которой бы умер. Как мужественно ты поступаешь! Как ты мудр, ведь



если хочешь избавиться от деспотизма начальника, ты заранее должен чувствовать себя победителем. Отказываясь от соглашательства, ты спасаешь душу. Не житейской логике распоряжаться творчеством!

Ты не потребовал, чтобы человек работал меньше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к бунту.

Поэтому нет у меня врагов. Во враге я выискиваю друга. И враг становится моим другом.

Я беру все лоскуты разом. Не заменяю одни другими — сливаю с помощью нового языка. И та же самая жизнь движется по-иному.

Что бы ты ни принес мне из нажитого, я сочту его добротным и подлинным. Печалит картина, которую ты сложил из него. Если моя уложит его лучше — моя картина, которую я создал своим творческим произволом, — ты будешь моим.

Потому я и говорю: ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись: есть и еще колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живешь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты строишь вокруг меня, я стал семечком внутри твоей крепости.

## CLXX

Я осуждаю в тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать и хулить себя, равняясь на дурного танцора? Гордость — это любовь к совершенному танцу.

Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, танцору. Ты набираешься смысла, танцуя изо дня в день, но то, что ты стал танцором, ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твое дело танцевать, пока жив, — сбываются только в смерти. Тщеславица исполняется довольства и останавливается посреди дороги; залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя ей нужны только овации. Мы презираем только самодовольство, мы — вечные номады на пути к Господу, ничто в нас самих нас не насытит.

Тщеславица остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, нечего отдать, она — труп.

Смирение сердца требует от тебя не приниженности — а открытости. В ней ключ к взаимобменам. Иначе как сможешь ты отдавать и получать? «Отдавать», «получать» — я не умею отделить одно от другого, то и другое — единый путь. Смириться — значит быть послушным людям, значит слушаться божества. Камень подчиняется не камням — храму. Служа, служишь созиданию. Мать смиренна перед ребенком, садовник — перед розой.

Я, король, не стыдясь, послушаюсь работника. В работе на дворе он смыслит больше короля. Я благодарен ему за науку, моя благодарность не роняет меня в его глазах. Ибо естественно, что умение трудиться приходит от работника к королю. Но я ненавижу тщеславие. И запрещаю ему себя славословить. Ибо естественно, что суждение, что хорошо и что плохо, приходит от короля к работнику.

Ты встречал в жизни женщин, что сотворили из себя кумира. Чего ждет такая женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть ее — для нее почесть. Но дороже почестей жертва: твое отчаяние будет для нее куда слаще.

Она пожирает, не насыщаясь. Прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория. Жадна и всегда готова захватить добычу, не сомневаясь, что грабежами добывают счастье. Но наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами — значит проторить с их помощью дорогу к другому, а не заманить ими в плен.

Твои чувства для нее — заклад, своих она на тебя не потратит. Лишив тебя воздуха, обделив пламенным горением, она тщится тебя уверить, что лишения и есть знак твоей причастности к высокой любви. Но это знак ее неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если ваятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь обходится без проявления любви, под предлогом полноты, она — слово из словаря. Нет, если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит — ты любишь свою землю, если как от ненужного избавляешься от мельницы, отары, дома? Как различить лицо любви, что мелькает за полотном жизни, если нет полотна, если нечем его прорисовать?

Откуда взяться храму, если нет зримого уклада для камней?

Что значит любовь, если нет осязаемого уклада любви? Душу, дерево я обрету постепенно, медленно, упорядочивая землю при помощи того уклада, которому ее подчиняют корни, ствол, ветви. И вот оно, дерево. Это дерево, а не другое.

Тщеславица пренебрегла ответными дарами, пренебрегла собственным рождением. В любви она искала добычи, которую можно захватить. И любовь перестала быть любовью.

Ей кажется, что любовь — подарок, который можно припрятать. Что если ты любишь ее — значит, она заполучила тебя в свое распоряжение. Она запирает тебя в себе, ей кажется: она обогатилась. Но любовь не алмаз, которым можно завладеть, любовь — обязательства друг перед другом. Плод взаимно принятого для исполнения уклада. Добротность дороги, по которой ездят туда и обратно груженные повозки.

Тщеславице никогда не родиться. Корни рождения в связующих нитях. Она пребудет бесплодным, бессильным зерном, иссыхая душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет ее старость среди тщеты ее добычи.

Потому что ты ничего не в силах присвоить. Потому что ты не сундук. Ты — узел, связавший воедино собственную разноречивость. Ты — подобие храма, придающего смысл камням.

Отвернись от нее. У тебя нет надежды сделать ее красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением ее скипетра, короны, знаком ее власти. Чтобы залюбоваться алмазом, мало одного алмаза, нужно еще смиренное, благодарное сердце. Эта не любитесь, завидует. Восхищение приуготовляет любовь, зависть приуготовляет пренебрежение. Во имя того алмаза, которым она наконец-то завладела, она будет пренебрегать всеми остальными алмазами земли. И ты еще ненамного отдала ее от мира.

Не приблизится она и к тебе, твой алмаз вовсе не дорога от тебя к ней и от нее к тебе, он — дань твоего рабства.

Вот почему каждый дар, каждая жертва делают ее еще более жестокой и одинокой.

Скажи ей:

«Да, я спешил к тебе и радовался встрече. Исполнял твои прихоти. Одаривал подарками. Сладостью любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал тебе право на все, чтобы почувствовать себя связанным. Мне нужна связь, корни и ветви.»

Я позволил тебе распоряжаться собой, чтобы быть тебе в помощь. Так распоряжаются мной розы, которые я выращиваю. Я в подчинении у моих роз. В служении моем нет ничего оскорбительного для моего достоинства. Им я обязан моей любви.

Я не боюсь обязательств, напротив — прошу их для себя. По своей воле выбрал я эту дорогу, ибо ничто в мире не понуждало меня. Но ты ошиблась, когда сочла мое служение зависимостью, зависим я не был. Я был великодушен.

Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе. Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость. И я от тебя ухожу. Любовь моя послужит смиреннице, озарив светом ее жизнь. Я в помощь только той, что в помощь моей любви. Ухаживая за хромцом, я не подолщаюсь к нему, я служу его здоровью. Мне нужен путь — не стена.

Ты требуешь не любви, а обожествления. Ты перегородила мне дорогу. Ты встала на ней как кумирня. Мне нечего делать с ней. Я пойду по другой тропе.

Я не божок, которому нужно кадить, и не раб, которому нужен хозяин. Кто бы ни притязал на меня, я отстраню его. Я не вещь в закладе, и ни у кого нет закладной на меня. Нет и у меня ни на кого подобных притязаний. Та, что любит меня, дарит, не считая.

У кого ты купила меня, чтобы считать собственностью? Я не твой осел. Может, Господь и обязывает меня хранить тебе верность. Но перед тобой у меня нет обязательств».

Если долг солдата — отдать жизнь за царство, долг у него перед Господом, а не перед царством. Господь распорядился, чтобы человек наживал суть и смысл. Суть и смысл этого человека в том, что он — воин царства.

Долг дозорных — отдавать мне честь. Мне ли они служат? Я — предлог, чтобы у дозорных существовал долг. Я — узел, связавший обязанностями моих дозорных.

И любовь — если долг, то перед Господом.

Я увидел скромницу, она краснеет и запинается; чтобы научить ее смеяться, нужно радовать ее подарками, они для нее — ласковый морской ветер, а не вожделенная добыча. Я проторю к ней дорогу и выведу ее на волю.

Мне не надо ни унижаться в любви, ни унижать любовью. Я окружу ее, словно простор, втеку в нее, словно время. Я скажу ей: «Не торопись узнавать меня, во мне ничего не поймаешь. Я — пространство и время, где ты можешь сбыться».

И если я необходим ей, словно земля — семечку, для того чтобы стать деревом, я не пресыщу ее своим изобилием.

Я воздаю ей почести не ради нее самой. Цепко ухватятся за нее когти моей любви. Любовь моя станет для нее орлом с могучими крыльями. И не меня она будет открывать, но с моей помощью — долины, горы, звезды, богов.

Не во мне дело. Я только тот, кто несет вперед и вперед. Дело не в тебе, ты — тропинка к лугам на заре. Дело и в нас обоих, мы оба — путь к Господу, Ему однажды понадобится наше поколение, и Он возьмет его.

## CLXXI

Не стоит ненавидеть несправедливость: всё в пути, она еще станет справедливостью.

Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно — зримая или незримая иерархия.

Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо, если ты жертвуешь жизнью большему, чем ты сам, жертва твоя становится взаимодарением.

Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее.

## CLXXII

Нашурай в настоящем животворное семя, что пребудет и завтра. Обозначь его. Благодаря ему люди ощутят себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем тебе не нужно от них ничего сверх того, что они дают и так, что отдавали вечера. Не нужно ни большого мужества, ни меньшего; ни больше жертвенности, ни меньше. Не нужно учить их, и не нужно клеймить то, что сейчас им присуще. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как можно лучше. Из уже существующих камешков ты можешь сложить желанную мозаику. Люди тоже хотят складывать мозаику, они не знают, что им делать с насыпанными в них камешками.

Выразив человека, ты сделался ему хозяином. Ибо направил того, кто искал для себя пути, искал решения и не мог найти. Дух торит дороги.

Не будь им судьей, будь божеством, что направляет. Отыщи каждому место и помоги сбыться. Все остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу. А она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир.

## CLXXIII

Всего-то и есть что лодка, затерянная в мирном морском просторе.

Но, конечно, есть, Господи, и иная мера, благодаря ей рыбак в своей лодке покажется мне пламенеющим усердием, добывающим из вод хлеб любви ради жены и детей, или сгустком гнева из-за обреченности платить дань голоду. Или муками смертельной болезни, что сделала его комком боли.

Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мерь его цепью землемера. Достаточно лодки, и все станет огромным.

Достаточно, Господи, погрузить в меня якорь боли, чтобы я узнал себя. Ты дернешь за веревку, и я очнусь.

А может, человек в лодке терпит от несправедливостей? Но картина все та же. Та же лодка. Та же мирная гладь. Дневная лень.

Что смогу я принять от человека, если не смирю перед ним свое сердце?

Господи! Приживи меня к дереву, от которого я плоть от плоти. Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня. И я обопрусь на них. Напряги меня своими неравенствами. Иначе я разлажен и преходящ.

А мне необходимо сбыться.

## CLXXIV

Я говорил тебе о пекаре. Он месит тесто для хлеба, и, пока оно податливо липнет к рукам, теста нет. Но вот, как принято говорить, тесто схватилось. В бесформенной массе появилась упругость силовых

линий. Мускулы корней разветвились в тесте. Хлеб нарождается в нем, словно дерево в почве.

Ты пережевываешь свои сложности, но без всякого толку. Перебираешь решения, но ни одно не подходит. Ты несчастен, потому что топчешься на месте, а радость приходит только вместе с движением. И вот, переполнившись отвращением к собственной развинченности и дробности, ты поворачиваешься ко мне, прося избавить тебя от противоречий. Я могу разрешить их, предложив тебе решение. Предположим, ты страдаешь, оказавшись пленником победителя, и тогда я скажу тебе так: ты упростил себя до выбора «за» или «против», ты готов осуществить выбор, но душевный покой, который ты обретешь, будет покоем или фанатика, или муравья, или труса. Мужество состоит и не в том, чтобы погибнуть, побивая носителей чуждой тебе истины.

Да, ты страдаешь и пытаешься избавить себя от страдания. Но ты должен принять его, и тогда ты поднимешься на ступеньку вверх. Сравни свою боль с болью от раны. Ты ищешь средства, чтобы избавиться от нагноения.

Но того, кто предпочел ампутацию лечению, я не назову мужественным, скорее — сумасшедшим или трусом. Я не за ампутацию, я за исцеление.

Поэтому с горы, с которой я смотрел на город, я обратил к Господу такую молитву:

«Вот они здесь, Господи, они просят меня сделать их значимыми. Они ждут для себя истины, от меня ждут, Господи, но она еще не вызрела. Помогите мне! Я только начал месить тесто, оно еще не схватилось. Еще не проросли корни, и я узнал тяжесть бессонных ночей. Но знакома мне и тяжесть зреющего плода. Ибо всякое созидание поначалу крупница в реке времени, но мало-помалу разрастается и обретает форму.

Они несут мне вперемешку свои стремления, желания, нужды. Они загромодили ими мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя храм или корабль.

Но я не пожертвую нуждами одних ради нужд других, величием одних ради величия других. Покоем этих ради покоя тех. Я соподчиню их всех друг другу, чтобы они стали кораблем или храмом.

Я понял, что соподчинить означает принять и отвести место. Я подчиняю камень — храму, и он уже не валяется в куче на строительной площадке. Не будет ни одного гвоздя, которым бы я не воспользовался для корабля.

Я не придаю значения большинству голосов; большинство людей не видит корабль, он слишком далек от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет.

Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, взращенный в муравейнике, будет муравьем. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передает наследства. Конечно, сосуд необходим, но драгоценен в нем душистый бальзам.

Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить — значит удовлетворяться теплой бурдой, где ледяной оранжад смешался с кипящим кофе. Я хочу सबеречь особый аромат каждого. Ибо желания каждого достойны, истины истинны. Я должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место. Ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника — корабль.

Но настанет час, Господи, и Тебе станет жаль меня за царящий во мне разлад, хотя я принимаю его. Домогаюсь я безмятежности, что воссияла бы над преодоленными противоречиями, мне не нужно

перемирия между соратниками — перемирия, сложенного наполовину из любви, наполовину из ненависти. Если я обижаюсь, Господи, то из-за того только, что не все еще уразумел. Если сажаю в тюрьмы и казню, то из-за того только, что не умею приютить. Владелец непрочной истины, утверждающий, что свобода лучше принуждения или, наоборот, принуждение лучше свободы, кипит от гнева, считая, что ему противоречат, но он в плену неуклюжего языка, где слова то и дело дразнят друг друга. Громко кричишь, потому что язык твой неубедителен и ты хочешь перекрыть голоса других. Но на что мне обижаться, Господи, если я добрался до Твоей горы и увидел сквозь пелену слов, какая идет работа? Того, кто идет ко мне, я приму. Того, кто взбунтуется против меня, пойму. Пойму, почему он заблудился, и ласково заговорю с ним, постаравшись, чтобы он вернулся. Ласково не потому, что уступаю ему, подольщаясь или хочу понравиться, — потому, что явственно увидел настоятельность его жажды. Она стала и моей тоже, потому что и заблудшего я вобрал в себя. Не гнев ослепляет — гнев порожден слепотой. Как обижает тебя эта сварливая женщина! Но она расстегнула платье, ты увидел: у нее рак кожи — и простил ее. Разве может обидеть отчаяние?

Мир, к которому я стремлюсь, добывается муками. Я согласен на жестокость бессонных ночей, ибо шаг за шагом иду к Тебе, в Ком разрешились все вопросы, Кто все выразил, Кто есть тишина. Я — медленно растущее дерево, но я — дерево. Благодаря Тебе я вбираю в себя земные соки.

Как явственно я ощущаю, Господи, что дух преобладает над разумом. Ибо разум ощупывает вещное, дух прозревает корабль. И если я зачал корабль, они одолжат мне свой разум, чтобы выявить, вылепить, облечь, укрепить желанное мной творение.

С чего им отталкивать меня? Я ничем не отяготил их, наоборот, дал возможность каждому любить любимое.

Разве плотнику тяжелее будет строгать доски, если это будут доски для корабля?

Даже равнодушные, что до сих пор оставались без места, повернутся в сторону моря. Ибо живая жизнь всегда притягивает к себе и перерабатывает в себя все окружающее.

Если не будет зрим корабль, как узнать, куда направится человек? По вещности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизни. Но когда уложены камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семя кедра втягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля. Если знаю строительный материал, знаю строителя и знаю, к чему он стремится, то могу сказать: они пристанут к дальнему острову».

## CLXXV

Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был верным. Основа верности — верность самому себе. Чего достигнешь изменами? Медленно наращиваются узлы, что будут питать тебя жизнью, определяют направление, станут смыслом и светом. Будто камни, складывающие храм. Разве рассыпаю я каждый день камни, чтобы выстроить храм еще краше? Если ты продаешь свое царство ради другого, на взгляд, может быть, лучшего, ты неотвратимо утрачиваешь что-то в самом себе, то, чего не найдешь никогда. Почему тебе так тоскливо в твоём новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном — доме, о каком ты мечтал в нищете былого? Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он — водопровод. Но теперь тебе

не хватает скрипа вóрота, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражала твое лицо, когда в колодец ныряло солнце.

Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору все выше и выше, шел все дальше и дальше. Но пойми, одно дело — ощутимая победа твоих усилий: водоем, которым ты украсил свой сад, и совсем другое — переселение в чужую раковину. Одно дело — непрерывное совершенствование одного и того же, изукрашивание храма, например, или все новая и новая листва растущего вольно дерева, другое — равнодушная перемена места обитания.

Я перестаю доверять тебе, ибо ты оборвал связь, утратил самое драгоценное свое достояние: оно не в вещах — в осмысленности мира.

Я знал эмигрантов, они всегда тосковали.

Прошу тебя, прислушивайся к собственной душе, иначе обманешься словами. Этот сделал смыслом своей жизни странствия. Он меняет пространства и измерения, но я не скажу, что он духовно нищает. Его постоянство — странствие. Другой любит свой дом. Постоянство его — дом. И если ему придется что ни день переселяться, он почувствует себя несчастным. Когда я говорю «оседлый», я не имею в виду тех, кто больше всего на свете любит свой дом. Я говорю о тех, кто больше не любит дома, перестал замечать его. Твой дом — тоже ведь неуклонное одерживание побед, лучше всего о них знает твоя жена, она обновляет его на заре.

Я хочу рассказать тебе, что такое измена. Что ты, как не узел всевозможных связей и привязанностей? Ты существуешь благодаря сопряженности, связанности. Сопряженность существует благодаря тебе. Храм существует благодаря каждому из камней. Убери вот этот — храм обвалится. Ты привязан к земле, храму, царству. И благодаря тебе существуют земля, царство, храм. Не твое дело судить о них, как судит посторонний, что не привязан к ним. А если судишь — судишь самого себя. Здесь твоя боль, но и жизнестояние. Я отступаю от того, кто отрекается от согрешившего сына. Сын его — это он сам. Пусть разберит его, осудит, казнь вместе с сыном самого себя, если любит его, пусть бьется с его истинами, но не ходит из дома в дом с жалобами на него. Если отец отступился от сына, он перестал быть отцом, покой, которого он добился, сузил поле его жизни, покой его — покой мертвых. Я всегда считал обделенными тех, кто не знает, с кем они заодно. Я видел, как лихорадочно эти люди искали религию, общину, круг, куда бы их приняли. Их принимали, но единение было иллюзорным. Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизни надежной, укорененной, отягощенной правами, обязанностями, ответственностью. Ношу жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба на стройке. А когда бросаешь свою ношу — опустошаешься.

Мне по нраву отец, который бесчестье греховного сына принимает за свое, посыпает голову пеплом и кается. Сын — это он сам. Он привязан к сыну и, ведомый им, ведет его. Я не знаю дороги, что вела бы в одну только сторону. Если ты отказался отвечать за падения, окажешься ни при чем при победах.

Если любишь ту, что принадлежит твоему дому, ту, что зовешь своей женой, а она согрешила, никогда не смешайся ты с толпой осуждающих. Она твоя, и суди сперва самого себя, ты за нее в ответе. Твоя страна в разоре? Я настаиваю: суди себя, ты — твоя страна.

Конечно, окружают тебя любопытствующие чужаки, и тебе придется краснеть перед ними. Чтобы освободиться от стыда, ты отмежешься от грехов своей страны. Но тебе, как каждому человеку, нужно быть с кем-то и заодно. С теми, кто оплевал твой дом? «Они правы», — скажешь ты. Очень может быть. Но я хочу, чтобы ты чувствовал, что принадлежишь своему дому. Отойди от тех, кто оплевывает. Негоже пле-

ваться самому. Вернись домой и помолись. Скажи: «Стыдно мне. Почему лицо мое так изуродовали соотечественники?» Если их позор ты воспринимаешь как свой собственный, стыдишься его и терпишь стыд, ты сможешь повлиять на что-то, улучшить, облагородить. Себя ты облагородишь в первую очередь.

Нежелание плевать не означает сговора с пороком. Ты разделяешь позор, чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних: «Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения...» С чем тут стать заодно? Чужаки ответят, что они заодно с человеком, или с добродетелями, или с Господом. А ты — ты говоришь слова, слова опустели, не обозначая больше связующих нитей; чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиранный, что затеплил свечу, знает: свеча его — молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди — не слово из словаря, люди — это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать: Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди, — я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, — знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, — знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, — суеслов с пустым сердцем. Они не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют, и живут не слова.

Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, кто вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену. Его заботит, как он выглядит, а не то, что он любит. Он перестал быть связующей нитью — стал вещью, на которую смотрят. Но в вещах нет никакого смысла.

Если, стыдясь своих домашних или сограждан, ты утверждаешь, будто сам ты чист, и говоришь, будто обеляешь себя ради их чистоты, ибо вы из одного дома, — ты лжешь. Ты сбежал из дома, как только появился недоброжелательный чужак, ты обеляешь себя — и только себя. И чужаки вправе спросить тебя: «Раз твои такие же, как ты, где они и почему не плюются вместе с нами?» Нет, ты топишь своих в позоре и позор их пытаешься обернуть себе на пользу.

Бывает, конечно, и так, что человек не в силах переносить низость, пороки, позор своего дома, земли, царства и пускается в путь в поисках благородства. Человек этот — свидетельство, что среди сродных ему благородство еще существует. Значит, жива среди них честь, раз отправила его в путь. Он — свидетельство, что и другие жаждут пробиться к свету. Но опасна и ненадежна его попытка, душевной высоты ему понадобится больше, чем перед лицом смерти. Он повстречает любопытствующих, и они ему скажут: «Ты и сам такая же грязь». Если он чтит себя, то ответит: «Такая же, но я из нее выбрался». Судьи скажут: «Смотрите, чистые избавляются от грязи! А те, кто остался в ней, сами — грязь». И ему воздадут почести, ему лично, а не его родовому дереву. Он присвоит одному себе славу своих предков. И будет одинок, как бывает одинок тщеславец или смертник.

Уходя, ты вступаешь на сомнительный путь. Ибо твои муки совести — свидетельство о живой еще в твоих согражданах чести. Но ты их всех отсекаешь от себя.

Ты обрешь верность, лишь расставшись с тщеславным желанием выглядеть в чужих глазах лучше. Ты скажешь: «Я ничем не отличаюсь от них, я думаю, как они». Да, и тебя наградят презрением.

Но что тебе до чужого презрения, если ты частичка большого тела? Если можешь влиять на него? Если передашь ему присущие тебе устремления и склонности? Если он придаст тебе чести, удостоившись почестей? Чего лучшего можно желать?

Если у тебя есть основания стыдиться, не показывай своего стыда. Не говори о нем. Грызи его сам. Несварение проходит, если ле-



чишься от него дома. И понимаешь, что оно в твоей власти. Но вот у человека болят и руки, и ноги. Он ампутировал их. Он сумасшедший. Ты можешь пойти на смерть, чтобы ради тебя стали уважать твоих сограждан, но не смей отчуждать их, ты отчуждаешься от самого себя.

Хорошо и дурно твое дерево. Не все его плоды тебе по вкусу. Но есть среди них и прекрасные. Слишком просто было бы льстить себе хорошими и отвергать все остальные. Не упрощай, и хорошее и дурное от одного корня. Несложно выбрать пышные ветки. Отрубить худосочные. Гордись тем, что прекрасно. Но если уродства больше, молчи. Твое дело повернуться к корням и спросить: «Что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки?»

Чужедальнего сердцем народ отчуждает от себя, и сам он отчуждается от народа. Так оно бывает, и бывает всегда. Ты признал правоту чужака. И хорошо бы стать тебе одним из этих чужих. Но ты не родился на их земле, она для тебя — смерть.

Суть твоя причиняет тебе боль. Ты ошибся, пытаясь отделить себя от нее. Что из себя ты можешь выбросить? Болит у тебя здесь, но болеешь-то ты.

Я отступаю от того, кто отступает от жены, города или страны. Ты недоволен ими? Ты их часть. Ты в них часть, тяготеющая к благу. Твое дело — увлечь за собой остальное. А не судить, глядя со стороны.

Судить возможно двояко. Судить можешь ты со своей стороны, судить, как судьба. Но и тебя можно судить.

Кому нужен муравейник? Ты отрекся от своего дома и, значит, отрекся от дома вообще. Отрекся от жены и, значит, отрекся от любви. Ты оставил женщину — тогда откуда возьмется любовь?

## CLXXVI

— Пусть будет так, — говоришь ты мне, — ты кричишь во весь голос против вещности, но есть вещьность, которая меня облагораживает. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть почести, которые и унижают тоже.

Пойми, дело не в вещах и не в почестях. Значимость их зависит от духа твоего царства. Прежде всего они части целостности. Разнообразящие ее части. И если этой целостности служишь и ты, обогащая ее, — ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая. Вот один из команды завоевал приз, вся команда гордится, обогатившись сердечной радостью. Горд за свою команду и чемпион, он возвращается с кубком под мышкой и пылающими щеками. Но если нет команды, а есть группа чуждых друг другу людей, приз значим только для чемпиона. Он презрительно поглядит на тех, кто не получил его. А они позавидуют ему и возненавидят. Чужая удача будет каждый раз ударом в сердце. Теперь ты видишь: один и тот же кубок для одних — возможность стать благороднее, для других — хуже. Служит тебе только тот, кто торит дороги взаимообменов.

И еще пример: мои юные лейтенанты — они мечтают умереть за царство, и вот я сделал их капитанами. Они в ореоле славы, но разве стали от нее хуже? Я помог им стать еще деятельнее, еще преданнее. Облагородив их, я облагородил большее, чем они, — царство. Лучше будет служить моему царству и флагман. В день, когда я сделаю его флагманом, своим воодушевлением он воодушевит и капитанов. И еще пример: счастливая своей красотой женщина, счастливая потому, что

одарила счастьем мужчину. Как украшает ее бриллиант! Как украшает она любовь!

Человек любит свой дом. Дом его так скромн. Но он трудится ради него днем и ночью. В доме не хватает пушистого ковра или серебряного кувшина, из которого наливают воду в чайник, когда пьют чай вместе с возлюбленной перед часом любви. И вот настает вечер, когда, наработавшись, он входит в лавку и после многих бессонных ночей, тяжелых работ выбирает самый красивый ковер, самый красивый кувшин, как выбирают драгоценную реликвию. Он возвращается домой, порозовев от гордости: с сегодняшнего дня его дом будет воистину домом. Он созывает всех друзей отпраздновать новый серебряный кувшин. Молчаливый, застенчивый, он разговорился во время своего торжества, и меня трогает его радость. Человек этот вырос в собственных глазах и еще преданней будет служить своему дому, потому что дом стал еще прекраснее.

Но царства, которому ты служишь, нет, если почести, знаки отличия или богатства ты забираешь себе и только себе, их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. В тебе просыпается жадность, и ты все ненасытнее пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь, что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал. «Тщетны земные блага, — твердишь ты, — тщетны! . . .»

Тот, кто кричит о тщете вещного, служит одному себе. И, конечно, ничего не найдет.

## CLXXVII

Я заговорю с тобой, и с моей помощью тебе откроется очевидное. Я верну тебе твои божества. Кто-то верит в ангелов, кто-то в демонов, кто-то в духов. Достаточно, чтобы они народились, и вот они уже трудятся. С мига, когда ты постиг, что же такое милосердие, оно начинает привлекать к себе человеческие сердца. У тебя есть родник. Но не каменный обод чаши, истертый многими поколениями, не журчание и не запас воды, собранный в эту чашу, словно урожай в корзину (твои волны приходят к ней на водопой и пьют), нет, не сама по себе вода, журчанье, молчаливая чаша, не прохлада воды в ладонях — прохлада не только ночью, когда в воде дрожат звезды, такие освежительные на вкус, — значима божественность твоего родника, она осеняет и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие волон, и утоление жажды, ее ты и чувствуешь, ее не теряешь среди дробности вещного. Ибо драгоценнее всего радование роднику.

Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчанье в ночной тишине. Неважно, что останется он где-то далеко-далеко: мне достаточно будет разбудить тебя. Подарок мой будет драгоценнее золотого обода кольца с бриллиантом, потому что дорого нам не то, что мы не используем, — дорого предвосхищение праздника или воспоминание о нем. Вот и хозяин царства идет полевом проселком (чем ему царство сейчас в помощь?), и все-таки он — хозяин, а не слуга, на сердце у него забота и о стадах, и о хлеве, и о спящих пока фермерах, и о зацветающем миндале, и о будущих тяготах жатвы; никого, ничего он сейчас не видит, но за все ощущает себя в ответе. Вот она, власть божественного узла, что связал воедино разноликую дробность мира, превратил ее в божество царства, смеющегося над стенами и стенаниями бездн. В твоей ночи я хочу видеть и тебя хозяином, пусть ты умираешь в пустыне от жажды, пусть влагу твоей жизни иссушила скупость засыпанного песком колодца, но тебя не оставит божество твоего родника. И если я говорю тебе, что журчанье родника — это стук сердца яблонь, кедра, оливы, ибо он питает их жизнью (ты увидишь, как умирают деревья,

стоит замолчать воде), то говорю это, чтобы передать тебе сокровище, чтобы ты уподобился моему воину: он спокоен и уверен в себе в той пустыне, куда я пришел на заре рассеивать свои зерна, спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которой словно бы нет на свете, оттого что она крепко спит, но голос ее, ее дыхание — животный ток для его сердца.

Больше всего на свете не хочу я, чтобы ты убивал своих хрупких богов, они умрут беззвучно, словно голубки, не оставив ни перышка. Ты и не заметишь, что погубил их. Останется обод чаши, и вода, и ее журчанье, и оловянный водосток, и каменная мозаика, и ты, что перебираешь все это, желая понять и не понимая, что же ты все-таки потерял. Ты не поймешь, потому что не потерял ничего вещного, кроме жизни этого вещества.

Порукой моей правоты — слово в поэме, ставшее для тебя откровением. Я могу присоединить и его к тем божествам, что наживаются так постепенно. Медленно перевоплощается в божество и твоя деревня, сейчас она задремала, припрятав в запас зерно и солому, прибрав лопаты, цепи и мотыги; дремлет вместе с невеликим грузом желаний, соблазнов, гнева и жалости; с древней старухой, что, будто перезревшее яблоко, готова скатиться с этого дерева; с новорожденным, что вот-вот готов появиться на свет; с преступлением, что всколыхнуло ее, будто вспышка болезни; прошлогодним пожаром, о котором ты вспомнил, залечивая оставленные им раны; с ратушей, с именитыми гражданами — они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь рыбацья лодка с малозаметной под звездами судьбой. Но вот я сказал тебе: «Родник твоей деревни», и сердце в тебе встрепенулось, ты сделал шаг вперед, и еще, и мало-помалу твой путь откроет тебе лик Господа, который только и может насытить тебя и удовлетворить; от одной вехи к другой пойдешь ты к Тому, Чье присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к Тому, Кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к Нему — Мудрости, к Нему — Бытию и Жизни, к Нему, Который возвращает тебе все востребованное, Кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вещную дробность мира, чтобы в ней появился смысл, — к Господу, Который обожествил и родники, и деревни.

Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мед, он не в вещиности — в осмысленности всех вещей на свете, теперь тебе так не терпится жить, но дороги сыскать ты не умеешь. Я знал садовника, он умирал, не успев обиходить свой сад. Он спрашивал: «Кто обрежет мои деревья?.. Кто посадит цветы?..» И просил продлить ему дни, чтобы навести в саду порядок. У него были прекрасные цветы, затаившиеся в кладовке семена, лежали в сарае лопаты и грабли, способные разбудить силу земли, острый нож на поясе, умеющий омолаживать усталые деревья, но без него все это было инструментами, предметами, вещами, а не священной утварью, необходимой для обряда богослужения. Вот и с тобой, мой народ, случилось то же, что с утварью садовника, с тобой и с твоими хранилищами — с твоей соломой, зерном, устремлениями, милосердием, тяжбами, спорами, умирающими старухами, ободом колодца, мозаикой, журчанием воды. Ты не можешь стать единым целым со своей деревней, со своим родником: развязался магический божественный узел, а алчущее сердце сыто лишь пищей духа.

## CLXXVIII

Перестав слушать людей, я услышал их. Одни мудры, другие — нет. И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнем щеки и в душе

смуту — черный комок, подобравшаяся пантера. Она уже сжалась иссиня-черной молнией, сейчас ударит.

Они похожи на вулканы с безудержной и бесполезной мощью. Но таков же и огонь солнца, а благодаря солнцу цветут цветы. Ты улыбнулся с утра любимой, потянулся к ней с поцелуем, и одно за другим все происходящее исполнилось смысла. Нужен магнит, чтобы собрать тебя воедино и породить заново.

Рождение — всегда открытая рана.

Это видно по дереву, на взгляд оно — дремотная размеренность и неспешность, окружившая себя, будто царством, душистым ароматом, но в один миг его мощь может стать пищей пламенеющего пожара. Знаешь, из тебя, из твоих вспышек гнева, ревностей, хитростей, тревожной лихорадки, что делает тебя таким трудным к вечеру, я хочу вырастить умиротворенное дерево. Не отсекая от тебя лишнее, потому что так я растоплю ледник и превращу тебя в гниющее болото, но собрав воедино, как семечко, которое, став деревом, хранит солнце. Я сею духовность, и она взрастит тебя, будто зерно, ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность.

Я не говорю: «Приди ко мне, и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, придам форму», я говорю: «Приди ко мне, и ты породит сам себя». Ты протянешь мне свою разноликую дробность — и я верну тебе тебя целостностью. Не я буду идти посредством тебя. Ты сампустишься в путь. Я помог, внеся в тебя соразмерность. Так вот, женщина эта горяча и озлоблена. Как озлобляет душу жестокость душевных ночей, когда без толку поворачиваешься к боку на бок, разбитый, оставленный, несчастный. Бестолковый дозорный разоренного города. Я знаю, ей не управиться со своим разладом. Она зовет сказителя и приказывает: «Пой!» Он поет. «Не то! — говорит она. — Убирайся!». И зовет другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает. В изнеможении будит подругу: «Тоска смертная! Сказками ее не развеять...»

И любовь — один, другой, третий... она обирает одного за другим. Она ищет в каждом себя цельной и сбывшейся, но как найдешь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других.

Но в тишине приду я. Я — незримый шиватель. Я ничего не переменяю в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскуту значимость и смысл, я — незримый любовник, помогающий сбыться.

## CLXXIX

Скрипка без скрипача, счастливая возможностью издавать звуки. Я видел: рад ребенок, трогая струны и удивляясь своим пальцам. Что мне до случайного звука струны: я хочу, чтобы ты обжил сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет, ты пренебрег становлением. Ты бредешь и пробуешь наугад то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычайный звук. Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение (как будто оно яблоко, которое можно подобрать) и, ухватив его, вернуться поэтом.

Но я хочу прочно укорененного семени, пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в вечернем ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен?

Ты сказал, что чтить любовь.

Говоришь, что чтить справедливость. (Справедливость вообще, а не справедливые поступки.) И во имя справедливости легко идешь на несправедливости.

Чтишь милосердие — и без труда становишься жестоким, служи ему.

Чтишь свободу, но сажаешь в тюрьмы несогласных с тобой.

А я? Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюбленных, но не любовь. Точно так же, как не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные творения.

Все начинается с дела — созидай, постигай, твори. Рано или поздно придет воздаяние.

Но те, что любят возлежать в парадной постели, желают заполнить в свое распоряжение главное, не преодолев дробности. Так курильщик гашиша за несколько су опьяняется творчеством.

Кто они, как не гулящие, отданные на волю всех ветров? Как снабдишь их любовью?

## CLXXX

Я не люблю толстосумов, но принимаю их как ступеньку более высокую по сравнению с вонучей, грубой помойкой, как обещание, что мой город станет красивее. Помню, что противостояний нет, что от совершенства веет смертью. Принимаю плохих скульпторов, надеясь на появление хороших, дурной вкус как путь к хорошему, внутренние запреты как путь к свободе и толстосумов как путь к дальнейшему облагораживанию, но не ради них самих, не во имя их — принимаю ради тех, кого они способны кормить. Толстосум платит ваятелю за статую, он — житница насущного, где хороший поэт поклюет зерна, необходимого для поддержания жизни. Зерно украдено у земледельца, украдено, потому что в обмен предложены стихи, но крестьянин посмеется над стихами; или статуя: ее он, возможно, не увидит, но, не будь грабителей-толстосумов, у меня не было бы и ваятелей. Что мне за дело, если житница приобрела обличье человека? Человек — путь, кладь, повозка.

Но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов и статуй, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу: опасаясь ты напрасно, тщеславие склонит толстосумов выставлять напоказ свои сокровища, а что касается их дворцов, то они и так у всех на виду; но запомни и другое — облагораживает душу не использование готового, а творческое горение: я ведь рассказывал тебе о царстве, что прославилось умением танцевать, хотя ни толстосуму в серванте, ни простолюдину в музее не сохранить станцованный танец, танец не превратишь в запас.

Ты возмущаешься, что у девяти из десяти меценатов нет никакого вкуса, что они поощряют слюнявых поэтов и бездарных скульпторов! Я отвечу: до их вкуса мне мало дела, но если я хочу, чтобы дерево мое расцвело, я принимаю все дерево целиком, — пусть стареются десять тысяч бездарных скульпторов, тогда появится и один, стоящий. Значит, мне и нужно десять тысяч житниц с дурным вкусом и только одна, которая знает толк в вещах.

Но противостояний нет, а значит, нет и однозначности, море вызывает к жизни корабли и топит их. Толстосум может и не быть путем, повозкой и кладью, он может пожирать свой народ из одного-единственного наслаждения переваривать пищу. Желательно, чтобы море не топило корабли, принуждение не сковывало свободу, бездарность не уничтожала даровитости, толстосум не пожирал царство.

Тут ты интересуешься, каким образом я намереваюсь избавить нас от грозящей опасности. Нет у меня мер. Ты не спрашиваешь, как управлять камнями, чтобы они сложились в храм. Храм рождают не камни — архитектор: он заронил зерно, оно — притянуло камни.

Я должен жить, творить, проторить стихами дорогу к Господу, она поведет мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе.

Не подумай, что я озабочусь спасением житницы только потому, что она обрела обличье человека. Не буду спасать и вонь, хоть она и присуща золотарю. Золотарь — путь, кладь, повозка. Не подумай, что мне интересно, за что люди возненавидели несхожее с ними. Люди — путь, кладь, повозка. Мне нет дела до славословия и лести одних, до ненависти или восторгов других, в каждом из людей я служу Господу. Я стою на склоне моей горы, я один, будто вепрь, недвижим, словно дерево, что в бегущей реке времени перерабатывает каменное дно в пригоршню цветов с семенами и бросает их в ладони ветра, — с ними улетает в свет слепой пережной, — я вне призрачных противоречий в своем бессрочном изгнании, ни «за», ни «против», не с этими и не с теми, я над кровными узами, партиями, заговорщиками, я сражаюсь за дерево один против всего того, из чего составлено дерево, ради всего того, из чего составлено дерево, я — во имя дерева, и кто возразит мне?

## CLXXXI

Вот и еще одна сложность: привести мой народ к свету истины я могу лишь при помощи дела, никак не слов. Жизнь должно строить как храм, тогда и увидишь ее в лицо. Но что сделать из череды одинаковых дней, похожих на уложенные в ряд камни? Однако, состарившись, ты скажешь: «Я праздновал праздники моих отцов, выучил моих сыновей, потом женил их, и нескольких из них, взрослых и крепких, Господь взял к Себе, чтобы они и дальше трудились ради Его славы, и я похоронил их».

Дни твои — чудесные семена, что преобразуют землю в песнопение и протягивают его солнцу. Ты и зерно преобразуешь в свет, светящийся в глазах любимой, когда она улыбается тебе, а потом молится. И когда я засеваю семена, они сродни вечерней молитве. Я тот, кто идет не спеша и разбрасывает семена под взглядам звезд, но, если я окажусь слеп или заносчив, как мне узнать свое предназначение? Из зерна вырастет колос. Колос преобразится в человеческое тело, из человека родится храм во славу Господа. И тогда я могу сказать об этом зерне, что в его силах собирать камни.

Для того чтобы земля стала храмом, достаточно одного крылатого семечка в ладони ветра.

## CLXXXII

Я не начну с того, что все знаю и понимаю, я просто пойду и оставляю за собой след . . . Я принадлежу царству, оно — мне, нас не разделить. Если я жду чего-то, то только от того, что заложил собственными руками, я — отец своих сыновей, они — плоть от моей плоти. Я не великодушен и не скуп, не жертвую собой и не подвигаю на жертвы — и если погибну на стенах города, то погибну за самого себя, ибо и я — часть моего города. Ибо естественно умереть из-за того, чем жил. Но ты пытаешься найти, словно товар в лавке, живую радость, которая дается только в вознаграждение. Ведь и город среди песков становится для тебя алым гранатом, потому что он — вознаграждение, и ты не устаешь наслаждаться его ароматной мякотью и с наслаждением приникаешь к нему. Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пестрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что тщательно выстроены, словно столицы посреди провинции; но притя-

гательнее всего для тебя пряности, магической силой они равны бриллианту, раз шепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издалека вереницу парусных судов, каждый под своим флагом, чтобы заставить тебя вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что овевал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вел их к неведомому чуду — к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностей ты создал сам, своими мозолями, ссадинами, мучениями собственной плоти.

Но что ты найдешь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла?

Боже мой, да испив однажды воды из колодца Эль Ксур! . .

Да! Мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопением . . .

Так вот я и буду идти. Я пускаюсь в путь без большой охоты, но моя житница — перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить, для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться покоем. Но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность почивать на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа с тобой, будто ветер: попробуй запереть его — ветра нет.

Безумец, любя журчанье воды, запирает ее в бутылку.

Ах, Господи! Я стараюсь быть путем и повозкой. Езжу туда и обратно. Тружусь, как осел или лошадь, с упрямым терпением. Я не вижу ничего, кроме земли, которую перекапываю, а потом, завязав фартук, вижу только зерно, золотящееся у меня под руками, зерно, предназначенное для сева. Тебе, Господи, выдумывать весну и прораскивать зёрна во имя Твоей славы.

И вот я иду против течения. Я обрек себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год бог дозорных шепчет ему: «Как прекрасен этой край. . . сколько верности в дозорном. . . как он зорок в своем бдении!» Тебе воздастся за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить. Мои руки возьмут твоё оружие. Но вместе с твоими, как поддержка твоим. И ты ощутишь себя щитом, укрывающим все царство. И моими глазами с высоты стен ты увидишь красоту города. Ты, я, город станем единым целым. И любовь откроется тебе, как жгучая рана. И если костер обещает быть прекрасным, если красота его — достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полешко к полешку и сложил поленницу, я позволю тебе умереть.

## CLXXXIII

Семя кедра может посмотреть на себя и сказать: «Как я прекрасно, полно сил и жизненной мощи! Я — уже кедр. Лучше кедра, ибо я его суть».

Но я, я говорю, что оно пока еще пустое место. Оно — повозка, кладь, путь. Оно — переключатель. Так пусть совершит переключение. Пусть, не торопясь, подведет землю к дереву. Пусть выстроит кедр во славу Господа. Я буду судить, каково оно, по его кроне.

И точно так же смотрят на себя люди: «Я такой или этакий. . .» Они кажутся себе сокровищницей. В сокровищницу, где сложены необыкновенные богатства, непременно ведет дверь. Достаточно найти ее на ощупь. Случай поможет, и хлынут потоком стихи. А ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос.

Так поступает негритянский колдун. С видом знатока рвет он слу-

чайные травки, собирает что ни попадя. Складывает все в большой котел и варит безлунной ночью. Приговаривая слова, слова и снова слова. Он ждет, что от его котла изойдет незримая сила и опрокинет войско, что движется к его хижине. Но нет силы. Он вновь принимается за дело. Изменяет слова. Меняет травы. И желание его не пропадает втуне. Видел и я, как древесное тесто и черный отвар опрокидывали царство. Я имею в виду мою грамоту с объявлением войны. Я видел котлы, из которых вылетала победа. В них изготовляли порох. Видел, как слабое дрожанье воздуха, вышедшее из одной груди, поджигало мой народ, словно пожар. Так призывали к бунту. Видел я и расположенные особым порядком камни, благодаря им плыл корабль тишины.

Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если бы не было объединившей их воедино человеческой души. Если от стихов я могу заплакать, то куча детских кубиков с буквами не выжала ни из кого ни одной слезы. Непроросшее семя — пустое место, сколько бы ни восхваляло себя за то дерево, на которое пока себя не потратило.

Конечно, ты стремишься к Господу. Но из того, кем ты можешь стать, совсем не следует, что сейчас ты уже таков. Всплески твоих желаний бесплодны. В знойный полдень семечко, даже если оно семя кедра, не даст мне тени.

Жестокие времена пробуждают спящего ангела. Продираясь сквозь нас, разрывает он свои пелены и слепит глаза светом! Ох уж эти наши тесные, скудные языки, пусть ангел вместит всех нас и сольет воедино! Пусть ангел возопит вместо нас. Возопит, призывая то, чего нет. Возопит, ненавидя бунты и мятежи. Возопит, требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов, или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь, или еще что-нибудь нуждающееся в поспешности и неспешности.

Но ты, грабитель, отправляешься в веселый квартал и затеваешь сложную игру, надеясь заманить любовь и заставить ее отозваться, — любовь откликнется на простое прикосновение твоей жены к твоему плечу.

Согласен, лишь магия веками установленного уклада ведет тебя к поимке добычи — добычи, что ничем не похожа на ловушку, добычи вроде трепещущего счастьем сердца; северяне ловят ее раз в году, с помощью запаха смолы, украшенной елки и горящих свечек. Но я называю ложной магией, ленью и непоследовательностью помешивание в твоём котле случайных травок в надежде на чудо, которого ты не приготовил. Забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим собой. Не надейся. Бронзовые двери затворились перед тобой.

*(Продолжение следует)*



Людмила Сеницына

### ГРАД ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ

Не так давно довелось мне оказаться в Вёсьегонске, что находится на берегу Рыбинского водохранилища, во время празднования Дня города. Нехитро задуманное торжество несло на себе едва уловимый грустный отпечаток уже по той причине, что самого города как такового не существует.

В свое время много таких же уютных, милых купеческих городков, что располагались на Волге и по ее притокам, по плану ГОЭЛРО поглотили водохранилища. Утопическая мечта построить светлое будущее только при помощи советской власти и электрификации обернулась для них печальным каламбуром. И Вёсьегонск в их числе оказался вместо града видимого градом невидимым. (Давняя легенда о сказочно-прекрасном городе, который от несправедливости и неправды земной ушел под воду и увидеть его может далеко не каждый, неожиданно приобрела новое звучание.)

От окончательного забвения спасла Вёсьегонск «заветная лира». Даже у тех, кто плохо помнит школьную географию и не знает доподлинно плана ГОЭЛРО, название города тем не менее вызывает какие-то смутные воспоминания. Словно что-то где-то он уже слышал о нем. Это ощущение не обманывает. И вот почему.

Вёсьегонские краеведы расходятся во мнении о том, с какого момента следует вести летоисчисление города. С момента ли косвенного упоминания в летописи или с того дня, когда Екатерина II подписала план развития города и он начал именоваться вместо Вёсь на Ёгне (т. е. город Вёсь на реке Ёгне) — Вёсьегонском. Но по-настоящему датой его рождения следует признать не столько явление в материальном, сколько, так сказать, в идеальном мире. И она совершенно бесспорна. Это дата выхода в свет поэмы Гоголя «Мертвые души».

Помните седьмую главу, где Чичиков, сидя в гостиничном номере, с удовлетворением просматривает списки купленных крестьян и вдруг натывается на фамилию Попова — беглого мужика, которого подсунул ему Плюшкин? В одно мгновение автор разворачивает перед нами картину мытарств несчастного: и сцену следствия над ним, и постановление суда, на котором решено «препроводить беглого Попова из Царвококшайска в какой-нибудь Вёсьегонск», а из Вёсьегонска еще куда-нибудь подальше. А Попов, осматривая свое новое обиталище, отмечает, что вёсьегонская тюрьма была побольше, там хоть в бабки можно было играть!

Возникла эта мимолетная, но яркая картина благодаря поездке одного из друзей Гоголя. Вернувшись из Вёсьегонска, он рассказал, как отцы города решили отличиться и выстроить что-нибудь эдакое... замечательное. На память потомкам. И выстроили. Громаднейшую тюрьму чуть ли не в самом центре тишайшего из городов. В нем и сейчас-то никаких «грабежов и насилив не бывает», — как уверяли меня жители, нечаянно повторяя слова Гоголя о чудном Миргороде,

«где нет ни воровства, ни мошенничества», — а в те времена и подавно нужды в таком грандиозном здании не было.

Позабавившись этим рассказом приятеля, Гоголь зачеркнул уже написанное в черновике романа и вписал новый абзац, одним росчерком пера сделал Весъегонск печально знаменитым на весь мир. И хотя громадная несуразная тюрьма вскоре благополучно сгорела во время одного из многочисленных пожаров, — слава, утвержденная в мире идеальном, продолжала сиять ровным, немеркнущим светом.

Краеведы города (а среди них и художник-примитивист Борис Расцветаев, и фотограф Борис Купцов, и бывший редактор газеты Иван Шеховцев, и преподаватель Марат Верхоланцев, и удивительный рассказчик Аркадий Гришин — речь о каждом впереди) ведут свои записки каждый на свой лад. Но все страницы истории Весъегонска у тех и других (отдают ли себе авторы в этом отчет или нет) озарены тенью улыбки, что мелькнула на лице Гоголя, когда он вписывал новые строки в черновик романа, провидчески угадывая дальнейшую судьбу города.

Впрочем, судите сами.

\* \* \*

Долгое время никакие события — разве только наводнения и пожары — не нарушали размеренного уклада жизни Весъегонска, ритм жизни которого зависел от судоходства. С наступлением весны, как только сходил лед, отрезанный от других городов бездорожьем Весъегонск преображался. На пристани толпились люди, скрипели телеги, увозя тюки с прибывшими товарами, по улочкам тянулись возы. А с окончанием сезона, когда пароходы вставали на зимовку в затон, город тоже охватывало что-то вроде зимней спячки до следующей навигации.

Лишь накануне грозных перемен самого разного рода слухи, как осы, вылетевшие из растревоженного гнезда, — начали донимать горожан и жителей близлежащих деревень. Они уже угадывали, предчувствовали не что, но узнать, что предстоит им пережить, не могли. И верили, судя по записям Бориса Расцветаева, всему:

— На кошек пашава. Дохнуть начали, — с тревогой сообщали одни. — К чему бы это, не знаете?

— Что кошки! Говорят, пятнадцать волостей градом побило — все стекла вон. Старосту шарахнуло по голове молоньей, совсем теленком сделался, только мычит, и рожки выросли, — передавали другие.

— То ли еще будет, — задумчиво отзывались третьи, — когда уже и на солнушке какие-то пятна пошли. Скоро простым глазом видно будет...

Может быть, дошли бы они в своих предположениях (как и полагается жителям провинциального города, ничем не отличающегося от города N), что скоро в волость сам капитан Копейкин со своей шайкой пожалует или что Наполеон, сбжав с острова Елены, захватит Весъегонск, если бы этим слухам не положили конец как-то сразу, вдруг.

«С утра в тот день, — сообщает Борис Расцветаев, — ничего особенного не замечалось. Была весна. Солнце светило вовсю. Подтаивало. Люди шли спокойно. И тут на заборе наклеили афиши: «Мы, Божией Милостью... сочли за благо отречься...» Прохожие останавливались, читали и поживались. Жутко становилось, холодок пробегал под кожей: «Господи Иисусе, чаво же будет-то?»

Появляется человек в штатском, но подтянутый, с красной повязкой на рукаве, в руке револьвер «лефоше»: «Предупреждаю: впредь за распространение вздорных толкований и слухов... со всей строгостью революционного времени...» И все. Так — чего никогда еще

не бывало — положили конец привычным, гротескно-комичным, слухам, которыми всегда «славилась» провинция и которым Гоголь посвятил целую главу в своей поэме.

Теперь, когда прозвучали слова «со всей строгостью революционного времени», пришла тревога совсем иного характера. Какая-то огромная, необъятная, не весьегонская, — во всяком случае, таковой она запомнилась Борису Расцветаеву. «Так наступил 1918 год. И в конце января — в один из последних дней — по улице Спасской потянулся отряд. Он пришел со стороны Красного Холма. Шли молча, без музыки, без песен. Несли красные полотнища, на которых было написано: «Вся власть Советам!» Аборигены недоумевали. Отряд подошел к почте. Оттуда выволокли какого-то человека, бросили его в сани и начали месить. Уж его и били — руками, ногами. Кого, за что? Этого мы так и не узнали. Его увезли, может быть, уже мертвого. Тяжелое зрелище». Отряд пошел дальше в город, занимать присутственные места.

Председатель уездного исполнительного комитета Григорий Степанов — «бывший учитель, включившийся в борьбу с классом эксплуататоров», — решительно взялся за преобразование провинциального болота.

\* \* \*

После формирования главнейших институтов советской власти переоборудовали коммутаторскую для налаживания связи между учреждениями и открыли общественную баню — тоже новость в Весьегонске (до этого пользовались только своими). Тех, кто успел помыться «по-новому», с любопытством расспрашивали:

— А тебе неужто не стыдно было раздеваться при других?

— Ну дак что ж. Всем поди-ко стыдно было. Не мне одному. А как стали намыливаться, во пошло как дело, даже весело стало. Спины друг другу трем — смешно! Очень даже хорошо в общественной бане. Тепло, воды сколь хошь, сажай нигде не запачкаешься, ни дров, ни воды таскать не надо. Уплатил только рупь, а чево он теперь стоит? Осьмуху табака...

Но одним из самых главных преобразований явился, конечно, выход регулярной газеты «Известия Весьегонского Совета». Редактором ее стал Александр Иванович Тодорский. И поскольку дальнейшая слава Весьегонска связана с этим именем, расскажу о нем подробнее.

«Семья Александра Ивановича, — вспоминает Аркадий Гришин, — была из поляков, как и Кондаковские, Прясинские, Урбановские. Все это были приезжие священники. Они получили здесь приходы, и дети священников учились в весьегонской гимназии». В положенное время Александра Тодорского призвали в армию, он закончил школу прапорщиков и сразу оказался на фронте — шла первая мировая война. После революции солдаты избрали Тодорского председателем полкового комитета, потом он вступил в партию и после ликвидации корпуса, получив увольнительный билет, вернулся в родной Весьегонск. Его предложение издавать газету Степанов принял, доверив выпуск важнейшего идеологического «оружия» сыну священника. И не ошибся.

Не прошло и года, как именно Александр Иванович выполнил важное задание новой власти: написал по поручению Тверского губисполкома годовой отчет.

Сроки утвердили самые жесткие. Помогали Тодорскому, конечно, все работники исполкома, но основная тяжесть работы легла на его плечи. Отчет с описанием важнейших преобразований «в революционном духе» был закончен вовремя. Озаглавили его «Год — с винтовкой и плугом», напечатали брошюру тиражом в 1000 экземпляров в весьегонской типографии и разослали в соседние волости для обмена опытом.

Строки из романа «Мертвые души» сделали город печально знаме-

нитым. Отчет Тодорского неожиданно для всех (и для него самого в том числе) вознес Весеьгонск на новый виток славы.

Случилось так, что редактор московского журнала «Беднота» Л. Сосновский, получив брошюру и прочитав, порекомендовал ее Ленину.

Опыт весеьгонских коммунистов не просто заинтересовал Ленина. «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов» — так озаглавил он наброски для будущей рецензии на нее. В общей сложности семь раз обращался Ленин к этой книге. А 27 марта 1922 года на XI съезде партии призвал всех сидящих в зале брать пример с весеьгонских коммунистов.

Собственно, внимание вождя привлекла не сама книга, а всего лишь небольшой абзац. На него он и ссылался, его-то постоянно и цитировал. Это было место, где Тодорский описывал, как Степанов сумел в короткие сроки пустить два завода. Для этого «были призваны в исполком, — пишет Тодорский, — три молодых, энергичных и особенно дельных промышленника и под угрозой (разрядка моя. — Л. С.) лишения свободы и конфискации всего имущества привлечены к созданию лесопильного и хромового заводов . . . »

Поскольку это были не просто дельные промышленники, а еще и владельцы этих самых заводов, то «под угрозой лишения свободы» они сумели наладить производство в весьма короткие сроки.

Не менее удачный пример использования «буржуазного спеца» приводит и брат Тодорского — Анатолий Иванович: «В село Тухани, в родовое княжеское имение, приехал выдворенный из столицы князь Ухтомский. Он оказался в Весеьгонской тюрьме (ох уж эта тюрьма! — Л. С.). Но вскоре узнали, что узник является скульптором. Учитывая, что он не злобствовал и вел себя спокойно, ему предложили изваять бюст Маркса. Скульптор с готовностью принял это предложение, был выпущен на свободу и отлично справился с заданием».

На памятнике написали золотыми буквами: «Карл Маркс. Вождь мирового пролетариата». Открытие памятника состоялось в первую годовщину Октября. Так что первый памятник вождю мирового пролетариата был поставлен в Весеьгонске. (В тот же день состоялось открытие памятника Марксу и Энгельсу в Москве. Но это все-таки парный, а не отдельный.)

Правда, весеьгонский памятник из глины, как и гипсовый московский, долго простоять не мог. Но нужного «буржуазного спеца», чтобы отлить по этой форме бронзовый, должно быть, не нашлось, и вскоре памятник Карлу Марксу пришлось убрать. (Краевед Борис Купцов видел его мальчишкой, когда пробрался тайком на печь в Народный Дом, чтобы посмотреть фильм «Красные дьяволята». Там, в самом углу, он и увидел уникальный памятник — что-то уже было отбито, поэтому приходилось его прятать. Куда он делся потом, Купцов не знает.)

«Картинка из жизни маленького города» и впрямь подсказала решение кардинального вопроса. «Вот чьими руками надо создавать коммунизм, — писал Ленин. — Это еще полдела, если мы ударим эксплуататоров по рукам, обезвредим их или «доконаем». Дело успешно будет выполнено тогда, когда мы заставим их работать и делом, выполненным их руками, поможем. . . укрепить Советскую власть».

Весеьгонский пример после слов Ленина получил самое широкое распространение. Но если в провинциальном городке «спецов» использовали хотя бы по их назначению, что отдавало даже некоей патриархальностью, то в масштабах страны идея очень быстро приняла самые абсурдные формы. В воспоминаниях Шалапина рассказывается, как этот «пример» отозвался на жизни Петрограда: «. . . Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве за-

тонувшие баржи для дров. Сами понимаете, какая это работа, особенно при холодах... и вот женщины, Мария Викентьевна, ее камеристка и прачка, получают приказ отправиться на Неву таскать дрова. Наши женщины приказа, естественно, испугались — ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать...»

Из множества записок о событиях того времени я остановила выбор на воспоминаниях Шаляпина по той причине, что он косвенно, но все-таки связан с городом Весьегонском и самим Тодорским.

Дело в том, что известный поэт Демьян Бедный (с которым Шаляпин тогда находился в дружеских отношениях), откликнувшись на призывы Ленина, поехал в Весьегонск. Кроме «революционных преобразований», которые он воспел в поэме «Рак на золотом поле» (герб города), Бедный обнаружил в Весьегонске чудесные места для рыбной ловли (в этих краях, кстати, любили бывать и художник Билибин, и писатель Куприн) и, как пишет Тодорский, «даже наметил здесь свой отдых на лето... совместно с Федором Ивановичем Шаляпиным и просил меня подыскать заранее соответствующие места и написать непосредственно в адрес Шаляпина об условиях его отдыха. Я с радостью исполнил эту просьбу, послал Ф. Шаляпину подробное письмо, но почему-то эта совместная поездка в Весьегонск не состоялась».

Шаляпин, так и не посетив Весьегонска, навсегда покинул Родину. Его возмутило лишь начало. Проследить, как «весьегонский пример» — «маленькая картинка» — перерастает в широкомасштабное полотно, ему не довелось. О логическом завершении ее — системой трудовых лагерей, где перевоспитывались «буржуазные спецы и враги», бесплатная рабочая сила, — Шаляпин мог уже только читать в зарубежных газетах.

А в тридцать восьмом году в одном из таких лагерей оказался и нечаянный их автор — Александр Тодорский. Круг замкнулся.

\* \* \*

*Славная бекеша у Ивана Ивановича!  
отличнейшая!.. Описать нельзя: бархат!  
серебро! огонь! Господи Боже мой! Нико-  
лай Чудотворец, угодник Божий! отчего  
же у меня нет такой бекешки!*

*Н. В. Гоголь*

К счастью, и в самые трагические годы история Весьегонска обнаруживает не только «видимые миру слезы», но и «невидимый смех» — как однажды возникнувший и с той поры не замирающий, не исчезающий «мотив», который угадывается и в этом вот незатейливом случае...

Вряд ли весьегонцы могли знать, какими достоинствами обладает шаметовая бекеша Ивана Ивановича, а вот бекешу Егора Алексеевича Журина знали все в округе. Потому что ни у кого такой не было: шерсть у бекешки не овечья, нет! Какая-то другая: мягкая, легкая, теплая, в общем, такая, что всякий, пройдя мимо, невольно вздыхал и думал: «Эх, вот бы мне такую бекешу!»

Оказалась она у Журина следующим образом. До революции Егор Алексеевич — человек росту громадного, силы непомерной — жил в работниках у купца Ефремова. Хозяин, отправляясь в дорогу, обычно брал с собой Журина на всякий случай. И такой случай представился. Где-то около Устюжны, в одну из поездок, остановили их в лесу мужики. У купца Ефремова был браунинг, но он не смог выстре-

лить в человека. Егор голыми руками раскидал нападавших, и они уехали «без стрельбы, без кровопролития», — как подчеркнул рассказчик этой истории Аркадий Гришин.

Потом купец признавался Егору, что у него с собой денег в кисе было столько, что он мог всю родную деревню Журина купить со всеми потрохами. Тем не менее, купец, даже защищаясь, выстрелить из браунинга не смог, не захотел брать грех на душу, хотя суд и оправдал бы его.

В награду за счастливое избавление купец подарил Егору дом, породистую лошадь и корову, а впридачу ко всему этому — необыкновенную бекешу и валенки.

Таких валенок тоже ни у кого в округе не было: белые, с малиновым узором — одни и с бирюзовым — другие. «По тем временам валенки хоть куды-ы-ы! — восхищался Аркадий Гришин. — У меня соседи — братовья — купили на праздник валенки новые. Каждому охота обновить. Что же делать? Вот они и придумали. Каждый надел по одному — на левую и на правую ноги, сели в сани, выставили каждый со своей стороны по новому валенку, а старые полостью закрыли. Так и катались целый день — щеголяли, словно у каждого по паре».

Вот из-за этой бекешы и валенок группа коммунистов во главе с Ванюшиным и Новожиловым решили раскулачить Егора Алексеевича. Очень уж они им нравились (Егор-то, на свою беду, вещи берег, не шибко носил, только по праздникам.)

Раз десять приезжали Ванюшин и Новожилов в село, но председатель комбеда — Шитиков Владимир Федорович — всякий раз им говорил: «Поезжайте-ко вы, робята, подобра-поздорову. Егора кулачить не дам!»

А без Шитикова приезжие коммунисты в дом не имели права войти. Обычно они приезжали в деревню и говорили местному председателю, кого «кулачить», те и подчинялись. Шитиков никого не дал в обиду».

Как ни печально заканчивалась история про штаметовую бекешу, а повесть про бекешу Егора Алексеевича могла закончиться еще печальнее.

\* \* \*

И вот здесь следует сделать небольшое отступление и вспомнить о том, первом, памятнике Марксу, который установили в Вельегонске. Почему все-таки Марксу, а не какому-то другому деятелю?

«Мы, — от имени своего поколения и от себя тоже пишет в своих воспоминаниях «Встречи с Лениным» Н. Валентинов, — обеими руками ухватились за марксизм потому, что нас увлекал его социологический и экономический оптимизм (разрядка моя. — Л. С.), свойственная молодости оптимистическая психология искала и в марксизме находила концепцию оптимизма».

Новое учение, действительно, отвечало умонастроениям молодежи, и поэтому она с такой охотой — отзывчивая и легкая на подъем, в отличие от старшего поколения, — с такой самоотверженностью шла в передовые отряды всеобуча (всеобщее военное обучение), где давали навыки строевой подготовки, обращения с винтовкой — сборка, чистка, приемы штыкового боя.

Та же молодежь участвовала во всех «маниловских проектах» и «ноздревских операциях», она первая угадывала новые веяния и первая откликнулась на них. И поскольку, как писал в своей книге А. Тодорский, вся беда и весь ужас благословенной Аркадии заключались «в отсутствии всякой революционности», появлению которой мешали «имеющиеся здесь в изобилии церкви, где кадилным фимиамом и заповедями «не пожелай дому ближнего твоего, ни раба твоего, ни всякого скота его»

забивали головы невидевшему свету народу», — значит, для утверждения революционного духа необходимо было развеять этот самый «кадильный дым». И молодежь принялась за дело.

Началось все, — как вспоминает Гришин, — с вышучивания, с высмеивания, глумления над религией и над попами. И каждый из молодых людей стремился отличиться перед другими.

Один из учеников художественного училища (кстати, будущий Президент Академии художеств СССР, автор известной картины «Ходоки у Ленина») Серов ночью забрался в церковь. А наутро прихожане обнаружили Николая Чудотворца — самую большую икону в храме — с трубкой во рту, с рогами и хвостом.

Старики, естественно, возмущались. Но никого за это не наказали, самое большее, быть может, пожурили. Молодежь еще более осмелела. Кто-то после этого поставил у Галуновых икону в навозную кучу и лампаду перед ней зажег. И опять ничего.

В числе добровольных «пропагандистов» оказался и Борис Расцветаев, который в то время работал кочегаром на пароходе. Вместе с матросом этого же корабля они устраивали самодеятельные представления на палубе во время стоянки. А народ стоял на пристани. Добровольные артисты и фокусы проделывали, и гири пудовые подбрасывали, и кувыркались, но главным номером была сценка «Балда и Поп-Остолоп», которую они, можно сказать, сами и сочинили, тем более, что особенного содержания придумывать и не требовалось: достаточно было начать щелкать попа по лбу, как публика покатывалась от хохота. В конце представления Расцветаев, разгорячившись, хватал мокрую швабру и хлопал попа по задку. С берега в ответ неслась лавина гомерического хохота.

— Так, так! Огрей его еще разок! — раздавались обычно одобрительные выкрики зрителей, столпившихся на берегу. Только раз какая-то женщина попыталась одернуть расходившихся актеров и зрителей. Общественное мнение к этому времени уже было сформировано.

«А в 22 году в Весьегонск приехал отряд изымать церковные драгоценности, — рассказывает Гришин. — Вместе с конным отрядом приехал и мотоциклист. За ним мальчишки бегом бежали, и весь город оглядывался. Казалось, что он ужас как носится — как самолет. Но если припомнить по-настоящему, то тут ведь столько колдобин на пути было, и за ним, в общем, все, кто хотел, попевали.

Церкви у нас богатые были. С икон снимали оклады с камнями, выносили все церковные драгоценности и под охраной свозили в казначейство. Затем погрузили собранное на подводы и перевезли в вагоны. А иконы стащили в кучу и сожгли в базарный день на глазах у народа, и никто не посмел ничего сказать, все стояли и смотрели».

И, конечно, если получается, что священнослужитель — это всего лишь толстобрюхий поп-остолоп, а храм — самое подходящее место для хранения зерна или овощей, значит, и внушаемые с детства заповеди — всего лишь «кадильный дым».

И вот «увидевший свет народ» понял, что можно не только желать дома ближнего своего и скота его, но и бекешу его, если приглянется, и валенки с малиновым узором. И не просто пожелать, но и облечь свою жадность, зависть, корысть — чувства недостойные — в форму классово-политической борьбы, — весьма заслуживающую одобрения. Пустая, бессмысленная склока по новым временам принимала вид — политической борьбы. Теперь полтавские стряпчие не посмели бы затягивать дело и тотчас удовлетворили бы просьбу Ивана Никифоровича наказать соседа: «добре барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить... яко разбойника в государственный острог препроводив».

За полвека до этого вопрос о том, какое место в жизни народа занимает религия, стал, как известно, предметом спора между Гоголем и Белинским. Вся общественность жадно следила за перепиской. Большая часть передовой интеллигенции приняла сторону Белинского. Тогда-то и утвердилась в России мысль о том, что религия, вера, церковь — злейшие враги.

Еще через полвека передовая интеллигенция, совершив виток, пришла в храм, подтвердив правоту Гоголя. И теперь политики — бывшие партийцы, убежденные атеисты, — считают своим долгом отметить свое пребывание в церкви.

Еще одна такая «победа» — и как бы мы не остались «без войска» вообще. . .

История провинциального города, его «маленькая картинка» позволяет понять и другую, не менее важную гоголевскую тему. Тему «мертвых душ».

Обратим же свой взор на автора книги, прославившего Весеогонск в девятнадцатом году. «Не случайно, — с гордостью пишет его брат Анатолий, — в 1918 году обыватели пугали своих детей фамилией Тодорских». Чем был вызван страх обывателей, поясняет и «крестный отец» — книги — Л. Сосновский: «... какими методами, в сущности, действовал Тодорский? . . Вы удивитесь, читатель, если я скажу «чекистскими»! Да, он работал в ЧК; что не мешало ему одновременно работать и в ОНО, и в редакции газеты. По обязанностям чекистской работы он делал налеты на помещичьи гнезда, а по своим склонностям больше всего интересовался материалами архивного порядка. . .»

Примечательна в этом сообщении не столько загадка «чекистских методов», сколько загадка самого превращения сына священника, которого, надо полагать, с детства воспитывали в ином духе. И следы этого воспитания проскальзывают в тексте, выговариваются нечаянно в таких вот выражениях, как «запомним же раз и навсегда, что и праздник мировой пролетарской пасхи будет завоеван только винтовкой», «а столы мировой революции» и т. д. Какими же методами надо было действовать, чтобы произошла столь разительная перемена? Ведь не зельем же его опоили, что он вдруг забыл и воскресные молитвы, и заповеди, как удалось вытеснить их из памяти?

Чичиков во фраке «наваррского дыму с пламенем», что указывало на его дьявольскую, демоническую сущность, соблазнился «новыми — капиталистическими — экономическими отношениями». На его примере Гоголь показывал, какую магическую власть над душами людей приобретают «миллионщики», отдавшие душу дьяволу. И в этом, а не в «ревизских сказках», ему виделось явление по-настоящему мертвых душ.

Делом большевистской партии стала борьба с властью «желтого дьявола». Эта борьба воодушевляла честных и бескорыстных людей, готовых принести, ради установления новых экономических (теперь уже социалистических) отношений, на алтарь революции свою жизнь. Но «неколебимая вера в абсолютную истину» придавала им тот самый демонизм, который отмечал еще Н. Бердяев. И проявляется это демоническое, дьявольское начало в тот момент, когда человек, обязанный подчинить свою волю коллективной воле партии, утрачивает свое «Я», а значит, и свою душу. Стоило ему только совершить добровольный акт передачи «души» «для дела партии», как пишет о себе Тодорский, и он тотчас терял способность видеть и различать, где и когда творит зло и насилие, потому что коллективная воля неизбежно должна быть злой, хотя бы потому, что является соединением многих, таких же обезличенных, а значит — мертвых душ. И неважно при этом — отдать ли свою душу в залог «желтому дьяволу», как это делал Чичиков, или же ради «самых справедливых отношений», — итог один: все это оборачивается явлением мертвой души, потому что ее предназначение



лежит в иной сфере: сфере общения с Всевышним, надчеловеческим. И если «ради достижения цели» требуется отчуждение «Я», значит, в результате и происходит перерождение «в наваррском дыму и пламени» человека в дьявола.

И как только совершается акт передачи своей души, с тем чтобы «приносить пользу единственно правильному мировоззрению», — добрый, хороший, бескорыстный человек, какими бы достоинствами он ни обладал, превращается в с р е т н и к а , в о р д а , который, как привидение, врывается по ночам в дома обыкновенных живых людей и творит злое, страшное дело.

И при этом он не только не испытывает никаких угрызений совести, но и почитает свои поступки героическими, необыкновенными, о которых он считает своим долгом сообщить миру. И о его деяниях пишут книги, статьи и воспоминания, прославляя их как весьма достойные.

К числу таковых относится и книга Александра Тодорского о первых послереволюционных днях в тихом Весеьгонске. Автор добросовестно, цитируя документы, постановления и решения, повествует о том, как отряды о р д о в в маленьком городе разрушают прежний уклад, устанавливая новый, и здесь даже такая незначительная деталь, как открытие общественной бани, имеет определенное символическое значение. Приобщение к «коллективной воле» — происходило и в малом, даже в объединении коллективным стыдом: «... всем поди-ко стыдно было»...

Но безверие разоряет душу. И ощущение сквозняка вызывает безотчетную потребность снова заполнить чем-то «красный угол» своей души, вот отчего, догадываемся мы, в отчете А. Тодорского столько страниц заполнено лозунгами, которые будто не имеют никакого отношения к событиям в Весеьгонске: «... товарищи! Победа за нами... Мы никогда не молим о пощаде и умираем гордо и мужественно, как надо умирать бойцам... И мы сами не знаем пощады для врагов, так как вырвали из сердца своего жалость и снисхождение»... и так далее.

Вспомним, какое толкование дает Даль слову «лозунг». Это слово, которое служит для о п о з н а н и я часовым с в о и х при входе и выходе ночью — пароль, отзыв, лозунг — это одно и то же.

Лозунги — п а р о л ь для своих, для опознания «мертвой души» — доказывают, что «слова, слова, слова», вопреки утверждению датского принца, не пустой звук. Для кого-то мысль изреченная и в самом деле — ложь, по той причине, что огрубляет тончайшие, неуловимые переходы и оттенки мысли. Но, как видим, ложь, повторенная десятки, сотни, тысячи раз, вдруг становится способной заменить саму мысль.

Словно происходит заклятие словом, словно благодаря одному только повторению п а р о л я в действие вступает особая магия — магия о б а в а н ь я. И те, кто оказывается во власти обаванья слов, и в самом деле принимали желаемое за действительное; видели то, чего не было, и не видели того, что происходило на самом деле. (Отчет Тодорского, таким образом, является и своеобразным литературным памятником, в котором открываются основные методы социалистического реализма до того, как закончились споры о том, каким ему быть, еще до того, как появились признанные образцы.)

Подвластными этой магии о б а в а н ь я — принимать желаемое за действительное — оказались не только советские люди. «Западная интеллигенция, — утверждает Роберт Конквист в интервью, данном газете «Известия», — «приняла» марксизм именно во времена Сталина. Когда масштабы лжи были невероятны»...

Масштабы лжи убеждали еще во многом и громадой начинающих-ся строек. Не обошли они и Весеьгонск.

\* \* \*

Ситуация, сложившаяся на фронте в конце 1918 года, требовала более короткого и надежного связующего пути: он проходил через Вьсьегонск к другим северным городам. Но для этого срочно требовалось выстроить мост через Мологу. И не какой-нибудь, а пригодный для продвиженья паровозов с составами для переброски войск и военной техники.

Строительство закипело мгновенно и бурно. Как пишет старожил города Борис Расцветаев,— целая армия плотников вздыбила на берегу горы леса. «В этом было что-то былинное. Русский топор создан эти чудно сложенные горы чисто выструганных бревен, хитро врубленных друг в друга под разными углами. Это было совершенно оригинальное и неповторимое инженерное сооружение: верстовой железнодорожный мост целиком из дерева! Уникальный, единственный во всем мире. О нем узнал бы весь мир, со временем стали бы ездить путешественники из разных стран, чтобы посмотреть на новое — восьмое — чудо света. И Вьсьегонск стали бы отмечать на карте условным значком «достопримечательность». Конечно, дерево следовало бы пропитать специальным составом. По вечерам на мосту горели бы керосиновые калильные фонари, а боковыми тротуарами прогуливались бы романтические любители природы. Поезда проходили бы его торжественно-замедленным ходом, с наглухо закрытыми поддувалами и трубой...» Так грезил патриоты Вьсьегонска, глядя на вздыбившиеся опоры и на кипевшую работу.

Демьян Бедный тоже с воодушевлением нарисовал великое будущее, которое ожидает вьсьегонцев с появлением этого моста:

Засвистит паровоз, загрохочут вагоны,  
Оживет целый край, спавший сном вековым.  
Берегов примологжских лесистые склоны,  
Деревушки наполнятся шумом живым.

И Вьсьегонск — уютный, приветливый, милый,  
С возрожденной душой, с распрявленным горбом,  
Расцветет под советским гербом:  
**БРАТСКИМ МОЛОТОМ с БРАТСКИМ СЕРПОМ!**

Строительство моста подходило к концу. Из Делей вышел паровоз «Овечка» с двумя порожними вагонами и решительно направился к мосту по высоченной железнодорожной насыпи. Вот он прошел первый пролет, второй. Но на третьем пролете машинист резко затормозил и дал задний ход. Как выяснилось, он почувствовал, что мост стал садиться на правую сторону.

— Ну, не повалился бы от этого мост. Трещит — это не все. Новое всегда трещит, — ворчали принимавшие мост. — Половицы — и те скрипят. Это сваи сели. Не устоялись, значит, в земле, не закисло намертво.

Соображения их были вроде бы верными, и казалось: после первой, в общем, удачной пробы мост укрепят в нужных местах дополнительными опорами и работу можно будет считать окончательно завершенной. Ведь все, в сущности, самое трудное и сложное уже было сделано.

Но и ситуация на фронте менялась с каждым днем. Угроза с севера отступала, зато обострилась ситуация на юге.

Надобность в железнодорожном мосте здесь отпала, сверху перестали давать указания, торопить и напоминать о скорейшем завершении. И все работы на мосту были прекращены как-то враз.

Заброшенный мост стоял еще несколько лет (напоминая, куда ушли конфискованные у церкви деньги), и его опоры чрезвычайно мешали судоходству. Если бы он служил своему назначению, с этим бы мирились, но когда вот так — ни с того ни с сего — бревна перегородивают ход, естественно, наступил момент, когда его взяли ломать. «То-то было грому, треску и плеску! — вспоминает Расцветаев. — Особенно трудно было расправиться с клиновыми, коваными гвоздями с разъяренными ребрами («мертвыми»), которые даже не пытались вытаскивать. Их попросту выпиливали. А когда в конце концов потеряли терпение, — ломать оказалось хуже, чем строить, — «решили повалить останки великого творения путем взрывов, что и было приведено в исполнение». Так закончил свое существование «Великий мост» — восьмое чудо света. И не он один. Сколько таких чудес появилось и исчезло в Весъегонске?!

Дороги — вечная беда России. Немало намучился из-за них Чичиков в своем путешествии. «Препорядочный толчок, произведенный бревенчатой мостовой, пред которою городская каменная была ничто», тотчас давал знать о себе. «Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и неберегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб».

Кажется, уж куда какое фантастическое описание. Такого и быть не может. Но это только до той поры, пока не узнаешь, какую дорогу выложили власти Весъегонска до Чухарного ручья. Круглые бруски, которыми решено было вымостить дорогу на столичный манер, укладывали прямо в землю, без какой-либо подстилки, и ничем эти шашки не пропитывали. Пилили их разной величины и калибра, как Бог на душу положит. И промежутки между кругами забили песком, который тотчас же вымыли дожди, каждая шашка начала проседать на свой лад; гниль начала разъедать дерево. Самые слабые вскоре выпали из своего гнезда. Продвигаться по этой мостовой оказалось так же трудно, как проехать по поляне, где остались пеньки разной величины. Естественно, все старались съехать на обочину, миновать мостовую. Она настолько всем мешала, что власти решились убрать остатки шашек, к большому удовольствию горожан.

(К слову, о дорогах. В нынешнем Весъегонске есть заасфальтированная на столичный манер дорога. Идет она от железнодорожного вокзала и обрывается сразу за обкомом партии, как если бы именно здесь кончался город. Но за обкомом партии город, собственно, только начинается. Там и телеграф, и милиция, и библиотека, и музей, и больница, и райисполком, и много-много других учреждений.)

Но заасфальтированная часть дороги показывала наглядно, до каких пор город следует уважать, а где он уже, может, и не город, а просто черт знает что!..)

После всего сказанного было бы совершенно несправедливо умолчать еще об одном грандиозном проекте, еще одном чуде света — о дамбе!

Паводковые воды издавна затапливали город Весъегонск. Как говорил Аркадий Гришин, все уже знали приблизительный ритм: восемь дней вода подступала и выходила из берегов, дней двадцать она держалась на одном уровне, а потом около недели отступала на-

зад. Иной раз она по щиколотку заливала тротуары, иной раз, случалось, и выше, но настоящие потопа, когда вода заливала нижние помещения и даже сдвигала дома с места, случались крайне редко.

Хоть паводковые воды и приносили известные неудобства, с ними мирились, потому что пользы было значительно больше. Эти воды питали знаменитые заливные луга, которые служили источником благоденствия и Весъегонска, и всех ближайших деревень. Трава, что выростала на этих лугах, где паслись коровы, придавала особенный вкус и особенные свойства «сладкому маслу», которое продавали в Париж, отчего и масло называли «сладким парижским» (во время борьбы с космополитизмом «парижское сладкое масло» переименовали в «вологодское»). Производилось это масло только в тех местах, где были заливные луга.

Вот отчего весъегонцы хоть и ворчали иной раз на паводковые воды, хоть и поговаривали, что надо как-то защищаться, в общем, мирились с ними. Тем более что ни один купец, ни один меценат, подсчитав расходы, не согласился бы вкладывать деньги в такое непомерное предприятие, когда неизвестно еще, чем оно закончится. (А после восемнадцатого года, как известно, чем грандиознее был проект, тем охотнее под него отпускались деньги.) И вот когда мысль о борьбе с природой окончательно утвердилась в умах, решено было воздвигнуть дамбу.

Встал вопрос — как передвигать огромные массы грунта для плотины? И пришли к выводу, что легче всего это делать вагонетками.

И вот на окраине города появились вагонетки: металлические платформы длиной в шесть метров. Сгрузили их и поставили на «свой ход», то есть комплект узкоколейных рельс, сшитых наглухо металлическими коробчатыми шпалами, укладывали прямо на песчаную дорогу без всякой подсыпки метров на 100, при этом рельсы соседних звеньев свинчивали на один-два болта. Вагонетки перекатывали вручную до упора, затем звенья сзади развинчивались, перекладывались вперед, укладывались, снова свинчивались и т. д.

Конечно, вся эта колонна продвигалась чрезвычайно медленно, в среднем не более 40 метров в день. Прошел месяц. Наконец поезд добрался до Чухарного ручья, затем перевалил мост, стал подниматься в гору...

До самой осени — через весь город — по улице Гостинодворной до базара и далее двигалось это сооружение.

И опять... вдруг, как-то незаметно, вроде бы само собой, вагонетки застыли на месте, потом повалились на бок. Через год их скрыла густая трава, а когда вспомнили про них — они и вовсе исчезли, вместе с рельсами. И следа не осталось, словно нечистая сила вмешалась.

Так и не суждено было (к счастью) весъегонцам увидеть покоренную Мологу, и не узнали они, что стало бы с их городом, если бы дамбу все-таки возвели.

**БУМСТРОЙ** (бумажно-целлюлозный комбинат) — так на редкость символично была названа одна из строек — первенец первой пятилетки.

И все эти многочисленные БУМстрои (которые встречал восторженный хор газетчиков, поэтов и певцов, кинорежиссеров и фотокоров) плавно перешли в БАМстрой, с той лишь разницей, что изменение в одну букву стало обходиться стране еще дороже.

Так в никуда и ни на что уходили огромные деньги, «изъятые церковные ценности», «экспропрированное добро буржуев», все то, что было получено самоотверженным трудом тысяч людей.

А чтобы эта вопиющая бесхозяйственность была менее заметна, — по примеру гоголевских чиновников, что умели придавать своим действиям вид чрезвычайной занятости, — наши чиновники производили то укрупнения районов, то их разъединение, то объединение главков, то их размежевание. Так что вскоре и концов нельзя было найти, кто виноват и зачем затевался тот или иной БУМстрой.

«Было время, — вспоминают старожилы, — когда Весьегонск попал в состав... Рыбинской губернии! Значит, была когда-то такая. Затем Весьегонск оказался в каких-то взаимоотношениях с Бежецком, — тоже, конечно, подчиненном — еще один из экспериментов. В 1931 году у нас появилась карта Весьегонского района... Московской области! Вот здорово: подымай выше! Карта была издана в масштабе в 1 см 6 километров. Мы с интересом разглядывали ее, сравнивали с картой весьегонского уезда, изданной в 1911 году. Да, здорово обкорнали «медвежий угол» с запада и с юга. Остались рожки да ножки».

Теперь Весьегонск — пограничный поселок Тверской области. И новое место для этого поселка, конечно же, выбирали наспех. Где поставили дом, каждую весну начинал бить ключ; где провели улицу — скрывалась потайная протока; где наметили переулок — проходил ручей. Против этого неизбывного болота даже знаменитая миргородская лужа — ничто.

Стиснутый с одной стороны лесными болотами, а с другой огромным водохранилищем, Весьегонск лишился и богатейших лугов, вслед за ними исчезло и знаменитое молоко, а с ним масло, сыроваренные заводы. Утратив свое административное и культурное значение, превратившись в заурядный рабочий поселок, он начал терять последнее, что у него имелось, — людей. Самые знающие и образованные потянулись в близлежащие города. С отъездом истинных весьегонцев разрушались и прежние взаимоотношения. И в Весьегонске восторжествовал дух той самой косности, пошлости и обывательской ограниченности, которыми так и веет от большинства наших и более крупных и более сохранившихся городов, как Ростов Великий, Переславль, Устюг, Макарьевск и Кологрив. Проходя по улицам таких провинциальных — некогда славных — городов, испытываешь два чувства: восхищение былой красотой и оторопь от того, чем они стали сейчас. Жизнь в них едва-едва теплится. Скорее, это агония, затянувшаяся на долгие годы.

Когда в четырнадцатом году весьегонских мужиков брали на войну, бабы в ближайших деревнях промеж себя разговаривали: «А кто воюет-то?» — «Не знам!» — «А весьский царь, он за кого?»

Вот доказательство того, какое место в сознании этих женщин занимал провинциальный городок: царь «всей Руси» у них становился «весьским», т. е. весьегонским.

И по сей день можно найти примеры того, как районный центр в сознании людей приобретает значение МИР-города. Так, старушка из одной прикамской деревни (дело было уже в шестидесятых годах), когда туристы стали поддразнивать ее: дескать, вон, космонавты в космос летают, а Леонов даже в открытое пространство выходил, а Бога не встретил, — с достоинством ответила: «А кто вам сказал, что они в космосе были! Небось в Набережные Челны съездили, документы подделали, а вы им и верите!»

Знала старушка и про Москву, и про Ленинград, а все-таки отправляла космонавтов за нужными документами в Набережные Челны — главное для нее города не существовало.

Возвышение провинциальных центров происходило не сразу, а постепенно, естественным образом. Один культурный пласт накладывался на другой, прежде чем он становился «энергетической точкой», которая привлекала крестьян большой ежегодной ярмаркой, куда при-

возили товары со всех концов России (и не только России). Сюда устремлялся и разбогатевший мужик — ему уже тесно было в деревне, и он желал завести дело поболее. А там, глядишь, то ли он сам, то ли его сыновья уже открыли свои лавки или магазины в Москве или Петербурге, как это случилось с Морозовыми, Басниным, Мамонтовым или Рябушинским. . . При этом они не забывали родной город, вкладывали в его развитие капитал, строили гимназии и училища, богадельни и храмы, обеспечивали стипендиями одаренных детей из бедных семейств, то есть всячески способствовали росту, и процветанию, и просвещению провинциального города. (Недаром ведь Весъегонская гимназия, тоже построенная за счет пожертвований, числилась одной из лучших в России!)

Дома, построенные в те времена, и по сей день являются самыми крепкими, самыми прочными, да и самыми красивыми. В некоторых провинциальных городах за семьдесят лет ни одного нового здания так и не появилось: в прежней гимназии расположили школу, в чьей-нибудь усадьбе — здание райисполкома, в бывшем лабазе — магазин и т. д. Все семьдесят лет мы продолжали пользоваться накопленным, и с трудом, но хватило-таки!

Разукрупнения, перенесение одного районного центра в другое место, чиновничье-бюрократические игры — разоряли сложившиеся «энергетические центры» в стране. И это имело столь же необратимые последствия и отразилось на всех уровнях жизни, сказалось на формировании национального характера не меньше, чем разорение крестьянства!

Для восстановления прежней, нормальной жизни и прежних связей город, помимо всего прочего, непременно должен осамититься, сделаться в и д и м ы м.

Это и объясняет причину стихийного появления в Весъегонске такого числа краеведов «на душу населения». И у каждого из краеведов — свой з а д о р.

Например, Николай Шеховцев, бывший редактор весъегонской газеты, отдает предпочтение документам: сбору фактов и строгому их изложению. Единственный из местных летописцев, он попытался в восьмидесятом году выпустить свою книгу об истории края и области через Тверское издательство, надеясь, что там последуют примеру Новгородской области, где обо всех мало-мальски заслуживающих внимания городах были выпущены хоть небольшие, но книги. (В то время как о Твери — некогда сопернице Москвы — серьезной краеведческой работы не написано.) Но в Тверском издательстве провинциальному автору пробиться не удалось. А типографии, способной выполнить такой заказ (который сумели сделать весъегонские коммунисты на прежней базе), уже не нашлось. А издать книгу за свой счет в кооперативном издательстве Шеховцев не может.

Наверно, поэтому Борис Купцов не торопится завершить многолетний труд и неспешно заполняет от руки одну общую тетрадь за другой, а потом — еще более аккуратным почерком — переписывает тетрадь на белом, как это делалось в добрые старые времена. Любой факт, любое событие описаны у него так, словно он был их очевидцем. Так и кажется, что он и в самом деле присутствовал на чествовании героев (выходцев из Весъегонска) знаменитой Чесменской битвы или же стоял ярким зимним днем у Богоявленского собора, возле которого остановился возок опальной княгини Дашковой. Словно он вместе с П. Тверским-Дементьевым (прозванным «американцем») безуспешно пытался добиться разрешения провести к Весъегонску железнодорожную ветку, а когда не удалось пробить бюрократические препоны, уехал в Америку и там исполнил заветную мечту — проложил одну из первых железных дорог в штате Флорида. . .

Глядя на работы всеьегонских летописцев, — столь разные, столь непохожие, как и сами авторы, — думаешь: а вдруг жители города возьмут и объявят сбор на то, чтобы помочь своим землякам издать не одну, а сразу несколько книг о городе... Надеюсь, не обойдут они своим вниманием Бориса Расцветаева и Марата Верхоланцева.

Вот только записок Аркадия Гришина мы никогда не увидим. Потому что он — явление особенное. Из породы тех, кого в народе называют п а м я т у х.

Лихой партизан, удалец, он вернулся с Великой Отечественной войны без ноги. Но помощи ни от кого не ждал, не просил; в столицу, чтобы выхлопотать кой-какой пенсией, не ездил. Деятельный, энергичный (на костылях он ходит так быстро, что за ним не поспеешь), он открыл Товарищество коневодов: вернул городу забытого трудягу, красивое и верное животное.

Худошавый, легкий, как подросток, с чуть выцветшими голубыми глазами, улыбчивый, наивно-добросердечный, он готов делиться своими знаниями и сведениями (как, впрочем, и другие летописцы) с кем угодно. Память его изумительна. Он не ведет никаких записей, но до сих пор называет своих однополчан не только по фамилии, имени и отчеству, но и знает дни их рождения, кличку и масть лошади, на которой они ездили. Помнит, в какой день недели и какое число были в тот день, когда они выходили на боевые операции. Он помнит, в каком доме, на какой улице кто жил в старом Всеьегонске, где находилось то или иное здание, какая перед домом была мостовая, сколько стояло скамеек. Сохранил он и знания из крестьянской жизни, полученные в детстве: на какой фазе луны выжигать уголь, на каком месте рубить деревья для строительства дома, чтобы он лучше держал тепло; как замешивать глину для обмазывания печей. Словом, он из породы тех, про которых говорят, что это «живая энциклопедия» народной жизни. Все эти качества у него наследственные. «Память в нашей семье у всех была хорошая, — говорит он, — устные предания были в ходу. Из бабушкиных рассказов помню самые первые о Дмитрие Донском, о Куликовской битве, о нападении поляков на Всеьегонск — задолго до того, как мы это в школе стали изучать».

Пример Аркадия Гришина подтверждает сказанное Розановым об «аристократичности русского крестьянства», которое достигается «сознанием своего древнего и вечного происхождения, что кладет на быт человеческий печать благородства». Те, кто начинают свою историю со вчерашнего дня и ограничивают свою жизненную формулу самоутверждением, — всегда буржуа, мещане.

Попытка пламенных преобразователей семнадцатого года зачеркнуть прошлое и ограничить свою жизненную формулу самоутверждением не принесла стране желаемых благ.

Но и наша попытка восстановить отдаленное теперь прошлое, зачеркнув вчерашний день, — грозит обернуться тем же самым.

В истории маленького города, страницы которой мы бегло пролистали, таится нечто большее, чем череда забавных и печальных происшествий, потому что такое соединение противоречивых качеств вообще присуще истории — двуликость которой еще и в том, что, обращенная назад, она открывает настоящее, помогая угадать и будущее: ведь народам, как и отдельным людям, свойственно повторять свои же ошибки.

И коль скоро слава Всеьегонска утвердилась с выходом в свет бессмертной поэмы, словами из нее, думается, уместно будет и закончить это повествование: «Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков... и самонадеянно, гордо, начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».

---

---

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

---

---

### В. Петров КАЛИОСТРО

#### *Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине*

Надо было подняться на пятый этаж большого петербургского дома в тихой Спасской улице, которая, впрочем, давно уже называлась тогда улицей Рылеева. Надо было три раза нажать на кнопку коммунального звонка. Тогда открывалась дверь, и за ней возникала атмосфера волшебства. Там жил человек, похожий на Калиостро, — Михаил Алексеевич Кузмин.

Он был одним из жильцов захлавленной и тесной коммунальной квартиры тридцатых годов. Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство, члены которого носили две разных фамилии, одни были Шпитальники, другие — Черномордики. Иногда к телефону, висевшему в прихожей, выползала тучная пожилая еврейка, должно быть глуховатая, и громко кричала в трубку: «Говорит старуха Черномордик!» Почему-то она именно так рекомендовалась своим собеседникам, хотя было ей на вид не больше, чем пятьдесят или пятьдесят пять. А однажды Кузмин услышал тихое пение за соседскими дверями. Пели дети, должно быть вставши в круг и взявшись за руки: «Мы Шпиталь-ники, мы Шпи-тальники!» Кузмин находил, что с их стороны это — акт самоутверждения перед лицом действительности.

Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин. Он почему-то просил соседей, чтобы его называли Юрием Михайловичем, хотя на самом деле имел какое-то совсем другое, еврейское имя и отчество. Если его просьбу исполняли, то он, из благодарности, принимался называть Юрия Ивановича Юркуна тоже Юрием Михайловичем. Почему он так любил это имя и отчество, — из пиетета ли к Ю. М. Юрьеву или по иным причинам — осталось невыясненным.

Иногда из соседней квартиры сюда являлись звонить по телефону грузины по фамилии Веселидзе. О них я не сохранил воспоминаний.

Управдом, из бывших прапорщиков, излюбленный персонаж рисунков Ю. И. Юркуна, относился с почтением к писательской профессии. Он говорил, что когда-нибудь будет в доме мраморная доска с надписью: «Здесь жили Кузмин и Юркун, и управдом их не притеснял». Как видно, он рассчитывал и на свою долю посмертной славы.

Наискосок, на бывшей Надеждинской, находилась когда-то квартира Бриков, друзей Кузмина. И уже была доска: «В этом доме жил Маяковский».



Кузмин уверял, что любит коммунальные квартиры: в них не так скучно. Однако при всей уживчивости и общительности нрава, при всей своей приветливой легкости он все же, я думаю, должен был страдать от тесноты и недостатка покоя в этой нескудной квартире.

Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна из них была проходной — та самая, где работал Михаил Алексеевич и где, главным образом, шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали.

Там принимали гостей Шпитальники, Пипкин, Веселидзе, и Черномордики иногда проходили мимо них на кухню. Во второй комнате скрывалась старушка Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались.

В комнате Кузмина стоял белый рояль, нарочно слегка расстроенный, чтобы он звучал, как клавесин. Стоял между окнами маленький письменный стол, покрытый толстым стеклом; над ним шла книжная полка с полным собранием сочинений Д'Аннунцио, которого Михаил Алексеевич любил, несколько стыдясь этого пристрастия. Над книгами висела старинная икона св. Георгия. Была кушетка, несколько стульев и огромный стенной шкаф, беспорядочно набитый книгами и папками, в которых хранились рукописи и всевозможные коллекции Ю. И. Юркуна.

На круглый обеденный стол ставили самовар. Жизнь шла открыто. Каждый день от пяти до семи приходили гости. Они являлись без приглашения и могли приводить с собой своих знакомых. Михаил Алексеевич сидел за самоваром и разливал чай.

Он говорил иногда, что его самовар станет когда-нибудь историко-литературной реликвией и попадет в музей. Этого не случилось. После ареста Ю. И. Юркуна все вещи Михаила Алексеевича исчезли бесследно. Сохранилась только любительская фотография, изображающая Кузмина за самоваром.

После чая Михаил Алексеевич садился к роялю и играл, чаще всего Моцарта или Дебюсси, а изредка что-нибудь пел вполголоса. При этом от гостей не требовалось молитвенного молчания; они продолжали громко разговаривать под музыку.

Весной 1938 года меня привел в этот дом художник К. Е. Костенко, мой сослуживец по Русскому музею. Мы пришли в приемные часы, между пятью и семью. За столом уже сидело довольно большое общество. Михаил Алексеевич был у самовара. Вместе с ним принимали гостей Юрий Иванович Юркун, молодежавый и красивый, как Дориан Грей, и Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, жена Юркуна. С ними обоими я вскоре очень подружился. Среди людей, которых встретил в тот день за чайным столом у Кузмина, я помню Константина Вагинова, поэта и переводчика Бенедикта Лившица и Бориса Сергеевича Молосова, друга поэтов, которого знали и любили Гумилев, Пяст, Г. Чулков и Вячеслав Иванов.

К. Е. Костенко и я тогда же получили приглашение — раз навсегда — приходить в любой день от пяти до семи. Но Костенко, насколько я помню, больше не появлялся в кузминском доме. А я стал завсегдатаем.

Я думаю, что мне следует представить читателям человека, от лица которого пойдет дальнейший рассказ. В самом деле, кто же этот «я», рассказывающий о поэте? Двадцатилетний юноша, начинающий историк искусства, безмерно увлеченный эпохой Кузмина и ее культурой? Или же — усталый стареющий человек, который через тридцать лет вызывает в памяти события и впечатления своей юности и волей-неволей видит их теперь сквозь призму прожитой жизни и накопленного опыта?

Автор хотел бы, чтобы его — теперешнего — вовсе не было на этих страницах.

\* \* \*

В начале тридцатых годов Кузмин был мало сказать — известен: он был знаменит. Полоса непризнания и забвения, позднее так надолго скрывшая его поэзию, тогда еще не наступила. Она лишь приближалась. Литературные и окололитературные юноши моего поколения отлично знали книги Кузмина. Для меня он был одним из любимых поэтов. Потому я так обрадовался возможности познакомиться с ним, а войдя в дом Михаила Алексеевича, я испытал такое чувство, будто знаю его уже очень давно, чуть ли не с тех пор, когда, еще подростком, впервые читал «Александрийские песни» и «Нездешние вечера» или «Приключения Эме Лебефа» и «Комедию о Евдокии из Гелиополя». Кузмин был похож на свои книги. Живое общение с поэтом создавало тот же образ, который возникал и при чтении его стихов. Я думаю, что это — одно из свидетельств цельности его природы и органичности дарования. Он выразил себя в искусстве с несравненной простотой, непосредственностью и естественностью.

Гораздо позднее я прочитал во «Встречах и впечатлениях» А. Я. Головина следующие строки, которые цитирую здесь с трудом и против воли: «Когда я думаю о М. А. Кузмине, мне представляется полутемная комната, заставленная старинной мебелью, таинственная и строгая, лунное сияние заливают мягким серебристым светом тусклое золото старых резных рам, янтарно-смуглое красное дерево, портреты, ковры, гобелены. Когда я вижу прекрасные старинные вещи, затаившие в себе чью-то давнюю жизнь, впитавшие в себя радости и тревоги многих поколений, — я вспоминаю Кузмина и его стихи».

Так можно было бы писать о каком-нибудь эпигопе Кузмина, но не о нем самом. Люди моего поколения смотрели на Кузмина другими глазами, ценили и любили в нем совсем другое, не стилизованное и старинное, а живое и современное.

Начав когда-то с людьми «Мира Искусства», Кузмин пошел дальше их, оказался тоньше и восприимчивее к веяниям самой жизни. В двадцатых и в первой половине тридцатых годов, когда идеи экспрессионизма и порожденного им сюрреализма в самом буквальном смысле слова носились в воздухе, без труда пересекая любые государственные границы, именно Кузмин подхватил и развил их с неподражаемой оригинальностью. Сборник «Форель разбивает лед», в котором так остро увиден новейший послевоенный Запад, а также многие стихотворения двадцатых годов были вполне «своими» для поэтического авангарда постреволюционной эпохи.

Что же представляет собой поэзия Кузмина, столь непохожая на то, что создавали его современники, совсем отдельная, опережающая развитие литературных течений эпохи? И, вместе с тем, неотделимая от нее, могущественно повлиявшая на современную поэзию — от камерной лирики снобов из «Аполлона» до грандиозной и трагической «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

Наука о литературе еще не дала ответа на эти вопросы.

Кузмин, может быть, в большей степени, чем кто-либо из его современников, обладал тем, что можно назвать поэтическим отношением к действительности, иначе говоря, умением видеть поэзию во всех явлениях жизни, самых обыденных, будничных и неприятельных, даже в тех, которые, по представлениям его эпохи, считались «непоэтичными». К мотивам его поэзии можно было бы отнести слова о «живой жизни», сказанные в одном из романов Достоевского. «Живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, — говорит Достоев-

ский, — есть нечто до того прямое и простое, до того обычное, ежедневное и ежеминутное, до того прямо на вас смотрящее, что именно из-за этой прямоты и ясности невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы вечно с таким трудом ищем».

Это «прямое, простое, обычное и ежеминутное» Кузмин умел раскрыть в образах природы и в мире обыденных предметов, наполняющих повседневное течение жизни человека, и нашел способ сделать этот мир одним из определяющих мотивов своей лирики. Пастернак называл лирические перечисления Кузмина «приемом мгновенного и мимолетного затрагивания пейзажа и задевания за него в вещах большой лирической скорости»\*.

Ход поэтического мышления Кузмина в каком-то смысле противоположен мышлению символистов. Кузмин стремился неземное поднимать до звезд, а небесное и звездное осмысливать и истолковывать как живущее на земле.

Отзыв о Кузмине Головина характерен: так воспринимали Кузмина его первые ценители, люди круга «Мира Искусства». Они видели в нем только то, что было в них самих. Они считали его стилизатором, эстетом и «романтиком», в самом неопределенном и несколько пошловатом смысле этого термина. В таком толковании его творчества есть немало ложного, поверхностного и даже обывательского. Поэтическое мышление Кузмина непрерывно росло, развивалось и изменялось. Он был сложнее и значительнее, чем казалось его современникам, даже близким ему людям «Мира Искусства».

Кузмин вышел из их среды и сквозь всю жизнь пронес некоторые взгляды и убеждения, восходящие именно к «Миру Искусства»: представление об искусстве как об истинной и бессмертной реальности, более достоверной, чем окружающая действительность, которая нередко оказывается мнимой, обманчивой и кажущейся; непоколебимое равнодушие к социальной проблематике, всегда игравшей такую важную роль в русском искусстве и культуре; наконец, некоторые капризы вкуса, любовь к Бердслею, Уайльду, Д'Аннунцио и ко всей духовной атмосфере модерна.

Я думаю, что здесь же следует искать источник слабых и уязвимых сторон творчества Кузмина, проявившихся, главным образом, в его прозе, особенно в больших романах, вроде «Нежного Иосифа», «Мечтателей», «Плавающих и путешествующих» и «Тихого стража», с их нелепой, порою даже безвкусной сентиментальностью и странным мистицизмом, окрашенным какой-то грязноватой эротикой и переходящим иногда в непереносимую пошлость, — которая, должно быть, коренилась глубоко в самой эпохе, потому что от нее не был свободен ни один из больших художников модерна. Сам Михаил Алексеевич не мог этого видеть; он принадлежал своей эпохе и считал, что «Тихий страж» — одна из его лучших книг.

Ничего подобного нет в его стихах. Поэзия Кузмина рождается из лирического переживания, настолько глубокого и непосредственного, и выражает такую огненную силу чувства, что в ней исчезает и сгорает дотла все нечистое: сентиментальность становится растроганной нежностью, а эротическая мистика превращается в просветленную духовность.

В отличие от людей «Мира Искусства» Кузмин был философом. Его отношение к действительности и даже его эстетизм выростали на почве цельного мировоззрения, сложившегося в итоге глубокого изучения античных мыслителей — от пифагорейцев и Платона до Плотина, александрийцев и гностиков.

\* Г. Шмаков. Михаил Кузмин. В сб.: «День поэзии — 68». Л., «Сов. писатель», 1968, с. 115.

По верному определению Г. Шмакова, «Крылья» — не понятый современниками философский роман (пусть даже незрелый или неудавшийся).

Стилизация Кузмина опиралась не только на широкую образованность, нередкую в его поколении, но и на острую и пронизательную интуицию, которой нелегко найти аналогию в русском искусстве и литературе. П. П. Муратов писал в предисловии к «Образам Италии» об «удивительно проникновенном изображении христианского Рима в «Комедии об Алексее — человеке Божьем». Вяч. И. Иванов, разбирая «Повесть об Елевсиппе» и «Подвиги великого Александра», указывал на «превосходство исторического колорита».

Тот же Вяч. Иванов, сам теснейшим образом связанный с романтизмом, настойчиво подчеркивал, что Кузмин — не романтик, «поющий и не слышащий», он — эхо (в том особенном смысле, какой вкладывал в это слово Пушкин).

В романтизме Кузмин любил одного Гофмана; вся бунтарская и хаотическая стихия романтизма с ее трагическим безумием и чрезмерной, нередко ложной патетикой оставалась чужда его гармоничной и цельной, хотелось бы сказать, — гётеанской натуре. Любовь к Гофману, впрочем, тоже не была безоговорочной. Мне кажется, что Гофман привлекал Кузмина чертами, родственными искусству XVIII века, а не романтизму.

Однажды, играя, по моей просьбе, отрывки из оперы «Ундина», написанной Гофманом, Михаил Алексеевич сказал:

— Гофман всегда уверял, что преклоняется перед Моцартом. А в своей музыке оказался гораздо ближе к Бетховену. И это очень досадно!

Я хочу еще раз вернуться к цитированным строкам Головина. Мне кажется, что комната, описанная им, могла быть у деятелей старшего поколения «Мира Искусства», обеспеченных людей и утонченных коллекционеров: у Сомова, Дягилева или Нувеля, у самого Головина, наконец. Но невозможно представить себе ничего более противоположного тому, что в действительности было у Михаила Алексеевича. Ни резных рам, ни красного дерева, ни гобеленов я у него не видел и склонен думать, что их никогда у него и не бывало, — даже не потому, что Кузмин прожил свою жизнь отнюдь не в богатстве, а доживал ее в нужде. Он просто был выше суетной страсти к вещам, выше любви к уюту. Он жил в проходной комнате с висячей лампочкой под жестяным колпаком, среди рыночной мебели, не замечая ее и не нуждаясь в декорациях, потому что владел чудесным даром превращать в поэзию все, к чему прикасался. Бедная комната с некрасивыми вещами становилась таинственной и поэтичной, потому что в ней жил поэт.

\* \* \*

Выше я сравнил Кузмина с Калиостро. Конечно, это не относится к его внешности. Михаил Алексеевич нисколько не напоминал тучного и суетливого итальянца, так замечательно изображенного в «Новом Плутархе». Но, подобно своему герою, Кузмин обладал магической силой и зачаровывал людей. Облик Кузмина запечатлен во множестве портретов и не раз описан мемуаристами. Мне остается только рассказать, как выглядел поэт в последние годы жизни.

Если бы удалось хоть на минуту отвлечься от очарования, которое так непобедимо действовало на всех, кто знал Михаила Алексеевича, то, пожалуй, можно было бы сказать, что он выглядит старше своих лет. Его матово-смуговое лицо казалось пожелтевшим и высохшим.

Седые волосы, зачесанные на лоб, не закрывали лысины. Огромные глаза под седыми бровями тонули в глубокой сетке морщин.

Таким изображают его почти все фотографии и некоторые поздние, натуралистические, впрочем, совершенно непохожие портреты (я имею в виду известную литографию Верейского и менее известный, но где-то воспроизводившийся рисунок Е. И. Кржижановского). Если сравнивать с ранними портретами — хотя бы головинским или сомовским, — становится заметно, что весь облик Кузмина с годами сделался строже и четче, графичнее, если можно так выразиться.

А если довериться сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин — это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом.

Но это впечатление ложно. Фотографии ошибаются — даже не потому, что объектив видит не так, как глаз человека, а потому, что аппарат не поддается очарованию. А здесь все решалось именно силой очарования. Слова «старик» или «старичок» так несовместимы с обликом Кузмина, что, наверное, никому и не приходили в голову. Михаил Алексеевич был настолько непохож на других людей, что не попадал под типовые определения.

Почти то же можно сказать и о его поэзии. Она не поддается классификации.

Обычно, за неимением другого ярлыка, Кузмина причисляют к символистам. Сами символисты не считали его своим. Блок по поводу выступления Кузмина в групповом журнале «Труды и дни» с раздражением писал Андрею Белому, что «Кузмин на наших пирах не бывал». Правда, это не мешало символистам, в первую очередь именно Блоку, а также Бальмонту и Вячеславу Иванову, понимать и очень высоко ценить поэзию Кузмина. В 1908 году Блок писал: «Милый Михаил Алексеевич, читаю вашу книгу вслух и про себя... Господи, какой вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю... Долго жму ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо».

Были попытки непосредственно связать поэзию Кузмина с акмеизмом, но они едва ли убедительны. Некоторых критиков и историков литературы сбивала с толку статья Кузмина «О прекрасной ясности», напечатанная в «Аполлоне» почти одновременно с программными антисимволистскими статьями Гумилева и Городецкого. Однако в воззрениях Кузмина — и тем более в его творчестве — очень мало общего с акмеистической или какой бы то ни было групповой программой.

Мне вспоминается, как однажды кто-то из молодых гостей Кузмина стал хвалить стихи Гумилева и восхищаться гумилевской ясностью.

Михаил Алексеевич вмешался в разговор очень решительно.

— Да, — сказал он. — Такая тупая ясность!

Акмеисты не любили стихов Кузмина и тоже не считали его своим.

Лучше, сказать, что они *не всегда* любили поэзию Кузмина и отзывались о ней иногда восторженно, а чаще — с холодностью и равнодушием. В 1916 году О. Э. Мандельштам писал: «Кузмин пришел от волжских берегов с раскольничьими песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой: от «Концерта» Джорджоне в Палаццо Питти до последних поэм Дебюсси». В более поздней статье (1922) он писал: «Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гётевское слияние «формы» и «содержания», убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая, нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывают из забвения (классицизм)».

В устах Мандельштама — это особенно большая похвала. Он был убежден, что настоящие стихи следует именно «припоминать уже при первом чтении, выверяя каждое слово на своем опыте или соотнося со своей основной идеей, той самой, что делает человека личностью». Но в последних строках статьи уже чувствуется холодок осуждения: «Однако «кларизм» Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает».

В великолепно написанной статье «Вульгата» (1923) Мандельштам в следующих выражениях говорит о Кузмине и Ходасевиче: «Это типичные младшие поэты со всей свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука». В контексте статьи Мандельштама «младшие» значит — второстепенные. Продолжая цитату: «Для Кузмина старшая линия мировой литературы как будто вообще не существует. Он весь замешан на канонизации младшей линии, не выше комедии Гольдони и любовных песенок Сумарокова. В своих стихах он довольно удачно культивировал сознательную небрежность и мешковатость речи, испещренной галлицизмами и полонизмами. Зажигаясь от младшей поэзии Запада... он дает читателю иллюзию совершенно искусственной и преждевременной дряхлости русской поэтической речи. Поэзия Кузмина — преждевременная старческая улыбка русской лирики».

Гумилев в рецензии на «Осенние озера» пошел еще дальше в отрицании Кузмина, назвав его поэзию «салонной». Правда, этот убийственный эпитет сопровождается множеством вежливых оговорок, но они не меняют сути дела.

Впоследствии я слышал от А. А. Ахматовой, что, по ее убеждению, рецензии Гумилева навсегда оттолкнули Кузмина от всей группы акмеистов.

Я думаю, впрочем, что не следует с чрезмерной категоричностью отрывать Кузмина от той художественной проблематики, которая занимала акмеистов в пору создания «Цеха» и продолжала в дальнейшем влиять на творчество больших поэтов, входивших в состав группы. Почти одновременные выступления Кузмина и Гумилева с теоретическими статьями в «Аполлоне» свидетельствуют о том, что оба поэта делали общее дело, преодолевая наивную и прямолинейную метафизику символизма.

В те годы Мандельштам писал в статье «Природа слова»: «Русские символисты... запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь... Все преходящее только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе неинтересен, роза — подобие солнца, солнце — подобие розы и т. д.?.. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга... Никто не хочет быть самим собой».

Впрочем, литературные разногласия не всегда переносились на личные взаимоотношения поэтов. Гумилев сердечно любил Кузмина как человека и, мне кажется, разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимо от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет.

— А Мишеньке (то есть Кузмину) — три.

— Я помню,— рассказывал Гумилев,— как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие

мальчики или, тем более, взрослые так уже не могут разговаривать о сладком — с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением.

В самом деле, в стареющем, поразительно умном и необыкновенно широко образованном Кузмине иногда проскальзывали черты детского чистосердечия, ясности и непосредственности, какие могут быть свойственны разве только трехлетнему ребенку. (Рассказ Гумилева я записываю со слов О. Н. Гильдебрандт.)

\* \* \*

Часто бывая на дневных чаепитиях у Михаила Алексеевича, я познакомился, вероятно, почти со всеми людьми, окружавшими его в последние годы жизни.

Самыми близкими друзьями Кузмина были в ту пору Радловы. Кузмин очень любил Анну Дмитриевну Радлову, называл ее «поэтом с большим полетом и горизонтами» и восхищался ее внешностью, в которой находил черты сходства с Линой Кавальери и, вместе с тем, что-то лошадиное: «Помесь лошади с Линой Кавальери». Дружба распространялась на все семейство Радловых: то есть на Сергея Эрнестовича, известного режиссера, а также на его брата Николая Эрнестовича, очень образованного и остроумного человека, превосходного критика, но неважного художника.

Впрочем, ирония Михаила Алексеевича не щадила и друзей. Про Анну Дмитриевну ему случалось говорить, что она «генеральша бестолковая», а на Николая Эрнестовича он досадовал за портрет, написанный в двадцатых годах, а позднее находившийся в Пушкинском Доме. Кузмин изображен там держащим в руках свою книгу «Нездешние вечера».

Мне, по службе в Русском музее, пришлось однажды взять этот портрет из Пушкинского дома на какую-то выставку. Автомобиля мне, естественно, не полагалось, и я шел с Васильевского острова пешком с портретом в руках. Когда я рассказал об этом Кузмину, он посмеялся, а потом проговорил полушутя, полувсерьез и как-то совсем по-детски:

— А я-то думал, что вы мне друг. Только подумать: вы несли в руках эту гадость, шли с ней через мост и не выбросили в Неву!

— Почему вы считаете портрет таким плохим? — спросил я.

— Вы же его видели. Что уж тут комментировать! — ответил Михаил Алексеевич. — К тому же что за нелепая мысль изображать меня с моей собственной книгой! Я никогда не читаю моих книг. Я в них вижу одни только недостатки.

И, помолчав, прибавил:

— Впрочем, если бы эти стихи написал кто-нибудь другой, они мне, может быть, нравились бы.

Знакомые Радловых становились знакомыми и посетителями Кузмина. Это были артисты, люди театра, художники. Кузмин часто говорил, что всю свою жизнь прожил среди художников. В молодости он был близок с Сомовым и со всем кругом старшего поколения «Мира Искусства», позже — с Судейкиным и особенно с Сапуновым. Все они так или иначе отразились в поэзии Кузмина, а иные имели на нее немалое влияние.

В сборнике «Форель разбивает лед» есть стихотворение под заглавием «Мечты пристыжают действительность», где появляются тени исчезнувших друзей:

Летний сад, надутый гений,  
 Бестолковый спутник Лева,  
 Иностранных отделений (Сомов) (Бакст)  
 Доморощенный Вольтер.

В том же сборнике, во «Втором вступлении»:

Непрошенные гости  
 Сошлись ко мне на чай.  
 Тут хочешь иль не хочешь  
 С улыбкою встречай.  
 . . . . .

Художник утонувший  
 Топочет каблучком, (Сапунов)  
 За ним гусарский мальчик (поэт Всев.  
 Князев)  
 С простреленным виском.

Более раннее стихотворение — «Сапунову», написанное после гибели художника, невольным виновником которой был Михаил Алексеевич:

Не знал, другая цель нужна ли,  
 Как ярче сделать завиток,  
 Но за тебя другие знали,  
 Как скромный жребий твой высок.  
 . . . . .

Всегда готов, под мышки ящик,  
 Дворец раскрасить иль подвал,  
 Пока иной, без слов, заказчик  
 От нас тебя не отозвал.  
 . . . . .

Сказал: «Я не умею плавать».  
 И вот отплыл плохой пловец  
 Туда, где уж сплетала слава  
 Тебе лазоревый венец.

В последние годы жизни Кузмин продолжал дружить с художниками. Постоянно бывал у него последний обломок «Мира Искусства», учтивый и чинный петербуржец, скромнейший человек и пленительный художник Дмитрий Исидорович Митрохин. Почти так же часто появлялся петербуржец совсем иного типа, близкий к кубизму, живописец и график Владимир Васильевич Лебедев, которого Кузмин считал несравненным мастером, но несколько холодным и слишком рассудочным художником. Наездом из Москвы нередко появлялись у Кузмина В. А. Миклашевский, Т. В. Маврина, Н. В. Кузьмин, а также А. А. Осмеркин и А. Г. Тышлер, которые, в отличие от большинства художников, любили и понимали стихи.

Изобразительное искусство вошло и в самый дом Кузмина вместе с О. Н. Гильдебрандт-Арбениной, женой Юркуна, бывшей актрисой, покинувшей театр ради живописи. Художником стал и Ю. И. Юркун, к некоторому неудовольствию Михаила Алексеевича: он чрезвычайно высоко ставил писательское дарование Юркуна и считал, что тот должен заниматься литературой, а не рисунками.



К Юркуну часто приходили молодые художники. Среди них Михаил Алексеевич особенно выделял П. И. Басманова, с большой проныцательностью угадав в нем оригинальный и сильный талант.

Он подарил Басманову очень хороший и несомненно подлинный рисунок Сурикова и сказал при этом:

— Вы любите Сурикова; а мне вот больше нравятся ваши акварели.

Иногда, очень редко, в кузминском доме появлялась компания веселой молодежи, не художественной, не литературной и даже не окололитературной. Ее приводил талантливый музыкант и весьма светский молодой человек кн. Петр Андреевич Гагарин: с ним приходила его прелестная жена и два или три приятеля. Михаил Алексеевич любил молодые лица и радовался их появлению.

\* \* \*

Однако большинство посетителей кузминского дома все-таки составляли поэты. Очень разные, непохожие друг на друга и по большей части далекие от той поэтической культуры, носителем которой был сам Кузмин, они все тянулись к нему, потому что высоко ценили его мнение, свойственную ему тонкость понимания стихов, точность и молниеносную быстроту его реакций и умение дать верный совет.

Я не застал того времени, когда Кузмин дружил с Хлебниковым или, позже, с Пастернаком. Но я перевидал у него немало поэтов — кажется, из всех живших тогда поколений.

Выше я уже назвал Бенедикта Лившица и Анну Радлову. За чайным столом у Михаила Алексеевича я встречал Сергея Спасского, Рюрика Ивнева, Виссарiona Саянова и Сергея Нельдихена.

Вагинов, Хармс и Введенский приходили читать Кузмину и слушать его советы. Представители поэтического авангарда тех лет, особенно самого крайнего левого фланга, подчеркнута выделяли Кузмина из среды поэтов старшего поколения и, кажется, только с ним одним и считались. Это, впрочем, относится не только к поэтам авангарда.

Однажды, поднимаясь по лестнице, я заметил тучного и, как мне показалось, не очень молодого человека, который, пыхтя и отдуваясь, поднимался с трудом на пятый этаж.

В первую секунду я принял его за Пипкина, описанного выше жильца кузминской квартиры. Но он окликнул меня:

— Вы идете к Кузмину?

— Да,— сказал я.

— Подождите. Пойдемте вместе. Я Багрицкий.

За столом у Кузмина не было принято читать стихи. За чаем шел только общий разговор. Мне запомнилось, с каким вниманием и почти-тельностью Багрицкий обращался к Кузмину и слушал его. Тогда мне думалось, что это странно. Казалось бы, что общего между ними?

В другой раз Михаил Алексеевич пригласил меня прийти не в обычные дневные часы, а вечером, чтобы познакомиться с поэтом, которого он особенно ценил. Это был Андрей Николаевич Егунов, поэт, прозаик и ученый-эллинист, выступавший в литературе под псевдонимом «Андрей Николаев». Он жил тогда где-то в ссылке, за стоверстной зоной, и потому очень редко появлялся у Кузмина.

Егунов был, пожалуй, единственным человеком и едва ли не единственным поэтом, в котором я замечал что-то общее с Кузминым. Эти неуловимые черты сходства проявлялись не только в стихах Егунова или в его блистательной прозе, лирической и насмешливой, но и в самом стиле мышления, даже в манере говорить и держаться. Он и за

столом сидел как-то похоже на Кузмина, так же уютно и с такой же естественной и непринужденной грацией. Впрочем, ни в его манерах, ни в его творчестве не было ничего подражательного.

Ю. И. Юркун стал показывать свое собрание репродукций.

— Я тоже собираю картинки,— сказал Егунов.— И делаю с ними некоторые эксперименты. Иногда прихожу к интересным результатам.

— Каким?— спросил Юрий Иванович.

— Я комбинирую,— объяснил Егунов.— Например, вы помните картину Репина «Не ждали»? Там в двери входит бывший арестант, вроде меня, возвращенный из ссылки. Я подобрал по размеру и на его место вклеил Лаокоона со змеями.

Мы вообразили картину Репина с Лаокооном.

— Да,— сказал Михаил Алексеевич.— Действительно, не ждали!

Среди поэтов еще более молодого поколения самыми заметными были Иван Алексеевич Лихачев и мой университетский товарищ Алексей Матвеевич Шадрин. Оба они писали хорошие стихи, а позднее стали очень известными переводчиками. Они уже тогда знали множество языков и обладали необыкновенной начитанностью.

Я упоминаю об этом, потому что вся атмосфера кузминского дома характеризовалась поразительно высоким уровнем образованности.

Недосыгаемым примером был сам Михаил Алексеевич. Нельзя назвать ни одного сколько-нибудь значительного явления европейской духовной жизни, искусства, литературы, музыки или философии, о котором он бы не имел собственного, ясного, вполне компетентного и самостоятельного мнения.

Круг его интересов и пристрастий характерен для русской культуры XX века, созданной или, лучше сказать, насажденной деятелями «Мира Искусства» и младшим поколением символистов. У Кузмина дело шло из первых рук. Он сам был среди тех, кто насаждал эту культуру.

Основу его образованности составляло знание античности, освобожденной от всего школьного и академического, воспринятой, быть может, через Ницше — хоть Михаил Алексеевич и не любил его — и, в первую очередь, через большую немецкую философию. Книгу Эрвина Родэ «Die Phuse» Кузьмин читал постоянно — чаще, чем Священное Писание, по собственным его словам.

Почти минуя средневековье, в котором его привлекали только отзвуки античного мира, вроде апокрифических повестей об Александре Македонском, интересы Кузмина обращались к итальянскому Возрождению, особенно к Флоренции кватроченто с ее замечательными новеллистами и великими художниками Боттичелли и молодым Микеланджело.

Отблески искусства кватроченто, флорентийского и венецианского, глубоко проникли в поэзию Кузмина, возникая иногда даже там, где строй его поэтической речи был сознательно и подчеркнута простонародным, а тема — русской и неожиданно современной.

Вот стихотворение, которое никогда не издавалось:

Не губернаторша сидела с офицером,  
 Не государыня внимала ординарцу,  
 На золоченом, закрученном стуле  
 Сидела Богородица и шила.

А перед ней стоял Михал-Архангел.  
 О шпору шпора золотом звенела,  
 У палисада конь стучал копытом,  
 А на пригорке полотно белилось.

Архангелу Владычица сказала:  
 — Уж право я, Михайлушко, не знаю,  
 Что и подумать. Неудобно слуху.  
 Ненареченной быть страна не может.

Одними литерами не спастися.  
 Прожить нельзя без веры и надежды  
 И без царя, ниспосланного Богом.  
 Я — женщина — жалею и злодея,

Но этих за людей я не считаю.  
 Ведь сами от себя они отверглись  
 И от души бессмертной отказались.  
 Тебе предам их. Действуй справедливо.

Умолкла, от шитья не отрываясь,  
 Но слезы не блескнули на ресницах,  
 И сумрачен стоял Михал-Архангел,  
 А на броне пожаром солнце рдело.  
 «Ну, с Богом!—  
 Богородица сказала.  
 Потом в окошко тихо посмотрела  
 И молвила:— Пройдет еще неделя,  
 И станет полотно белее снега».

Мне кажется, что от образов этого стихотворения исходит золотое сияние, как от картин Джентиле Беллини или Джорджоне.

От итальянского Возрождения внимание Кузмина устремлялось к елизаветинской Англии с ее великой драматургией; далее — к Венеции XVIII века с *commedia del arte*, волшебными сказками Гоцци и бытовым театром Гольдони; еще далее — к XVIII веку в дореволюционной Франции, к Ватто, аббату Прево и Казотту, и, наконец, к немецкому *Sturm und Drang* и эпохе Гёте.

В этом широком и сложном духовном мире русский элемент занимал сравнительно небольшое место и падал на более поздние эпохи. К образцам и темам допетровской Руси, в частности к древнерусской иконе и литературе, Кузмин прикоснулся когда-то через старообрядчество, с которым сблизился в годы молодости. Потом этот интерес ослабел и сменился в конце концов равнодушием.

Михаил Алексеевич иногда подшучивал над моим русофильством и уверял, что впервые встречает человека, способного запомнить все княжеские усобицы и разобраться в генеалогии владетельных семейств удельного времени.

В культуре XIX века Кузмин особенно любил уже названного мною Гофмана, а также Диккенса, Бальзака, Пушкина, Достоевского и Лескова.

— Из пары Гофман — Эдгар По я выбираю Гофмана, в нем больше чувства. Но слишком логичен, холоден и интеллектуален, — говорил Михаил Алексеевич. — А из пары Диккенс — Теккерей выбираю Диккенса, потому что Теккерей для меня слишком социален.

Современную западную литературу в тридцатые годы знали мало, в сущности, только урывками. Книги с трудом проникали через границу и были редки. «Новыми» считались книги предшествующего десятилетия. Правда, имена Джойса и Пруста иногда мелькали в газетной полемике. В. О. Стенич переводил Джойса, но я не помню, чтобы Михаил Алексеевич когда-нибудь упоминал это имя. Об Олдосе Хаксли он говорил с уважением.

Меня удивил его отзыв о Прусте. Кузмин сказал, что проза «Поисков утраченного времени» кажется ему слишком совершенной и недостаточно живой, он сравнил ее с прекрасным мертворожденным младенцем, заспиртованным в банке.

Впрочем, это впечатление объяснялось тем, что Михаил Алексеевич вначале прочел Пруста не по-французски, а в переводах А. А. Франковского. Позже отзывы Михаила Алексеевича совершенно переменялись. Ему, конечно, не могло не быть близким искусство Пруста и его эстетика, уходящая глубокими корнями в культуру модерна. Последние книги Пруста, написанные несколько наспех и не столь отточенные, нравились Кузмину гораздо больше первых.

В двадцатых годах Кузмин много и охотно переводил Ренье, но репутацию этого писателя считал преувеличенной. Он находил его вялым, слишком статичным и описательным — в общем, неспособным к стремительному развитию действия. В заметках «Чешуя в неволе» он назвал его «эстетическим Чеховым». Однажды Кузмин сказал: «Я бы, в конце концов, ничего не имел против Ренье, но мне страшно надоели его поклонники».

Самым любимым из новых французов был для него Жироду. Я думаю, что он привлекал Кузмина своей таинственностью и поэтичностью. Однако мне представляется, что чтение французских авторов было для Михаила Алексеевича не более чем развлечением. По-настоящему были важны для него только немцы и австрийцы. Кафку, кажется, он не знал, а особенно любил Густава Мейринка, впрочем, не «Голем», которого все читали в тридцатых годах, а другой роман, никогда не издававшийся по-русски, — «Ангел западного окна».

Я часто слышал от Михаила Алексеевича, что в течение всей жизни, никогда не разочаровываясь, он любил то, что полюбил в детстве: Пушкина, Гете, «Илиаду» и «Одиссею», исторические хроники Шекспира.

Перевод «Прощания Гектора с Андромахой», опубликованный в шестом номере журнала «Звезда» за 1933 год, был, насколько я знаю, последним печатным выступлением Кузмина и последней данью его вечной любви к Гомеру.

Разумеется, я мог назвать здесь лишь главные пристрастия Михаила Алексеевича, вовсе не претендуя на исчерпывающий каталог его знаний.

В действительности его эрудиция была шире и систематичнее того, что я упомянул. Она была в равной степени свободна и от тупого приват-доцентского педантизма, и от дилетантского верхоглядства. Она казалась такой же естественной и непринужденной, как все в Кузмине. Ему было легко и радостно знать и помнить то, что он любит.

Нетрудно представить себе, какое впечатление могла производить эта эрудиция на людей моего непросвещенного и невежественного поколения. Мне она казалась всеобъемлющей. Но когда я однажды сказал об этом Кузмину, он очень серьезно и скромно ответил мне, что это не так.

— По-настоящему я знаю только три предмета, — сказал Михаил Алексеевич. — Один период в музыке XVIII века до Моцарта включительно, живопись итальянского кватроченто и учение гностиков. А, скажем, античную литературу, да и вообще античность, Адриан Иванович Пиотровский знает лучше, чем я. А Смирнов лучше меня знает шекспировскую эпоху.

Более чем когда-либо я досаую здесь на свою немзыкальность. В жизни Кузмина и в его духовном мире музыка занимала огромное место, может быть, большее, чем живопись, история или философия. Когда-то он готовился к профессиональной композиторской деятель-

ности и в течение многих лет писал музыку. Но я не умею рассказать о ней.

Критика, впрочем, не раз отмечала, что стихи Кузмина «не музыкальны» в том смысле, в каком, например, музыкален Блок. Лирические интонации Кузмина лишь редко бывали «поющими», преобладали интонации разговорные, не чуждающиеся прозаизмов.

Но музыка, как мне представляется, была заложена не в поверхностном слое поэтического мышления Кузмина, влияющем на фактуру стиха, а где-то в глубинных слоях, определяющих более существенные структурные особенности его лирики.

Не следует ли именно в музыкальной культуре Кузмина искать источник и опору несравненного композиционного мастерства, каким характеризуется вся его поэзия?

Впрочем, я решаюсь лишь поставить этот вопрос и не беру на себя смелости дать ответ.

\* \* \*

Чтобы очертить круг людей, близких Кузмину в позднюю пору его жизни, мне нужно назвать еще несколько имен.

Одной из центральных фигур этого круга был Лев Львович Раков, историк, сотрудник Эрмитажа, позже ставший оригинальнейшим писателем. Я тогда еще не знал замечательной прозы Ракова, которая никогда не печаталась, и мог восхищаться лишь его блистательным остроумием и дарованием рассказчика. Ему посвящена книга стихов Кузмина «Новый Гуль» (1924), полная пожеланий и предсказаний счастья и славы.

Вслед за ним назову Алексея Алексеевича Степанова, тоже историка, сотрудника историко-бытового отдела Русского музея. Степанов не был профессиональным деятелем искусства — ни художником, ни артистом, ни критиком. Но он превосходно знал театр, особенно любил и понимал балет. Именно театральные интересы объединяли его с Кузминым.

В тридцатых годах Михаил Алексеевич почти не писал стихов. Одним из немногих исключений, о которых я знаю, было стихотворное послание А. А. Степанову. Я запомнил только маленький отрывок:

... и, новый Магомет,  
Все жду я в гости гору  
К себе — на склоне лет...

Оба: и Л. Л. Раков, и А. А. Степанов — были очень красивыми, элегантными и светскими молодыми людьми. Вместе с ними в дом Кузмина проникали отголоски светской жизни, которая еще теплилась в начале тридцатых годов, пока люди не стали бояться друг друга и избегать общения, как это вскоре случилось. Михаил Алексеевич сам был светским человеком, и светские темы его интересовали.

Мне запомнилось, как однажды Л. Л. Раков с увлечением рассказывал Кузмину и даже показывал в лицах выступление Стенича на каком-то вечере у общих знакомых.

— Стенич разработал следующий номер, — рассказывал Лев Львович. — Как вы знаете, он помнит наизусть огромное количество стихов, чуть ли всю новую русскую поэзию. К некоторым стихотворениям он подбирал подходящую музыку и пел их на мотивы разных танцев. Какие-то, впрочем, очень хорошие стихи Мандельштама он пел, например, под матчиш. Получалась пародия или, во всяком случае, снижение. А Блока «Петербургское небо мутилось дождем» он пел под какой-то грустный вальс, и выходил такой пятнадцатый год, такая Россия и такая безнадежность!

Здесь я должен сделать маленькое отступление. Валентин Осипович Стенич, переводчик Джойса, блистал в литературных кругах тридцатых годов. Его знали все. Впрочем, именно у Кузмина я почему-то ни разу с ним не встретился.

Человек одаренный артистичностью, сверкающим остроумием и изобретательностью, необыкновенно начитанный полиглот, уступающий в эрудиции, быть может, одному только И. И. Соллертинскому, ловкий, элегантный, учтивый и обходительный, — он был своего рода Бремелем той эпохи и имел множество подражателей и завистников. Это, должно быть, и погубило его. Впоследствии он был арестован по ложному доносу и погиб в тюрьме одновременно с Ю. И. Юркуном и Б. К. Лившицем.

Возвращаясь к дому Михаила Алексеевича, я должен назвать еще одного человека — в совершенно ином роде.

Это был один из стариннейших знакомых Кузмина, знавший его едва ли не с детских лет: Николай Васильевич Чичерин, брат первого наркома иностранных дел, высокий, очень худощавый старик с седой бородой клинышком, с прекрасными старомодными манерами и чрезвычайно аристократической внешностью.

Не то из-за своей бородатости, крайне редкой в тридцатые годы, не то из-за не менее редкого уже в те годы аристократизма Чичерин казался явлением какого-то совсем иного мира. Михаил Алексеевич относился к нему по-дружески, но не без некоторой иронии.

Чичерин считал себя композитором. Когда-то в юности он сочинил романс и с тех пор в течение сорока лет непрерывно его исправлял и усовершенствовал, задолго предвосхитив одного из персонажей «Чумы» Камю, который никак не мог написать рассказа, потому что все время работал над улучшением вступительной фразы.

Николай Васильевич садился к роялю и, сам себе аккомпанируя, негромко пел козлиным голосом новые варианты своего романса.

Михаил Алексеевич очень серьезно слушал его и давал советы.

\* \* \*

Кузмин охотно вспоминал, что в его жилах течет французская кровь. Одна из его бабушек была дочерью французского эмигранта. В самой внешности Михаила Алексеевича внимательные наблюдатели замечали что-то французское. Недаром в молодости в кружке Вячеслава Иванова ему дали прозвище «аббат». Однажды за веселым ужином в ресторане молодой Кузмин подавился куриной костью, и Вяч. Иванов шутил, что аббату очень подходит умереть, подавившись пуляркой. На это Кузмин сердито ответил, что ему вообще не подходит умирать ни от каких причин.

Нечто галльское было и в его духовном облике, в складе его ума, быстро, ясно и иронического, в его безупречном чувстве меры и, может быть, в характере таланта, с редким в русской лирике композиционным чутьем; наконец, даже в строе его фантазии, несколько сухой и всегда логичной.

Но Кузмин был таким французом, каких во Франции, я думаю, не бывает. Французская кровь была привита к старинному родословному древу ярославских и пензенских дворян. Культурно-психологический тип, выразителем которого был Кузмин, мог сложиться только в России, более того — *только в русском дворянстве с его всемирной отзывчивостью и тем «всепримирением идей», о котором писал Достоевский.* Читатель знает, что речь идет совсем не об эклектизме, да Кузмин и не был эклектиком.

Подобно некоторым излюбленным персонажам Достоевского, Кузмин «не мог не уважать своего дворянства». Он любил начертание и

звук своей старинной фамилии и раздражался, если ее писали неправильно, с мягким знаком: «Кузьмин». «Это не моя фамилия», — говорил Михаил Алексеевич.

Марина Цветаева в своих воспоминаниях о единственной своей встрече с Кузминым зимой 1916 года — «Нездешний вечер» — хорошо рассказала о его природном изяществе — именно природном и потому естественно-пленительном, но не удивляющем — и с замечательной меткостью разглядела в нем главное — очарование.

Я цитирую: «Как вам нравится Кузмин?» (спрашивает хозяин дома, где они встретились). — «Лучше нельзя: проще нельзя» (отвечает Цветаева).

Я думаю, что очарование Кузмина слагалось из двух элементов. Первым была доброжелательная внимательность к людям, живой интерес ко всякому человеку, с которым ему доводилось общаться. Вторым, не менее важным, была аристократическая простота.

Цветаева, разумеется, знала и любила поэзию Кузмина и воспринимала его как поэт — поэта, «с восторгом и ревностью»; в первую очередь — через стихи.

У меня на глазах случился пример более непосредственного восприятия. Моя мать была строгой, несколько даже чопорной петербургской дамой, далекой от искусства и глубоко чуждой всему богемному. Но мама восприняла Кузмина, в сущности, совершенно так же, как Цветаева, и сказала о нем почти то же самое, только чуть-чуть другими словами:

— Таких образцово-светских людей, как Михаил Алексеевич, теперь уже нигде не встретишь. Какая безукоризненная благовоспитанность и какая простота! Вот у кого ты должен учиться, как нужно держать себя в обществе.

\* \* \*

Я знал Кузмина в печальные, быть может, самые печальные годы его жизни. Он был стар и смертельно болен. Дата его рождения, обычно указываемая в справочниках, — 1875 год — неверна. Он был старше, в чем не признавался. Я знаю об этом от Ю. И. Юркуна.

Летом 1935 года, когда Михаилу Алексеевичу считалось по паспорту шестьдесят, он жил в Царском Селе, в писательском санатории. Я приехал навестить его вместе с моим другом, молодым поэтом Андреем Ив. Корсуном. Михаил Алексеевич очень обрадовался нам и повел на прогулку в парк.

Над голубым растреллиевским дворцом и пышными липами парка в безоблачном бледно-голубом небе летел аэроплан. Кузмин оглянулся на него и спросил нас:

— Вы не находите, что пейзаж, если ввести в него аэроплан, сразу становится каким-то старинным? — И прибавил, как будто сам себе отвечая: — Должно быть, чтобы дать почувствовать старину, нужно ее чем-нибудь чуть-чуть нарушить.

В этот старинный пейзаж с аэропланом отлично вписывалась маленькая хрупкая фигурка Кузмина с огромными насмешливыми и добрыми глазами, с серебряными кольцами волос, едва прикрывавшими смуглую лысину, — фигурка аббата XVIII столетия и, вместе с тем, барственного русского западника.

Когда мы прощались, Кузмин особенно внимательно и приветливо посмотрел на нас и сказал, что теперь, расставаясь со знакомыми, он иногда думает, что больше их не увидит.

— Мне теперь постоянно думается: «Да, Михаил Алексеевич, тебе ведь уже шестьдесят лет!»

На самом деле ему было порядочно больше. Он ненавидел старость и тайне мучился мыслью о смерти. Он не курил и почти не пил вина,

хотя в течение всей жизни был курильщиком и любил вино. Припад-ки сердечной астмы повторялись, правда, не очень часто, но с угрожающей систематичностью и ослабляли волю к творчеству. Он много работал, но только над переводами, которые тоже, как это нередко бывает, убивали его собственную поэзию.

В те годы он переводил сонеты Шекспира. Не знаю, сохранились ли эти переводы, на мой взгляд, гораздо более совершенные и близкие к подлиннику, нежели все позднейшие попытки передать по-русски поэтическую речь Шекспира.

Я уже говорил, что сам Михаил Алексеевич тогда почти не писал стихов, не могу назвать ничего, кроме упомянутого послания А. А. Степанову и еще одного, очень пессимистического стихотворения, из которого мне запомнилась одна строчка: «И сердца систолические шумы...», навеянная болезнью и разговорами с врачом.

Очередной том «Нового Плутарха», содержащий роман о Вергилии — «Римские чудеса, или Жизнь Публия Вергилия Марона, мантуанского кудесника», — оборвался на третьей (неопубликованной) главе и никогда не был дописан.

Для себя Кузмин писал только дневники. Он охотно читал их друзьям. Записи о каждодневных, обыденных происшествиях и беглые размышления, например, о «пейзаже с аэропланом», записанное, по-видимому, после нашей общей прогулки по царскосельскому парку, или о Симонетте Веспуччи и ее портрете, сделанном Боттичелли, перемежались там с воспоминаниями о детстве, об Италии и о «Башне» Вячеслава Иванова.

Мне представляется, что такая структура дневника в какой-то мере выражает отношение Кузмина к окружающей его, но, в сущности, чужой современности, к эпохе тридцатых годов, которая казалась ему тусклой и скудной.

В 1917 году Кузмин, как и многие поэты его поколения, писал стихи о русской революции:

«... проходит по тротуарам простая,  
Словно ангел в рабочей блузе...»

Все, что было огненного в революции, за полтора десятка лет успело перегореть доглы; остался серый пепел, на котором выросли торжествующие мещане, персонажи книг Зошенко. Им вскоре предстояло превратиться в тупых и злобных исполнителей — или, в лучшем случае, пассивных пособников — свирепо задуманной программы унижения России и уничтожения ее культуры.

До этого превращения Кузмин, по счастью, не дождал и, я думаю, едва ли его предчувствовал. Современники еще казались ему более смешными, чем страшными. Естественно, однако, что с ними у Кузмина не могло возникнуть взаимного понимания, и он, мне кажется, смертельно *скачал* в этой новой эпохе.

Настоящее не было для него настоящим, то есть *подлинным и несомненным*; оно воспринималось как нечто случайное и ошибочное. Настоящим, то есть истинной и неоспоримой реальностью, было для него прошлое, и Кузмин в своем дневнике спасался от тридцатых годов в воспоминания о родительском доме в Ярославле, о путешествиях в Италию и Египет, о людях «Башни» Вячеслава Иванова, свидетеля молодости и славы поэта.

Здесь, однако, необходима оговорка. Менее всего я хотел бы внушить впечатление, будто Кузмин фрондировал. Он *просто скачал*. Политика была ему органически чужда, а современность — глубоко неинтересна. Она ничего не могла дать его поэзии. Внутренне отталкиваясь от эпохи, не принимая ее, так же, как и она его не принимала,



Кузмин сохранял достаточно выдержки, чтобы не ворчать и не терять приветливости к окружающим, даже веселости, по крайней мере, в те промежутки, когда сердечная астма не напоминала о себе слишком настойчиво. Чувствуя, что жизнь неприметно уходит, ускользает от него, как песок между ладонями, он даже, может быть, прилеплялся душой к этой скучной и чуждой современности, которая, как бы она ни проявлялась, все-таки была живой.

В окружавшей его молодежи, в А. М. Шадрине, И. А. Лихачеве, в молодых художниках и, может быть, во мне, он ценил искренний и бескорыстный интерес к его творчеству и ко всему, что было ему близко и дорого в культуре. Иногда он дарил мне книги, однажды — на день рождения — подарил прекрасную персидскую миниатюру и был очень доволен, когда я принялся изучать итальянский язык.

— Можно вам позавидовать, — говорил Михаил Алексеевич. — Сами подумайте, сколько перед вами откроется: Данте — ведь он совсем не похож на переводы; новеллисты и поэты Возрождения, и как новую книгу будете читать «*Scritti inutile*»\* Гоцци.

Я не писал стихов и не могу поэтому рассказать, как разговаривал Кузмин с молодыми стихотворцами.

Но Кузмину можно было читать не только стихи. Он обладал глубоким и тонким пониманием изобразительных искусств и сам не раз выступал как художественный критик. Среди тех, кто писал о художниках «*Мира Искусства*», Кузмину принадлежит очень видное место. Его превосходная статья о Нарбуте может, на мой взгляд, служить образцом критического эссе.

Однажды я попросил разрешения прочитать Михаилу Алексеевичу какую-то свою искусствоведческую работу. За давностью лет я уже не могу вспомнить, о чем именно шла речь в моей статье. Думаю только, что статья была очень юношеской и незрелой и, конечно, не заслуживала того внимания, с каким отнесся к ней Михаил Алексеевич. Во время чтения я это довольно ясно почувствовал, и мое смущение не укрылось от Кузмина. Ему, должно быть, хотелось меня похвалить и ободрить. Он сказал мне:

— Вы любите и понимаете то, о чем написали, и это, конечно, главное. Но вы пишете блестяще, а это нехорошо. С блеском пишут только второстепенные авторы; и от блеска совсем недалеко до безвкусицы. У вас ее, слава Богу, нет, и я убежден, что никогда не будет. Я в вас верю. Но для людей вашей, или, лучше скажем, нашей общей, профессии блеск — это постоянный и самый опасный соблазн. Почти все критики стараются писать об искусстве с блеском и любуются собой больше, чем искусством. Вот, например, Абрам Эфрос, которого вы, вероятно, уважаете, пишет так блестяще, что нужно все время зажмуриваться, — и невыносимо читать. И притом поминутно срывается в безвкусицу.

— Он теперь перевел «*Vita nova*». Перевел плохо, но тут с него невелик и спрос. А в предисловии написал с ослепительным блеском, что Данте был «раскулаченный патриций» и, наверное, очень собой доволен. Но это уже слишком!

\* \* \*

В начале моих воспоминаний я говорил об атмосфере волшебства, в которую входил каждый, переступив порог кузминского дома. Здесь все казалось особенным и не схожим ни с чем, ранее виденным и пережитым: и люди, и разговоры, и круг интеллектуальных интересов,

\* «Бесполезные записки».

и, прежде всего, сам Михаил Алексеевич — живое воплощение духа искусства. Волшебством была поэзия, которой он дышал, как другие люди дышат воздухом. Поэзия пронизывала весь строй его мысли и уклад его жизни, одухотворяла действительность и открывала перед внутренним взором поэта то, чего другие не умели увидеть.

Силу поэтического прозрения, свойственную Кузмину, я почувствовал особенно остро, когда впервые услышал его замечательные стихи о переселенцах.

При всей моей тогдашней неопытности, я не мог не понять, что сюжет и декоративная обстановка, навеянные, быть может, романом Диккенса «Мартин Чезлвитт», обладающие, правда, необыкновенной изобразительной силой и гипнотизирующей реальностью, — все же представляют собой нечто внешнее, что дело не в Америке и ее первых поселенцах, что стихи эти Кузмин написал о себе самом и обо всех нас, о том, что нас окружает и ждет в будущем. Ведь Кузмин и сам был невольным переселенцем в чужую эпоху. Я не побоюсь сказать, что в его стихах есть нечто пророческое. Ниже я еще вернусь к ним.

В тот вечер Кузмин пригласил меня остаться после обычного дневного чаепития. Гости разошлись. За бутылкой белого вина мы остались втроем — Михаил Алексеевич, Ю. И. Юркун и я.

По моей просьбе Кузмин сначала играл на рояле и пел слабым, необыкновенно приятным голосом «Александрийские песни» и отрывки из «Курантов любви».

Потом он начал читать.

В устах Кузмина чтение стихов ничем не напоминало выступления с эстрады. Он читал очень просто, даже несколько монотонно, лишь изредка подчеркивая голосом какое-нибудь слово или оборот речи, без аффектации и распева, совсем не похоже на Мандельштама и Ахматову.

Я впервые услышал тогда стихи двадцатых годов, не вошедшие ни в один сборник (в том числе и поразительных «Переселенцев»), а также пьесу «Смерть Нерона» и третью главу «Римских чудес».

Читая эту главу, Кузмин пожаловался, что роман о Вергилии пишется гораздо труднее и медленнее, чем «Калиостро».

— Раньше я умел импровизировать, — говорил Михаил Алексеевич. — Мне почему-то никак не удавалось сесть за стол и начать писать «Калиостро». Все что-нибудь мешало. Издатель Беленсон стал приставать ко мне — когда же будет рукопись. Чтоб отвязаться, я сказал, что уже пишу. Беленсон пришел ко мне. Я взял чистую тетрадку и, глядя в нее, прочел ему всю первую главу. А потом написал ее, именно так, как тогда читал. Почти слово в слово.

В тот удивительный вечер, о котором я сейчас говорю, Кузмин читал мне чуть ли не до середины ночи. Я не решаюсь рассказывать о своих впечатлениях. Литературная критика не составляет здесь моей цели. Любое описание было бы ниже и слабее тогдашних ощущений.

Михаил Алексеевич, должно быть, устал и несколько взволновался после продолжительного чтения. Он вышел проводить меня в прихожую и остановился в дверях, маленький, седой, очень изящный, одетый в короткий меховой тулупчик. Мне навсегда запомнился его силуэт в прямоугольной раме двери. Он напоминал угодника со старой русской иконы — побледневший и истончившийся, почти как бесплотный дух.

Это было 1 декабря 1934 года. Мы не знали тогда, что в тот день переломилась эпоха. В Смольном был застрелен Киров. Вскоре поднялась первая большая волна арестов и высылки. Люди стали бесследно и неожиданно исчезать. Едва ли не в каждой семье были жертвы. Из числа постоянных посетителей кузминского дома исчез кн. П. А. Гагарин. Больше я никогда его не видел.

Я думаю теперь, что судьба проявила благосклонность к Кузмину, послав ему смерть накануне бури 1937 года, которая погубила столь-

ких близких ему людей, начиная с Ю. И. Юркуна, и, конечно, не пощадила бы и Михаила Алексеевича. Он мог бы стать одной из первых жертв. Ведь даже его вполне аполитичные и невинные, но все-таки ежедневные чаепития с гостями настолько противоречили нравам эпохи, что должны были казаться властям если не преступными, то, по крайней мере, весьма подозрительными.

Кузмин умер в Куйбышевской районной больнице ранней весной 1936 года. Когда-то он сам себе напорочил:

Я знаю, я буду убит  
Весною, на талом снеге...  
Как путник усталый спит,  
Согревшись в теплом ночлеге.  
Так буду лежать и лежать,  
Пригвожденным к тебе, о мать.

Я сам это знаю, сам,  
Не мне гадала гадалка...

Он похоронен на Волковском кладбище. В гробу он лежал странным, странно помолодевший и похожий на Данте. Серебряные пряди волос, которыми он обычно прикрывал лысину, легли ему на лоб, как лавровый венок.

В день похорон с утра дул пронзительный петербургский западный ветер и падал мокрый снег. Погребальные дроги почему-то не могли въехать во двор больницы и остались на Литейном, где еще стоял тогда памятник принцу Ольденбургскому.

Вчетвером: А. А. Степанов, И. А. Лихачев, А. М. Шадрин и я — вынесли нетяжелый гроб.

Проводить Михаила Алексеевича пришли почти все те, кого я встречал в его доме. Из родных был только его племянник С. А. Ауслендер, приехавший из Москвы.

А. А. Ахматова была нездорова и не присутствовала на похоронах. Приехал ее муж Н. Н. Пунин. Шагая рядом со мной в процессии, он сказал:

— Хороним Кузмина, как Моцарта, в снежную бурю.

Церковной службы не было в тот день. Нечто вроде гражданской панихиды состоялось на кладбище перед открытой могилой.

Первым сказал, или, вернее, проямлил, несколько слов председатель Союза писателей, довольно известный в те годы поэт В. Р. Его речь неприятно поразила присутствующих. Мне — да и не мне одному — представлялось, что о Кузмине нужно говорить как об огромном поэте и необыкновенном явлении русской культуры. Р. назвал его только «известным лириком», «опытным переводчиком» и «последним символистом». Непонимание и недооценка Кузмина начались уже в дни его похорон. Немногим лучше говорил С. Д. Спасский. Тяжелое впечатление от этих выступлений несколько исправила прекрасная речь В. М. Саянова. Но еще лучше говорил Ю. И. Юркун. Он очень сердечно и просто, как будто от лица живого Михаила Алексеевича, поблагодарил всех, кто пришел его проводить.

На следующий день самые близкие друзья пришли на панихиду в Спасо-Преображенский собор. Церкви пустовали в те годы, и старенький священник, по-видимому, заинтересовался непривычной группой молодых людей, пришедших слушать панихиду.

Он очень истово молился об упокоении души новопреставленного раба Божия Михаила. (Назвать его «боярином Михаилом» мы не решились.)

А прощаясь с нами, священник сказал:

— Живите долго и живите весело!

— Несколько удивительное пожелание после панихиды, — прошептала мне на ухо О. Н. Гильдебрандт.

Я ответил, что, по-моему, это пожелание вполне христианское, и мне кажется, что сам Михаил Алексеевич был бы им доволен.

Однако я думаю, что Михаил Алексеевич был прав, когда говорил, что ему не подходит умирать ни от каких причин.

И воспоминания о нем не подходит завершать описанием похорон, поминальных речей и заупокойной службы.

Прошло много лет, Кузмина забыли так давно, что уже стали этого стыдиться, и начали понемногу вспоминать. Кажется, в 1960 году ко мне обратился главный редактор серии «Библиотека Поэта» В. Н. Орлов. Он составлял антологию «От Бальмонта до Ходасевича», где, естественно, немалое место должны были занять стихи Кузмина.

Орлову хотелось найти неизданные тексты, которые можно было бы включить в антологию. Мы оба вспомнили про стихотворение об американских переселенцах. Но ни Орлов, ни я не знали этих стихов наизусть и не располагали никакой записью. Я сделал попытку разыскать автограф или хотя бы запись стихотворения и обошел всех тех немногих людей, которые знали Кузмина и были еще живы в 1960 году.

Попытка оказалась тщетной. «Переселенцев» не нашлось ни у О. Н. Гильдебрандт, ни у Л. Л. Ракова, ни у О. А. Черемшановой, ни у А. М. Шадрина, ни у Е. К. Лившиц.

Последнюю надежду я возложил на феноменальную память И. А. Лихачева — и не ошибся.

Об удивительной памяти этого человека слагались легенды. Я знал о нем, что в 1937 году, сидя в тюрьме под следствием и, разумеется, не имея в камере ни книг, ни словарей, ни даже карандаша и бумаги, он в уме перевел несколько десятков стихотворений с английского, французского, испанского, португальского и других языков, которыми владел.

Потом, после приговора, он получил свидание с родными. По его просьбе они принесли ему бумагу. И. А. Лихачев записал свои переводы в тетрадь и *пропал без вести на 22 года*.

В 1958 году он вернулся из ссылки.

Я написал ему письмо.

И. А. Лихачев приехал ко мне и на вопрос, помнит ли он «Переселенцев», ответил:

— Конечно. Я пронес эти стихи через все мои тюрьмы и лагеря.

Он присел к столу как-то боком, взял бумагу и левой рукой записал великолепным почерком без единой помарки довольно длинное стихотворение.

В то же утро я по почте послал стихи В. Н. Орлову с письмом, где рассказал о своих поисках, объяснив, что ни автографа, ни даже копии не удалось отыскать, а стихи уцелели только в памяти И. А. Лихачева. Но поруклой точности текста служит его художественное совершенство.

Ночью меня разбудил телефонный звонок. В. Н. Орлов извинился, что звонит в столь позднее время. Он только что вернулся домой, нашел мое письмо — и так полон стихами Кузмина, что испытывает непреодолимую потребность поговорить о них.

С тех пор прошло еще десять лет. Антология «От Бальмонта до Ходасевича» поныне осталась неопубликованной. Поэтому я привожу стихи здесь.

## ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Чужое солнце за чужим болотом  
 Неистово садится на насест,  
 А завтра вновь самодержавно встанет,  
 Не наказуя, не благоволя.

Как ваши руки, Молли, погрубели,  
 Как опустился ваш веселый Дик,  
 Что так забавно толковал о боксе,  
 Когда вы ехали на пакетботе.

Скорей в барак! Дыханье малярии  
 С сиреневыми сумерками входит  
 В законопаченные плохо стены.  
 Коптит экономическая лампа,  
 И бабушкина Библия раскрыта.

Как ваши руки, Молли, похудели,  
 Как выветрилась ваша красота!  
 А ждете вы четвертого ребенка.  
 Те трое худосочны, малокровны,  
 Обречены костями осушать  
 К жилью не приспособленную местность;  
 О Боже, Боже,

Боже, Боже, Боже,

К чему нам просыпаться, если завтра  
 Увидим те же кочки и дорогу,  
 Где палка с надписью «Проспект побед»,  
 Лавчонку и кабак на перекрестке  
 Да огороженную лужу: Капитолий.

А дети вырастут, как свинопасы,  
 Разучатся читать, писать, молиться,  
 Скупую землю будут ковырять,  
 Да приговаривать, что время — деньги.

Бессмысленно толпиться в Пантеоне,  
 Тесовый мрамор жвачкой заплывав,  
 Выдумывать машинки для сапог,  
 Плодить детей и тупо умирать,  
 Почти не сознавая скучной славы  
 Обманчивого слова: пионеры.

Поспите лучше, Молли, до полудня,  
 Быть может, вам приснится берег Темзы  
 И хмелем увитой родимый дом.

Мне кажется, что эти стихи о крушении культуры, написанные пятьдесят лет назад, вполне современно звучат и теперь. В них есть пророческая тревога о судьбах двадцатого столетия.

Пройдет еще пятьдесят, и сто, и двести лет, а эти стихи будут живы, как бы ни изменялись конкретные проблемы и формы жизни, потому что духовный смысл метафоры обладает способностью расти, вбирая в себя опыт новых поколений, становится все более широким и гибким, обретает с годами неизмеримую глубину — если только сама метафора охватывает и обобщает борьбу вечных метафизических сил, управляющих миром.

*Ленинград, май—июль 1970 г.*

---

---

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

---

---

Григорий Кружков

### ОДИССЕЯ ЭДВАРДА ЛИРА

#### В КРАЙ НЕВЕДОМЫХ ГОР И ЛЕСОВ...

В один из погожих дней 18\*\* года от берегов Страны Джамблей отчалило небольшое одномачтовое судно. Водоизмещение его, к сожалению, точно неизвестно; длина корпуса... достоверно можно сказать лишь то, что длина равнялась ширине, по причине абсолютной округлости судна; парусное оснащение, если мне не изменяет память, — «зеленый платок носовой на курительной пенковой трубке».

В решете они в море ушли, в решете,  
В решете по седым волнам.  
С берегов им кричали: — Вернитесь, друзья! —  
Но вперед они мчались — в чужие края —  
В решете по крутым волнам.

Команда состояла из джамблей — племени с виду весьма эксцентричного, но неунывающего и неустрашимого. Имя капитана не сообщалось, но зато известно, что снарядил корабль и отправил его в плавание некий мистер Эдвард Лир.

Где-то, где-то вдали  
От знакомой земли,  
На неведомом горном хребте  
Синерукие Джамбли над морем живут,  
С головами зелеными джамбли живут.  
И неслись они вдаль в решете.

Надо сказать, что это было не первое и не последнее плавание такого рода в английской литературе. К безусловным предшественникам наших смелых моряков следует отнести фольклорных «трех мудрецов из Готема»:

Три мудреца в одном тазу  
Пустились по морю в грозу.  
Будь попрочнее старый таз,  
Длиннее был бы наш рассказ.

Из последователей прежде всего вспомним участников «Охоты на Снарка» Льюиса Кэрролла: Балабона и его решительную команду снарколовов — Банкара, Булочника, Биллиардиста и других.

«Вот где водится Снарк!» — возопил Балабон,  
Указав на вершину горы;  
И матросов на берег вытаскивал он,  
Их подтягивая за вихры.

Все три экспедиции по-своему замечательные, но совершенно разные. Мудрецы из Готема поступают нелепо ради абсолютно разумной морали. Негодные средства мореплавания у них приводят, естественно, к роковому финалу. «Не будьте дураками!» — как бы кричат мудрецы, накрывшись перевернувшимся тазом, и дружно идут ко дну в качестве наглядного примера.

У Плывающих На Решете — совсем другая судьба. Вопреки еще более ужасной конструкции своего судна, вопреки злорадным предсказаниям («Суждено вам пропасть ни за что ни про что!») и опасностям («Но проникла вода в решето, в решето. . .»), они не только не гибнут, но и благополучно приплывают в тот же желанный зеленый край в Западном Море, где обретают все, «что угодно для души».

И приплыли они  
 В решете, в решете  
     В край неведомых гор и лесов,  
 И купили на рынке гороху мешок,  
 И ореховый торт, и зеленых сорок,  
     И живых дрессированных сов,  
 И живую свинью, и капусты кочан,  
 И живых шоколадных морских обезьян,  
 И четырнадцать бочек вина ринг-бо-ри,  
 И различного сыра — рокфора и бри,  
     И двенадцать котов без усов.

В замечательном переводе С. Маршака есть кое-какие потери (что совершенно ему не в упрек!), и к таковым относится прежде всего направление плавания — на запад, туда, куда уходит солнце. «Земля, покрытая деревьями», в Западном Море, безусловно, напоминает блаженный остров Авалон кельтских мифов — Страну Вечной Молодости, которую искал за волнами ирландский герой Ойсин и по которой тосковал Йейтс, — далекий край, где под сенью невянущих крон любовь не ведает ни горечи, ни пресыщения.

И они не только приплывают в тот волшебный край, но и возвращаются обратно (в решете!) и устраивают пир, на котором друзья и родные чувствуют их, и завидуют, и мечтают: «Если мы доживем, все мы тоже туда в решете поплывем!» Необыкновенна мелодия этой баллады, ее радостный мажор, облагороженный мягкими обертонами печали. Основная тема — детское, дерзкое счастье авантюры, обретений, открытий; и лишь на заднем плане едва различимое журчание — воды, секунд, жизни утекающей, просачивающейся сквозь бесчисленные дыры решета. . . Впрочем, все возможные неприятности небрежно объявляются «чепухой» и исправляются в корне: «обернули кругом — от колен до ступни — промокашкою розовой ноги они, чтоб от гриппа себя уберечь»\*.

Так неужели «Джамбли» — просто нелепый стишок? О нет! — одна из лучших романтических баллад викторианской эпохи; хотя ее героический дух и скрыт под оболочкой нонсенса. Рядом с «Джамблями» я мог бы поставить разве «Улисса» А. Теннисона. Кстати, ее герой (постаревший Одиссей, истомившийся скучным покоем рядом с верной Пенелопой) тоже отправляется на поиск Блаженных Островов.

\* Единственное, в чем можно упрекнуть С. Маршака: зачем он назвал свой перевод «В Страну Джамблей» и представил дело так, что будто это некие пловцы в решете стремятся попасть в волшебную Страну Джамблей, когда у Э. Лира это сами Джамбли стремятся из своих мест в Блаженную Страну на Западе, что очевидно а) из текста стихотворения, б) из английских иллюстраций к нему и в) из парной к «Джамблям» баллады о Донге С Фонарем На Носу, где прямо говорится: «приплыли Джамбли в решете».

Вперед! Ударьте веслами с размаху  
 По звучным волнам. Ибо цель моя —  
 Плыть на закат, туда, где тонут звезды  
 В пучине Запада. И мы, быть может,  
 В пучину канем — или доплывем  
 До Островов Блаженных и увидим  
 Великого Ахилла (меж других  
 Знакомцев наших). Нет, не все ушло.  
 Пусть мы не те богатыри, что встарь  
 Притягивали землю к небесам,  
 Мы — это мы; пусть время и судьба  
 Нас подточили, но закал все тот же,  
 И тот же в сердце мужественный пыл —  
 Дерзать, искать, найти и не сдаваться!\*

Знаменитая последняя строка «Улисса» стала девизом эпохи. Недаром она была вырезана на деревянном знаке Роберта Скотта, дошедшего до Южного Полюса и погибшего на обратном пути. Вилла «Теннисон» — так назывался дом, где провел свои последние годы и умер Эдвард Лир.

Всю жизнь он был горячим поклонником поэта-лауреата, за многие годы сделал в общей сложности 200 (!) иллюстраций к его стихам. Он сочинял к ним музыку и — будучи самоучкой — сам пел их с жаром и страстью, импровизируя на фортепьяно часами. «Он как будто накидывает полупрозрачную ткань на мои слова — вот и все», — говорил Теннисон, признавая только эти песни среди всех музыкальных переложений своих стихов.\*\*

Абсурд Эдварда Лира зачастую противопоставляют викторианству, его якобы рутинному и ханжескому духу. При этом упускается из виду, насколько Лир — в самой своей закваске, в привычках и вкусах — был плотью от плоти эпохи. Лучшие стихи Лира — органическая часть большой романтической традиции английской литературы. Тот неповторимый причудливый колорит, который создан в «Джамблях» и других великих балладах Эдварда Лира, никак не отменяет того, что эти стихи, по сути своей, совсем не пародийны. В них слышен пафос предприимчивости, стойкого мужества, учтивости и юмора — что составляет почти полный набор викторианских добродетелей. Но главное — неизбывная романтическая грусть и — вопреки всему — вера в победу духа над косными обстоятельствами жизни.

В «Охоте на Снарка» Кэрролл, окончательно распрощавшийся с романтизмом, спокойно может над ним издеваться. В его гениально написанной «агонии» нет ни на понюх табака утешения. Может быть, именно в этой безрадостности, а отнюдь не в сложности ассоциаций, причина того, что «Снарк» оказался практически не принят, отторгнут детской аудиторией. Гимн поражению и обреченности не может прочно завладеть сердцем ребенка.

А стихи Лира наивны и серьезны во всех своих нелепостях. Они, прежде всего, прожиты до конца. Как парная к «Джамблям» баллада (из сборника 1877 года) — «Донг С Фонарем На Носу».

Брошенный своей зеленоволосой, голуборукой Девой из Страны Джамблей, Донг почти лишается рассудка («Увы! И последние выдуло крохи ума из несчастной моей головы»). Он скитается по лесам, играя

\* За исключением предыдущих цитат из «Джамблей» и «Трех мудрецов» (перевод С. Маршака), все остальные стихи переведены автором статьи.

\*\* Лир трижды публиковал песни на слова А. Теннисона: четыре песни в 1853 г., те же плюс пять новых — в 1859 г. и три песни на стихи из «Королевских идиллий» в 1860 г.



на дудке, и по дороге, «чтоб ночью не сбиться с пути», сооружает из коры удивительный фальшивый Нос, заключающий в себе Фонарь, намертво прирастающий к его судьбе и к самому его имени.

Можно ли одним образом, одним гениально начерченным иероглифом точнее выразить идею художнического Дара, пронесенного Лиром через всю его жизнь? Этот Светозарный Нос, торчащий на лице, как Башня, этот горизонтальный Фаросский Маяк, которому суждено перейти в вертикальное положение и стать надгробным монументом, когда смерть угоризонталит его носителя. И с какой технологической точностью описан этот Светильник поэта:

Освещающий мир  
Через множество дыр,  
Проделанных в этом огромном Носу;  
Защищенный корой,  
Чтобы ветер сырой  
Его не задул в злоповедном лесу.

Разве это абстрактная фантазия или нелепица? Это мощный символ, к которому как нельзя более подходят слова Пастернака: «Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись духа».

## ЖИЛ МАЛЬЧИК ИЗ ГОРОДА МАЙЕНА . . .

Чтобы полнее осознать реализм, жизненные корни лировских «нелепостей», обратимся к его биографии. Он родился в Лондоне 12 мая 1812 года, а умер в 1888 году в Сан-Ремо, на итальянской Ривьере, где прожил около восемнадцати лет с верным слугой-албанцем и любимым котом Фоссом.

Эдвард Лир был младшим ребенком у матери, родившей, кроме него, еще 7 сыновей и 13 дочерей, многие из которых умерли в раннем возрасте. В этой огромной семье Эдвард жил очень мало. Воспитывала его и заботилась о нем старшая сестра Энн. С 15 лет он уже зарабатывал себе на жизнь рисованием, с семнадцати лет сделался профессиональным иллюстратором зоологических книг и альбомов. В 1832 году граф Дерби, содержащий в своем имении частный зверинец, пригласил его к себе в качестве художника-анималиста. Он сразу полюбился всему семейству, как интересный и забавный собеседник; особенно его обожали дети, для которых он рисовал смешные рисунки, сопровождая их не менее смешными стихами.

Здесь, в Ноузли, и стали сочиняться лировские лимерики, составившие впоследствии (в 1846 году) его знаменитую «Книгу нонсенса». Лир не сам изобрел, а лишь разработал этот жанр. История такова.

Один из гостей, услышав потешные стихи Лира, обратил его внимание на книгу, изданную в 1822 году: «Анекдоты и приключения пятнадцати джентльменов». Она состояла из тех самых «дурацких» пятистиший, которые впоследствии назовут лимериками (неизвестно почему), иллюстрированных смешными рисунками. О содержании их дает представление следующий пример (даем в дословном переводе):

There was a sick man of Tobago,  
Liv'd long on rice-gruel and sago,  
But at last, to his bliss,  
The phisician said this:  
'To a roast leg if mutton you may go'.

Жил-был недужный старик из Тобаго,  
 Долго сидевший на рисовой каше и саго;  
 Пока врач, к его радости,  
 Не изрек следующих слов:  
 «Можно переходить к жареной бараньей ноге».

Как видите, ничего такого особенно остроумного в этом шедевре нет; изюминка заключается в каламбурной составной рифме: «Tobago — sago — You may go» — и, кроме того, в какой-то домашней, наивной атмосфере экспромта... Как бы то ни было, именно этот «старик из Тобаго» стал прародителем множества эксцентричных лировских стариков и старух (а также юных леди и джентльменов), успевающих на протяжении пяти строк свершить немало интересного, да иногда еще и вступить в дискуссию с окружающими по поводу своих поступков.

Жил один старичок из Винчестера,  
 За которым погнались шестеро;  
 Он вскочил на скамью,  
 Перепрыгнул свинью  
 И совсем убежал из Винчестера.

В 1837 году началась скитальческая жизнь Лира. Он и раньше не сидел сиднем в Ноузли, временами жил и работал в Лондоне, совершил путешествие по Ирландии и по Озерному краю; но теперь усилившаяся астма и бронхиты погнали его дальше — в Италию, в Средиземноморье. Он задумал издавать альбомы своих путевых зарисовок, благо, талант у него был и был интерес в обществе к пейзажам экзотических и живописных мест. Он надеялся, что прокормится путевыми дневниками и видами. И действительно, его книги «Виды Рима и его окрестностей» (1841), «Иллюстрированные экскурсии по Италии» в 2 томах (1846), «Дневник художника-пейзажиста в Албании» (1852), «Дневник художника-пейзажиста в Южной Калабрии» (1852), «Виды семи Ионических островов» (1863) и «Дневник художника-пейзажиста на Корсике» (1870) имели успех. Сама королева Виктория пожелала, чтобы мистер Лир помог ей совершенствоваться в рисовании, и Эдвард Лир дал десять уроков рисования акварелью двадцатисемилетней правительнице Британской империи (дело было в 1846 году), чем впоследствии немало гордился.

Он сделался охотником за живописными пейзажами, объездил изрядную часть Средиземноморья — пешком, верхом и как придется, побывал в Египте, в Палестине и даже в Индии, ни на день не расставаясь с карандашом, тушью и бумагой, производя сотни и сотни новых рисунков и акварелей: иные из них он продавал, иные впоследствии литографировал для своих книг, а некоторые ложились в основу больших живописных картин, над которыми он с огромным усердием работал месяцами.

Да, была у Лира и такая честолюбивая мысль — сделаться крупным живописцем; и ему, в самом деле, удалось продать несколько больших пейзажей маслом по цене, которую платили в Англии лишь художникам первого десятка. Справедливости ради стоит отметить, что живопись была его самой слабой стороной как художника. В то время как пейзажные зарисовки и акварели — замечательны, первоклассны; это важная составная часть лировского наследия.

А его дневники, а бесчисленные письма друзьям, полные прелестных автошаржей, абсурдных стихов и юмористического ворчания! Его раздирали противоречивые наклонности. С одной стороны, он сочинял песни и мог музицировать часами, был типичным «детским праздником», профессиональным рисовальщиком птиц, обожателем котов; а с

другой стороны, более всего его раздражал неуместный шум детей, котов, птиц и музыки!

Жил мальчик вблизи Фермопил,  
Который так громко вопил,  
Что глухли все тетки,  
И дохли селедки,  
И сыпалась пыль со стропил!

Он явно любил уединение и уют; и в то же время некое смутное беспокойство, «охота к перемене мест» толкали его в новые и новые путешествия.

Внутри него жил какой-то вечный неугомонный припляс. Приглядитесь к его рисункам, украшающим «Книги нонсенса»: все его персонажи стоят на пуантах, размахивают руками и ногами, они как бы танцуют.

Жил-был старичок из Гонконга,  
Танцевавший под музыку гонга,  
Но ему заявили:  
«Прекрати это — или  
Убирайся совсем из Гонконга».

Случайно ли, что старичок танцует под музыку гонга? Что это за такой любимый инструмент? Ведь и в «Джамблях» пловцы насвистывают и мурлычат лунную песню под гулкие звуки медного гонга. В поэзии не бывает пустых совпадений. И мне вспомнилось, что танец под удары гонга — лейтмотив одного из знаменитейших стихотворений «последнего романтика» Йейтса — «Византия», где неуспокоенные призраки приходят водить хоровод на каменном полу императорского дворца, и былая ярость отживших поколений находит выход, «отмирает» в танце, в «мучительном наваждении» танца:

And all complexities of fury leave,  
Dying into dance,  
An agony of trance,  
An agony of flame that cannot singe a sleeve.

А потом усталые танцоры садятся на дельфинов, и живой, горячий хаос дельфиньей плоти ('dolphin's blood and mire') уносит их в древний и горький хаос моря — вечно поглощающего и вечно рождающего моря.

Вскипает волн серебряный расплав;  
Они плывут, дельфинов оседлав,  
Чеканщики и златомастера —  
За тенью тень! — и ныне, как вчера,  
Творят мечты и образы плодят;  
И над тщетой людской,  
Над горечью морской  
Удары гонга рвутся и гудят...\*

Это стихи и о Лире, ибо он тоже принадлежит к славному племени «чеканщиков и златомастеров», работавших на бессмертие; хотя и уплыл он туда не на дельфине, как у Йейтса, а на толстобочкой, неповоротливой черепахе.

\* Последняя строка в оригинале: That dolphin-torn, that gong-tormented sea. (Море, разрываемое плавниками дельфинов, терзаемое ударами гонга).

## МИЛЫЙ ЙОНГИ-БОНГИ-БОЙ...

Стихи, заканчивающиеся отплытием героя на черепахе, называются у Лира «Сватовство Йонги-Бонги-Боя». Это тоже — история любви и разочарования. Леди Джингли Джотт не смогла (или не захотела) ответить на чувства малютки Йонги-Бонги-Боя, и он вступает на ту же зыбкую, древнюю дорогу. Направление остается неизменным — на Запад, к далеким закатным островам (the sunset isles of Boshen).

И под шум волны невнятной  
 По дороге голубой  
 Он поплыл на Черепахе,  
 Храбрый Йонги-Бонги-Бой;  
 По дороге невозвратной  
 В край далекий, в край закатный.  
 «До свиданья, леди Джотт»,—  
 Тихо-тихо он поет,  
 Вдаль плывя на Черепахе,  
 Этот Йонги-Бонги-Бой,  
 Верный Йонги-Бонги-Бой.

«Человек — не картошка, чтобы сидеть на одном месте», — говорил Лир. Но и он порою тяготился скитальческой жизнью, связанной для него с бессемейностью и одиночеством.

«Я все более и более убеждаюсь, что, если у вас есть жена — или подруга — или вы влюблены (что фазы одного и того же самораздвоения, единственно подлинного и подобающего состояния человека в этом мире)... вы можете жить в любом месте и в любых обстоятельствах: сочувствие избавляет вас от непрестанных раздумий о проклятых тяготах бедности и суеты; но если вы абсолютно одиноки на свете — и надежды на иное не видно, — тогда скитайтесь и никогда не задерживайтесь на одном месте».

Так почему же Лир остался холостяком? Он ведь не был явным женоненавистником. Возможно, он предъявлял слишком высокие требования к женщинам; но ведь были же особы, вызывавшие его искреннее уважение и даже восхищение. Так, он дружил с Эмили Теннисон, женой своего любимого поэта, и писал о ней:

«Я полагаю, что если, по точному расчету, смешать вместе 15 ангелов, несколько сотен обыкновенных женщин, множество философов, целую уйму добрых и мудрых матерей, кучу врачей и педагогов, да впридачу трех или четырех малых пророков, и все это хорошенько прокипятить, — то их совокупной смеси будет далеко до того, чем в действительности является Эмили Теннисон».

В 1857 году на острове Корфу он познакомился с Еленой Кортаччи, очень милой и поэтичной девушкой, полунитальянкой-полуангличанкой, которая не только знала наизусть множество стихов Теннисона, но вдобавок переводила их на латинский язык и даже сочиняла к ним музыку. Бывают же такие подарки фей!

Лир был очарован, почти влюблен... но он колебался. Во-первых, он был без средств, во-вторых, на двадцать лет старше и весьма критического мнения о своей внешности (очки, солидный нос, склонность к «шарообразности»), в-третьих, страшили неизвестные рифы и мели семейного моря. Вероятно, он не мог изжить своих детских, горьких воспоминаний, той полученной им психологической травмы, когда мать совершенно охладела к четырехлетнему Эдварду и оставила все заботы о нем; он инстинктивно не доверял женщинам, боялся нового охлаждения и заброшенности.

Но дело было не только в этом. С семилетнего возраста Лир страдал эпилепсией и тщательно это скрывал. По характерным признакам («предвестникам») он умел определять приближение припадка и вовремя уединялся. Лишь дневники рассказывают, сколь неотвязны и часты были пришествия «Демона» (так он называл свою болезнь). Более того, эпилептиком была одна из сестер Лира, так что у него было достаточно оснований считать свой недуг наследственным, способным перейти и к его потомкам. Остается лишь удивляться, как мужественно он нес свой крест, не перелаяя ни на кого даже часть этой ноши.

Он трудился, как проклятый, он дурачился и балагурил в письмах, сочинял лимерики и прочие «нонсенсы», многие из которых становятся намного яснее, когда знаешь, откуда выросли ростки этой чепухи.

Жил-был Старичок между ульями,  
От пчел отбивавшийся стульями;  
Но он не учел  
Числа этих пчел  
И пал смертью храбрых меж ульями.

Биографические факты неожиданно освещают даже такие, казалось бы, случайности, как обилие птиц, досаждающих Старику из лимериков.

Жил Старик на развесистой ветке,  
У него были волосы редки;  
Но галчата напали  
И совсем ощипали  
Старика на развесистой ветке.

\*

Жил в Афинах один Стариканос,  
Попугай ухватил его за нос.  
Он воскликнул: «Ах так?  
Сам ты полка-дурак!»—  
Вот сердитый какой Стариканос!

\*

Жил Старик с сединой в бороде,  
Восклицавший весь день: «Быть беде!  
Две вороны и чиж,  
Цапля, утка и стриж  
Свиди гнезда в моей бороде!»

Рядом с этими беспечными глупостями эффектно поставить сухой список (не полный!) книг, для которых Лир делал рисунки птиц:

*Сто птиц с Гималайских гор. Дж. Гоулд. 1831.*

*Иллюстрации к орнитологии, тт. III и IV, 1834.*

*Описание семейства Ramphastidae, или Туканов. Дж. Гоулд, 1834.*

*Птицы Европы. Дж. Гоулд. 1837.*

*Описание Anatidae, или племени Уток. Т. С. Эйтон, 1838.*

*Виды птиц. Дж. Р. Грей, т. II, 1849.*

*Наблюдения в Зверинце и Птичнике при Ноузли-Холле, 1846.*

*Иллюстрации к семейству Psittacidae, или Попугаев, в 12 тт, 1832.*

Если учесть, что только, скажем, для попугайных двенадцати томов ему приходилось сперва делать измерения птиц с помощью служителей зоосада, кучу набросков, а затем окончательные рисунки тушью,

проработанные «до перышка», и, наконец, переводить все рисунки вручную на литографский камень, — то некоторая засиженность лировского Старика птицами становится, по-моему, вполне понятной.

Каждый лимерик Лира очень личный, очень про свое — в этом их отличие от последовавшего потока подражаний, многие из которых куда остроумней и виртуозней; но явное желание рассмешить делает их похожими на анекдоты. Это немаложизненно другой жанр.

В лимериках кипит непрерывная упорная борьба — одного против всех. Еще Олдос Хаксли заметил, что их главный конфликт — между незаурядной, гениальной личностью (Старик) и не понимающими его ближними («Они»). Теми самыми, что заявили: «Прекрати это или // Убирайся совсем из Гонконга!».

Впрочем, иногда «Они» проявляли себя и с лучшей стороны (обыкновенные люди, как говорил Воланд, и милосердие порой стучится в их сердце). Так, они пожалели Старичка у Причала.

Жил-был Старичок у Причала,  
Которого жизнь удручала.  
Ему дали салату  
И сыграли сонату —  
И немного ему полегчало.

Не то чтобы Лир был противником здравого смысла. Скорее, наоборот: он видел, что закоснелый порядок порой начинает противоречить разуму и тогда необходима некоторая встряска, чтобы привести все в норму. Он, например, считал современную ему церковь зашоренной и ханжеской. «Когда же, наконец, Господь Бог удосужится треснуть Религию по башке и заменить ее милосердием, любовью и здоровым смыслом?» — спрашивал он. Такова была святая троица его веры.

Может быть, он немного легкомысленно относился к так называемым «последним вопросам». «Я уверен, мой мальчик, что на Небесах нам разрешат смеяться», — как-то оборонил он в разговоре с ребенком.

В 1871 году он поселяется в Сан-Ремо, и в том же году выходит его вторая книга нонсенса: «Нелепые песни, истории, ботаники и азбуки», в которую вошли «Джамбли». В 1872 году — третья: «Еще нелепые стихи, рисунки и ботаники». К этому времени его абсурдная поэзия сделалась популярной, хотя и воспринималась неоднозначно; она даже стала приносить ему некоторый доход (переиздания «Книги нонсенса»). Он построил дом, завел кота. Теперь у него был постоянный приют, своя последняя гавань.

## ТРУМБАДУ-ТРУМБАДА

Именно здесь, в Сан-Ремо, и были написаны его лучшие романтические баллады — прежде всего «Йонги-Бонги-Бой» (декабрь 1871 г.) и «Донг С Фонарем На Носу» (август 1875 г.). Он уже был очень слаб и болен, когда в феврале 1886 года в лондонском «Журнале всякой всячины» (*Pall Mall Magazine*) была опубликована статья Джона Рёскина. Знаменитый критик и философ, законодатель вкуса эпохи писал: «Поистине я не могу назвать никакого другого автора, которому моя праздная душа была бы наполовину так благодарна, как Эдварду Лиру. Я ставлю его первым в ряду ста моих любимых авторов».

Растроганный Лир послал Рёскину только что написанное стихотворение (которому суждено было стать последним) «Дядя Арли» — в сущности, свою автоэпитафию и погребальную элегию.

В этих стихах Дар или Искусство воплотилось в еще более парадоксальном образе — Сверчка, сидящего опять-таки на Носу (видимо,

для Лиры — это самая сущностная часть тела). Но чудаковатый Дядя Арли так же стойко и обреченно несет свою ношу, как нес ее Донг: «Песенке Сверчка внимая, // Дядя шел не уставая, // Даже как-то забывая, // Что ему ботинки жмут».

И дошел он, в самом деле,  
 До Скалистой Цитадели,  
 Там под дубом вековым  
 Он скончал свой подвиг тайный:  
 И его билет трамвайный,  
 И Сверчок необычайный  
 Только там расстались с ним.

Там он умер, дядя Арли  
 С голубым сачком из марли,  
 Где обрыв над бездной крут;  
 Там его и закопали,  
 И на камне написали,  
 Что ему ботинки жали,  
 Но теперь уже не жмут.

Признаюсь, я несколько усилил в переводе пафос и превратил «древнее жилище предков» на холмах, куда, наконец, приходит Дядя Арли, в «Скалистую Цитадель», ибо в ушах у меня звенело другое патетическое завещание — стихи У. Б. Йейтса, написанные за неделю до смерти. Умирал он в местечке Кап-Мартэн на французской Ривьере, всего лишь в тридцати километрах от Сан-Ремо, где умер Эдвард Лир. Совпадение, разумеется; но из разряда говорящих совпадений.

В «Черной Башне» — последнем стихотворении Йейтса — наступает какая-то новая наглая сила, неведомая тирания, от которой обороняются последние защитники Башни. Их подвиг бессмыслен, может быть, абсурден, ведь король, которому они служили, давно мертв, но решимость выполнить свой долг до конца у них та же, что у героя Лиры.

Характерна шутовская фигура повара, ловящего сетью птиц на крыше Башни. Этот повар, которого забота о харче для осажденных подняла на ноги рано на рассвете, когда остальные еще спали вповалку, клянется, что слышал звуки королевского горна — то есть спешащей подмоги. «Конечно, врет, старый пес! ('But he is a lying ho-und')» — говорит поэт, который и сам, в сущности, врет во спасение\*.

Вспоминаются и другие стихи Йейтса о изменившихся временах, о былых романтических идеалах, ставших анахронизмом и посмешищем.

Я — Джек На Ходулях, из века в век тянувший лямку свою;  
 Я вижу, мир безумен и глух, и тщетно я вопию.  
 Все это — высокопарный вздор. Трубит гусиный вожак  
 В ночной тишине, и брезжит рассвет, и разрывается мрак;  
 И я ковыляю медленно прочь в безжалостном свете дня;  
 Морские кони бешено ржут и скалятся на меня.

(«Высокопарный вздор», 1939)

Разве этот Джек На Ходулях и другие старики и старухи Йейтса (например, Безумная Джейн), бунтующие против глумливого века и верные своим юным мечтам, разве они не родня Дяде Арли? А герои-

\* Смысл стихов сгущается, если вспомнить, что они написаны слабеющей рукой умирающего в час величайшей угрозы для Европы и мира (1939 год).

ческий Кухулин, бьющийся с волнами, разве так уж бесконечно далек от Старика, отбивавшегося стульями от пчел? А эксцентрический образ старости, «привязанной ко мне, как консервная банка к собачьему хвосту», из стихотворения «Башня»? А «Песня скитальца Энгуса» —

I went out to the hazel wood,  
Because a fire was in my head,—  
(Я ушел в ореховую рощу,  
Потому что голова моя пылала огнем) —

разве она не похожа на «Донга С Фонарем На Носу?» По-моему, поразительно похожа! Тот же чувственно воплощенный образ носимого с собой огня (дух, страсть), та же эльфийская девушка, появившаяся и исчезнувшая, то же бесконечное странствие в поисках любви...

Есть сквозные мотивы, совпадающие у Эдварда Лира и У. Б. Йейтса, — танец, плавание, маски.

Всю ночь танцуют Донг со своей синерукой, зеленоволосой Девой-джамблейкой на берегу Зиммери Фидд, танцуют при свете луны Кот с Совой — «рука в руке на прибрежном песке», пляшут Король и Королева пеликанов у Нила, приплясывают и персонажи лимериков.

Не тот ли танец заводит и Йейтс, которому в 1888 году, когда умер Лир, было 23 года?

Кто вслед за Фергусом готов  
Гнать лошадей во тьму лесов  
И танцевать на берегу?

(«Кто вслед за Фергусом?», 1892)

На долгие годы танец остается его любимой темой. В раннем творчестве — это образ волшебства и соблазна (пляски фей), впоследствии — выражение метафизического экстаза жизни и смерти, танец-вызов, танец-высвобождение. В поздних стихах Йейтса выстраивается целый ряд прекрасных плясуний — от крошечной девчушки, танцующей на берегу, до пригрезившейся ему девушки «между Сфинксом и Буддой» (интеллектом и любовью), «протанцевавшей свою жизнь дотла», — роковой девы снов, сбрызнувшей его пищу «безумной приправой, от которой заходится сердце» («Двойное зрение Майкла Робартиса»).

Плавание — второй общий мотив Лира и Йейтса. Уплывают на какой-то счастливый остров Джамбли; и грустный Комар Долгоног с коротконогой Мухой отправляются далеко-далеко в своей утлой лодочке; уплывает на Черепахе малютка Йонги-Бонги-Бой; лишь покинутый Донг обречен ждать у моря погоды со своим Лучезарным Носом. Само собой, что ковчег, лодка — древнейший (еще от египтян) символ посмертного странствования души.

«That is no country for old men» («Эта страна не для старых») — так начинает Йейтс свое «Плавание в Византию». Как и Остров Вечной Молодости, который искал за волнами герой его ранней поэмы «Странствия Ойсина», Византия для Йейтса — символ волшебной страны, где сбываются мечты о бессмертном искусстве и бессмертной любви. Впрочем, как выясняется из «Новостей для Дельфийского оракула», эти области лежат не столь далеко друг от друга, ибо именно на Блаженный Остров выносят избранных уже знакомые нам дельфины из «Византии».

Маски — еще один неотъемлемый элемент поэтики Йейтса. Рыжий Ханрахан, Оуэн Ахерн, Майкл Робартис, Кухулин, Безумная Джейн —



всю жизнь он только и делал, что примерял личины различных персонажей (легендарных и вымышленных), вводя в лирику типичные приемы драмы. Он также создал и свой оригинальный театр маски — аналог японского театра Но.

По сравнению с этим Йонги-Бонги-Бой, Донг С Фонарем На Носу и Дядя Арли — лишь простые alter ego автора. И все же.

Случайны ли эти параллели? Ведь и Эдвард Лир, и У. Б. Йейтс, несмотря на несовпадение во времени (один завершал свой путь, когда другой только начинал), — представители позднего романтизма, я бы сказал, «ретро-романтизма», и потому оба стремились к обновлению традиции. Один — на путях абсурда и сказки, другой — сказки и мифа.

И пути их сближались. Это подтверждается, в частности, важнейшей для позднего Йейтса концепцией «веселости», которая стала его ответом «зlobe дня».

Я слышал, как истерички вопят,  
 Что их тошнит от картин и смывков  
 И от вечных беспечных од и баллад, —  
 Когда момент, безусловно, таков,  
 Что, если не взять решительных мер,  
 Аэростаты и цеппелины  
 Засыпят бомбами спящий мир,  
 И города обратятся в руины, —

пишет он в стихотворении «Ляпис-лазурь». И, обращаясь к героям и шутам Шекспира, образам античного и китайского искусства, твердо формулирует свое кредо:

Все гибнет, и все создается вновь,  
 А творцы беспечны и веселы.  
 (All things fall and are built again,  
 And those that build then again are gay.)

Очень мощное метафизическое утешение. Хотя не уверен, что оно звучит так уж успокоительно для обыкновенного обывателя. Вероятно, не больше, чем лозунг известного Джентльмена из Девоншира:

Жил один Джентльмен в Девоншире,  
 Он распахивал окна пошире  
 И кричал: «Господа!  
 Трумбаду-трумбада!» —  
 Ободряя народ в Девоншире.

В своей собственной поэтической мифологии, в теории перевоплощений, основанной на фазах луны, Йейтс утверждал, что последние три стадии универсального круга — Горбун, Святой и Дурак (Шут). В книге «Видение» он дает такое определение Дурака:

«Он лишь соломинка, носимая ветром, и лишь ветер у него в голове, и лишь одно желание — кружиться безмянно и невесомо. Божье Дитя — называют его порой».

(Сравните с восклицанием Донга: «И последние выдуло крохи ума // Из несчастной моей головы».)

Но смысл этого «дурачества» двойствен. «В худшем случае, — пишет Йейтс, — его руки и ноги, его глаза, его воля и желания подчиняются лишь смутным подсознательным фантазиям. Но в лучшие минуты ему доступна вся мудрость... Физический мир предлагает ему картины и явления, не имеющие отношения к его нуждам и желаниям; мысли его погружены в бесцельные грезы, его поступки так же бесцельны, как мысли; но в этой бесцельности он находит радость».

То, к чему путем многих раздумий приходит Йейтс, интуитивно найдено Лиром намного раньше. Но и он не сразу понял, что за жемчужное зерно попало к нему в руки. В его наследии много сора, соломинок, кружащихся на ветру. Но поздние баллады Эдварда Лира заслуживают название великих не меньше, чем, например, знаменитые оды Джона Китса 1819 года.

И влияние их на литературу XX века (Джойс, Элиот, Хармс) еще очень мало оценено и изучено.

## Эдвард Лир

### ДОНГ С ФОНАРЕМ НА НОСУ

Когда тьмою и мглою кромешной объят  
 Злоповедный Грамбулинский Бор,  
 Когда гулкие волны о скалы гремят  
 И тяжелые, мрачные тучи висят  
 Над вершинами Знудских Гор, —

Тогда, сквозь этот жуткий мрак,  
 Какой-то брезжит светлый знак,  
 Какой-то слабый огонек,  
 Пронзая веером лучей  
 Густую черноту ночей,  
 Во тьме блуждает без дорог,  
 Далекий и одинокий.

То шевельнется, то замрет,  
 То снова медленно ползет,  
 Как светлячок, среди стволов  
 Гигантских Буков и Дубов.  
 И те, кто зрят в полночный час  
 С высоких Башен и Террас  
 Тот слабый огонек в лесу,  
 Тревожно ударяют в гонг  
 И восклицают: — Это Донг! —

Это Донг!

Это Донг!

Это Донг С Фонарем На Носу!

Было время —

Не знал он ни горя, ни зла,  
 Жизнь его беспечно и вольно текла,  
 Но приплыли Джамбли туда в решете  
 (Это были те самые! самые те!) —  
 И высадились возле Зиммери-Фидд,  
 Где омары столь аппетитны на вид  
 И прибой возле скал так бурлит и шумит,

Словно чайник кипит на плите;

Там они танцевали все ночи и дни

И песню волшебную пели они:

*Далеко, далеко,*

*И доплыть нелегко*

*До страны, где на горном хребте*

*Синерукие Джамбли над морем живут,  
С головами зелеными Джамбли живут.  
И ушли они вдаль в решете!*

И была среди Джамблей Дева одна —  
С волосами зелеными, словно волна,  
И руками синими, как небосвод;  
Рядом с Девою милой ночь напролет  
Очарованный Донг водил хоровод.  
Но ужасный день наступил:  
И уплыли Джамбли в море опять,  
И остался Донг одиноко стоять  
(Созерцая пустынную водную гладь) —  
Неприкаян, дик и уныл.

Он глядел и глядел до боли в очах  
На далекий парус в закатных лучах  
(А прибой между скал все кипел),  
Он мычал и стонал, он томился и чах,  
И песню Джамблей он пел:  
*Далеко, далеко,  
И доплыть нелегко  
До страны, где на горном хребте  
Синерукие Джамбли над морем живут,  
С головами зелеными Джамбли живут.  
И ушли они вдаль в решете!*

А когда догорела заката кайма,  
Он вздохнул и воскликнул: «Увы!  
И последние выдуло крохи ума  
Из несчастной моей головы».  
И пошел он скитаться все дни напролет  
Среди скал и холмов, лесов и болот,  
Распевая: «В каком отыщу я краю  
Синерукою милую Деву мою?  
У каких берегов и озер  
За`грядую неведомых гор?»

Так, на тоненькой дудке свистя и пища,  
Он скитается, милую Деву ища,  
И, чтоб ночью не сбиться с пути,  
Он надрал коры осин и берез  
И сплел себе удивительный Нос,  
Вот уж истинно замечательный Нос —  
Такого нигде не найти! —  
И покрасил его яркой сурьмой,  
И завязал на затылке тесьмой.  
Этот Нос, как Башня, торчал на лице  
И в себе заключал он фонарь на конце,  
Освещающий мир  
Через множество дыр,  
Проделанных в этом огромном Носу;  
Защищенный корой,  
Чтобы ветер сырой  
Его не задул в злоповедном лесу.

Так все ночи и дни напролет  
Он блуждает средь гор, лесов и болот,  
Этот Донг С Фонарем На Носу!

Пугая дудочкой ворон,  
 Уныл, истерзан, изнурен,  
 Все ищет, но не может он  
 Найти свою красу.  
 И те, кто зрят в полночный час  
 С высоких Башен и Террас  
 Тот беглый огонек в лесу,  
 Тревожно ударяют в гонг  
 И восклицают: «Это Донг!  
 Это он там блуждает в лесу! —  
     Это Донг!  
     Это Донг!  
 Это Донг С Фонарем На Носу!»

## МИСТЕР ЙОНГИ-БОНГИ-БОЙ

### 1

В том краю Караманджаро,  
     Где о берег бьет прибой,  
 Жил меж грядок с кабачками  
     Мистер Йонги-Бонги-Бой.  
 Старый зонт и стульев пара  
 Да разбитая гитара —  
     Вот и все, чем был богат,  
     Проживая между гряд  
 С тыквами и кабачками,  
     Этот Йонги-Бонги-Бой,  
 Честный Йонги-Бонги-Бой.

### 2

Как-то раз, бредя устало  
     Незнакомую тропой,  
 На поляну незабудок  
     Вышел Йонги-Бонги-Бой.  
 Там средь курочек гуляла  
 Леди, чье лицо сияло.  
     «Это леди Джингли Джотт  
     Белых курочек пасет  
 На поляне незабудок», —  
     Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
     Мудрый Йонги-Бонги-Бой.

### 3

Обратясь к прекрасной даме  
     В скромной шляпке голубой,  
 «Леди, будьте мне женою, —  
     Молвил Йонги-Бонги-Бой. —  
 Я мечтал о вас ночами  
 Между грядок с овощами;  
     Я годами вас искал  
     Между пропастей и скал;  
 Леди, будьте мне женою!» —  
     Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
     Пылкий Йонги-Бонги-Бой.

## 4

«Здесь, в краю Караманджаро,  
 Где о берег бьет прибой,  
 Много устриц и омаров  
 (Молвил Йонги-Бонги-Бой).  
 Старый зонт и стульев пара  
 Да разбитая гитара  
 Будут вашими, мадам!  
 Я на завтрак вам подам  
 Свежих устриц и омаров», —  
 Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
 Щедрый Йонги-Бонги-Бой.

## 5

Леди вздрогнула, и слезы  
 Закипели, как прибой:  
 «Вы немножко опоздали,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
 Ни к чему мечты и грезы,  
 В мире много грустной прозы:  
 Я любить вас не вольна,  
 Я другому отдана,  
 Вы немножко опоздали,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой,  
 Милый Йонги-Бонги-Бой!

## 6

Мистер Джотт живет в столице,  
 Я с ним связана судьбой.  
 Ах, останемся друзьями,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
 Мой супруг торгует птицей  
 В Англии и за границей,  
 Всем известный Джеффри Джотт;  
 Он и вам гуся пришлет.  
 Ах, останемся друзьями,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой,  
 Славный Йонги-Бонги-Бой!

## 7

Вы такой малютка милый  
 С головой такой большой!  
 Вы мне очень симпатичны,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
 Если б только можно было,  
 Я б решенье изменила,  
 Но, увы, нельзя никак;  
 Верьте мне: я вам не враг,  
 Вы мне очень симпатичны,  
 Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
 Милый Йонги-Бонги-Бой!»

## 8

Там, где волны бьют с размаху,  
 Где у скал кипит прибой,  
 Он побрел по краю моря,  
 Бедный Йонги-Бонги-Бой.  
 И у бухты Киви-Мяху  
 Вдруг увидел Черепаху:  
 «Будь галерою моей,  
 Увези меня скорей  
 В ту страну, где нету горя!» —  
 Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
 Грустный Йонги-Бонги-Бой.

## 9

И под шум волны невнятной  
 По дороге голубой  
 Он поплыл на Черепахе,  
 Храбрый Йонги-Бонги-Бой;  
 По дороге невозвратной  
 В край далекий, в край закатный.  
 «До свиданья, леди Джотт», —  
 Тихо-тихо он поет,  
 Вдаль плывя на Черепахе,  
 Этот Йонги-Бонги-Бой,  
 Верный Йонги-Бонги-Бой.

## 10

А у скал Караманджаро,  
 Где о берег бьет прибой,  
 Плачет леди, восклицая:  
 «Милый Йонги-Бонги-Бой!»  
 В той же самой шляпке старой  
 Над разбитою гитарой  
 Дни и ночи напролет  
 Плачет леди Джингли Джотт  
 И рыдает, восклицая:  
 «Милый Йонги-Бонги-Бой!  
 Где ты, Йонги-Бонги-Бой?»

## ДЯДЯ АРЛИ

Помню, помню дядю Арли  
 С голубым сачком из марли:  
 Образ долговяз и худ,  
 На носу Сверчок зеленый,  
 Взгляд печально-отрешенный —  
 Словно знак определенный,  
 Что ему ботинки жмут.

С пылкой юности, бывало,  
 По холмам Тинискурала  
     Он бродил в закатный час,  
 Воздевая руки страстно,  
 Распевая громогласно:  
 «Солнце, солнце, ты прекрасно!  
     Не скрывайся прочь от нас!»

Точно древний персиянин,  
 Он скитался, дик и странен,  
     Изнывая от тоски:  
 Грохоча и завывая,  
 Знания распространяя  
 И — попутно — продавая  
     От мигрени порошки.

Как-то, на тропе случайной,  
 Он нашел билет трамвайный,  
     Подобрать его хотел;  
 Вдруг из зарослей бурьяна,  
 Словно месяц из тумана,  
 Выскочил Сверчок неожиданно  
     И на нос к нему взлетел!

Укрепился — и ни с места,  
 Только свиритит с насеста  
     Днем и ночью: я, мол, тут!  
 Песенке Сверчка внимая,  
 Дядя шел не уставая,  
 Даже как бы забывая,  
     Что ему ботинки жмут.

И дошел он, в самом деле,  
 До Скалистой Цитадели,  
     Там под дубом вековым  
 Он скончал свой подвиг тайный:  
 И его билет трамвайный,  
 И Сверчок необычайный  
     Только там расстались с ним.

Там он умер, дядя Арли  
 С голубым сачком из марли,  
     Где обрыв над бездной крут;  
 Там его и закопали,  
 И на камне написали,  
 Что ему ботинки жали,  
     Но теперь уже не жмут.



---

---

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

---

---

### МАЯКОВСКИЙ: «ИМПЕРАТОР»

#### *История одного стихотворения*

*В 1993 году исполняется 125 лет со дня рождения Николая Александровича Романова — Императора Николая II — и 75 лет со дня его мученической гибели, тайны которой с течением лет не перестают волновать людей во всем мире. В нашей печати в последнее время также появляются все новые догадки исследователей и свидетельства, казалось бы, навеки канувших в небытие документов о смерти последнего русского императора. Но на 1993 год выпадает еще одна дата — 100-летие со дня рождения великого пролетарского поэта — трибуна Октябрьской революции Владимира Маяковского. Читатель нашего журнала Владимир Дядичев предлагает, на наш взгляд, интересное литературное разыскание «странных сближений» их судеб.*

19 июля 1918 года Владимиру Маяковскому исполнилось 25 лет. Именно в этот день в «Известиях ВЦИК» было опубликовано первое краткое сообщение о том, что «ввиду приближения контрреволюционных банд к красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда...», в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля расстрелян бывший царь Николай Романов, «виновный в бесчисленных кровавых насилиях против русского народа...».

Прошло десять лет...

В конце января — начале февраля 1928 года В. Маяковский совершил очередное лекционно-поэтическое турне по городам Союза: Москва — Казань — Свердловск — Пермь — Вятка... 26-го января поэт впервые прибыл в Екатеринбург, за четыре года до этого переименованный в Свердловск. Выступления, встречи с местными журналистами, рабкорами, деятелями культуры... Творческим результатом этой поездки явились три стихотворения. Первое — «Екатеринбург-Свердловск» — уже 29 января опубликовано в местной газете «Уральский рабочий». Второе стихотворение — «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» — появилось в «Правде» 18 февраля (дата под стихотворением — 28 января). Третьим произведением стал «Император»...

На вечер в Деловом клубе Свердловска в первый же день по приезде Маяковский познакомился с председателем горисполкома А. И. Парамоновым. Последний за домашним ужином обмолвился, что знает, где захоронены останки последнего русского царя...

Местный журналист-краевед в начале 50-х годов со слов самого А. Парамонова попытался восстановить детали: «Маяковский... прямо-таки приневолил рассказать обо всем подробнее. «Да меня в то время и в городе-то не было, — вскинулся Анатолий Иванович, — воевал. Прав-



да, мой друг, участник тех событий, рассказывал...» — «Хорошо бы побывать в тех местах... Я ведь видел Николая, когда он чувствовал себя триумфатором...» — «Что вы, Владимир Владимирович! Стоит ли, да и зима сейчас». — «Но поймите: я — поэт. И должен написать об этом...» Договорились на утро завтрашнего дня. Анатолий Иванович позвонил в исполком и велел заложить на заре пару лошадей...» (А. Пудваль. Поиск. Рассказы литературного следопыта. Свердловск, Ср.-Ур. кн. изд-во, 1974, с. 27—28). Далее — запись, сделанная самим А. И. Парамоновым в 1934 году (Гос. музей В. В. Маяковского): «Без сомнения, я единственный человек, знающий, где сгнили останки последнего русского царя Николая II. Яков (Юровский) показал мне это место в 1920 году. И я сделал ножом зарубки на корнях березы, чтобы отметка сохранилась и в том случае, если березу срубят. В 1928 году благодаря этим знакам я нашел это место и показал его Владимиру Маяковскому, что он и описал в своем стихотворении «Император».

Осмотрел поэт и Ипатьевский дом. Тогда, в 1928 году, в полуподвале все оставалось неизменным со времени кровавой ночи июля 1918 года: выщербленная пулями штукатурка, щербины на полу, в дверных косяках... (См.: П. Лавут. Маяковский едет по Союзу.)

Стихотворение «Император» построено на контрастном сопоставлении прошлого и настоящего. Сначала — короткая зарисовка торжественного проезда Николая II по улицам столицы. Затем — картина заснеженного леса, скрывшего останки императора...

Помню —  
                   то ли Пасха,  
 то ли —  
                   Рождество:  
 вымыто  
                   и насухо  
 расчищено торжество.  
 . . . . .  
 И раззвонившие колокола  
 расплылись  
                   в дамском писке:  
 Урра!  
                   царь-государь Николай,  
 император  
                   и самодержец всероссийский!

Снег заносит  
                   косые кровельки,  
 серебрит телеграфную сеть,  
 он схватился  
                   за холод проволоки  
 и остался  
                   на ней  
                   висеть.  
 На всю Сибирь,  
                   на весь Урал  
 метельная мура.  
 За Исетью,  
                   где шахты и кручи,  
 За Исетью,  
                   где ветер свистел,  
 приумолк

исполкомовский кучер  
и встал  
на девятой версте.  
. . . . .  
Шесть пудов  
(для веса ровного!),  
будто правит  
кедров полком он,  
снег хрустит  
под Парамоновым,  
председателем  
исполкома.  
Распахнулся весь,  
роют  
снег  
пимы.  
— Будто было здесь?!  
Нет, не здесь.  
Мимо!—  
Здесь кедр  
топором перетроган,  
зарубки  
под корень коры,  
у корня,  
под кедром,  
дорога,  
а в ней —  
император зарыт.  
. . . . .  
Прельщают  
многих  
короны лучи.  
Пожалте,  
дворяне и шляхта,  
корону  
можно  
у нас получить,  
но только  
вместе с шахтой.

Итак, Маяковский точно знал, где захоронены останки царской семьи. Невзирая на постоянно мучившие его простуды, он счел необходимым в январский мороз съездить и осмотреть место, «где шахты и кручи». И несмотря на, казалось бы, «государственную тайну» погребения, умудрился даже рассказать об этом «секрете» публично, печатно... Стихотворение «Император» было опубликовано в 4-м номере журнала «Красная новь» за 1928 год.

Личное же отношение Маяковского к императору Николаю II, думаю, было достаточно типичным, широко распространенным для того времени. Вспомним, что отречение царя в марте 1917 года было встречено с удовлетворением, с восторгом практически всеми слоями русского общества. И в течение всей гражданской войны монархическая составляющая белого движения была весьма незначительной. Даже расследование обстоятельств расстрела царской семьи после взятия белыми Екатеринбурга 25 июля 1918 года, как известно, велось довольно вяло, формально, держалось в основном на энтузиазме конкретных исполнителей, а не властей...

Несомненно, заметную побудительную роль в повышенном внима-

нии Маяковского к трагедии царской семьи играло еще одно личное обстоятельство. Всего несколькими месяцами ранее — в августе 1927 года — поэт завершил работу над поэмой «Хорошо!». Здесь в 18-й главе он пишет о своем посещении Красной площади, могил у Кремлевской стены:

«... Вот с этим  
                                виделся  
  чуть не за час.  
Смеялся.  
                                Снимался около..  
И падает  
                                Войков,  
  кровью сочась,  
И кровью  
                                газета  
  намокла».

Да, в середине мая 1927 года Маяковский во время своего пребывания в Варшаве виделся и беседовал с полпредом СССР в Польше П. Л. Войковым. Сохранились и фотографии, сделанные тогда во дворе посольства. А 7 июня 1927 г. Войков был застрелен на перроне Варшавского вокзала девятнадцатилетним студентом-монархистом Борисом Ковердой. Ведь Петр Лазаревич Войков в июле 1918 года был членом президиума Исполкома Уралсовета и комиссаром продовольствия Уральской области. Документально установлено, что именно он доставал тогда серную кислоту для уничтожения трупов Романовых. Своего участия в этом деле П. Войков особо не скрывал, среди близких друзей делился воспоминаниями. Очевидно, узнал об этом от самого Войкова и Маяковский. Торжественным похоронам Войкова у Кремлевской стены В. Маяковский посвятил стихотворение «Голос Красной площади», появившееся в «Рабочей газете» 13 июня 1927 года:

«... это  
                                грозит Москва  
мстить  
                                за товарища  
  вам. [...]  
Крой,  
                                чтоб корона гудела,  
рабоче-крестьянская двойка.  
Закончим,  
                                доделаем дело,  
за которое —  
  пал Войков».

В стихотворении — и напоминание о «кровной мести», и намек («корона гудела») на то, что Маяковский знал о личной причастности Войкова к расстрелу Николая II.

Между тем период 1927 — начала 1928 года стал для поэта временем существенных, весомых изменений в его умонастроениях... Уже работа над юбилейной «Октябрьской поэмой» — «Хорошо!» — заставила Маяковского еще раз пристально, шаг за шагом проследить всю 10-летнюю послереволюционную историю страны, сопоставить ожидания молодости с первыми результатами... Не прошли мимо его внимания и многочисленные «разборки» в верхах между бывшими единомышленниками: все эти «платформы», «оппозиции», «уклоны» и т. п. В ноябре — декабре 1927 года по решению ЦК и XV съезда ВКП(б) начинается исключение из партии и снятие с постов всех троцкистов. Некоторых Маяковский знал лично. Да и в поэме «Хорошо!» упоминаются в

основном деятели революции, к 1927 году находившиеся уже в явной опале. Троцкий («Бронштейн Левка»), Лашевич, Антонов-Овсеенко, Подвойский.

Вернемся, однако, к Маяковскому. К 1928 году его утопическо-футуристические иллюзии первых лет революции в значительной степени уже иссякли. Реальная практика оказалась мало похожей на идеализированные представления поэта о коммунизме как всеобщем братстве и счастье. В автобиографии «Я сам» главку «1928 год» он начинает словами: «Пишу поэму «Плохо». Поэма «Плохо» осталась ненаписанной, но обличительная, сатирическая линия в творчестве Маяковского этого периода стала явно преобладающей.

Эмигрантский литературный критик эсеровского толка Марк Слоним в своем отклике на гибель поэта отмечал: «... чем дальше шло время, тем меньше обращался Маяковский к широким и большим темам революции — к мировому восстанию, к гибели империи («Император» — поэма о Николае Втором, в которой есть великолепные строки), к перспективам Октября: он нарочито «снижал» темы...» (М. Слоним. Два Маяковских.— «Воля России», Прага, 1930, № 5—6, с. 451).

Об этом же стихотворении идет речь в воспоминаниях М. Слонима о Марине Цветаевой, написанных уже в 60-е годы: «В 1936 году... Марина Ивановна закончила поэму об убийстве Царской семьи... Марина Ивановна объяснила, что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского «Император». Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала: поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и, если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее. Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбург и Тобольска, напомилавшими отдельные места цветаевской «Сибири», написанной в 1930 году и напечатанной в «Воле России» (Кн. 3-4; 1931). Почти все они показались мне очень яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу...» (М. Слоним. О Марине Цветаевой.— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1971, № 104, с. 167).

Но ни Марина Цветаева, ни Марк Слоним, ни читатели того времени не могли знать заключительных строк стихотворения «Император», оставшихся в записной книжке Маяковского и по понятным причинам того времени не попавших в печатный текст:

«Спросите: руку твою протяни,  
не встать мне на повороте:  
Казнить или нет человечьи дни?  
Я сразу вскину две пятерни —  
Я голосую против!..  
Мы повернули истории бег.  
Старье навсегда провожайте.  
Коммунист и человек  
не может быть кровожаден...»

Какую бы субъективную оценку ни давал Маяковский деятельности или личности императора, ясно, что именно эти строки наиболее точно выражают подлинную, гуманистическую позицию поэта, его отношение к кровавому акту расстрела царской семьи. Поэт сознает, что одна трагедия, одна жестокость, одна несправедливость порождает следующую. И так — до бесконечности... В теоретических словесных баталиях Маяковский нередко использовал достаточно резкие, «экстремистские» выражения («Сбросить Пушкина с парохода современности!..», «Почему не атакован Растрелли?..» и т. д.).

Однако еще в период Первой мировой войны проявилось резкое неприятие поэтом всякого кровопролития, тем более — убийства, его ярко выраженный пацифизм:

«Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как, —  
может быть, сейчас бомбой ноги  
выдрало у Петрова поручика?..»

(«Вам!»)

«Гремит и гремит войны барабан.  
Зовет железо в живых втыкать.  
Из каждой страны  
за рабом раба  
бросают на сталь штыка.  
За что?..»

*К ответу!*

В сущности, вся поэзия Маяковского — это поэзия любви. Любви к женщине и миру, к человеку и человечеству, любви к счастливому будущему и к революции как его прологу... И, конечно, вид «вещественных доказательств» кровавой драмы в Екатеринбурге не мог не оказать на поэта сильнейшего эмоционального воздействия.

Остались неизвестными конкретные обстоятельства изменения заключительных строк стихотворения «Император» при публикации в «Красной нови». Сохранился даже «компромиссный» вариант концовки:

«Живые — так можно в зверинец их  
промежду гиеной и волком.  
И как ни крошечен толк от живых,  
от мертвого меньше толку».

Нет, даже такое условное «человеколюбие» оказалось неуместным для неистовых ревнителй революционных традиций. К тому же, в 1928 году исполнялось 10 лет со времени расстрела последнего российского императора. Видимо, и появление стихотворения Маяковского рассматривалось официальными органами также в контексте этого «юбилея»...

А в следующем, 5-м номере «Красной нови» 1928 г. (с. 185—209) были опубликованы записки А. Д. Авдеева «Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге (Из воспоминаний коменданта)». Того самого Авдеева, который охранял царскую семью при переезде из Тобольска в Екатеринбург и стал первым комендантом Ипатьевского дома. 4-го июля 1918 года на посту коменданта его сменил уже упоминавшийся Яков Юровский, непосредственно приводивший в исполнение страшную экзекуцию в ночь с 16 на 17 июля...

Но литературные события 1928 года обладали для поэта и собственным драматизмом... В августовском, 8-м номере «Красной нови» критик Д. Тальников в своих «Литературных заметках» (с. 259—281) среди прочего делает несколько грубых выпадов против В. Маяковского (критике подверглись в первую очередь его очерки «Мое открытие Америки» и недавно вышедший 5-й том собрания сочинений).

Последовал протест В. Маяковского:

«В редакцию журнала «Красная новь»

Не откажите в любезности опубликовать следующее: изумлен развязным тоном малограмотных людей, пишущих в «Красной нови» под псевдонимом «Тальников». Дальнейшее мое сотрудничество считаю лишним.

16.VIII.28 г.

Владимир Маяковский».

(В. Маяковский. ПСС, т. 13, М., 1961, с. 121—122).

Это письмо поэта достаточно известно. Можно также отметить, что Д. Тальников вскоре стал антигероем стихотворения Маяковского «Галопщик по писателям», примером поверхностности критики в ряде публицистических выступлений поэта, одним из прототипов репортера-приспособленца Моментальникова в «Бане»...

Вдумаемся, однако, в самую «идею» и последствия этого коротенького послания. Поэт в расцвете своего таланта, активно и много пишущий, навсегда отказывается от сотрудничества с ведущим толстым литературным журналом того времени! Журналом, основанным в 1921 году по личной инициативе В. И. Ленина. Этот далеко не ординарный шаг свидетельствует об определенных изменениях в умонастроении поэта.

В октябре 1928 года Маяковский выезжает в командировку за границу, в Париж. И здесь в беседе с другом юности вновь неожиданно всплывает тема гражданской войны на Урале, в Екатеринбурге... Впрочем, предоставим слово литератору Наталии Роскиной: «Художник Николай Гушин рассказывал мне о встрече с Маяковским в Париже, в 1928 году. Во время революции молоденький художник Гушин оказался на Урале, где распространял большевистские листовки, поэтому вскоре ему пришлось бежать от Колчака. Занесло его на Дальний Восток, а оттуда, морем, попал в Европу — в Париж, где, вероятно, он был счастлив, как всякий художник... Но тянуло домой, тянуло — и тут, совершенно неожиданно для себя, Гушин обнаружил, что советское правительство, те самые большевики, отказывают ему в въездной визе... И вот, встретив в кафе своего старого приятеля Маяковского, Гушин кинулся к нему и рассказал о своих хлопотах. Маяковский обдал его ушатом холодной воды. Он спросил: «А зачем тебе туда ехать?» Надо было знать этого пылкого, чистейшего человека, в котором священные понятия, как искусство, родина, честь, светились неизменным светом... «То есть как зачем? — воскликнул изумленный Гушин. — Работать! Для народа!» Маяковский мягко коснулся его руки и сказал: «Брось, Коля! Гиблое дело». (Наталия Роскина. Четыре главы. Из литературных воспоминаний. Париж, ИМКА-Пресс, 1980, с. 79-80).

Известны и воспоминания художника Юрия Анненкова о том времени: «Тяжкие разочарования, пережитые Маяковским, о которых он говорил со мной в Париже (как и мой друг, гениальный Мейерхольд, во время своих приездов во Францию), заключались в том, что (как они оба довольно поздно поняли) коммунизм, идеи коммунизма, его идеал — это одна вещь, в то время как «коммунистическая партия»... перегруженная административными мерами и руководимая людьми, которые пользуются для своих личных благ всеми прерогативами, всеми выгодами «полноты власти» и «свободы действия», — это совсем другая вещь...» (Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Нью-Йорк, 1966, том. 1, с. 201).

Да, непростые мысли одолевали советского «полпреда стиха» В. Маяковского в Париже...

Как вспоминал Н. Оцуп, осенью 1928 года Маяковский в Париже читал и своего «Императора». Можно предположить — с измененной, приведенной выше концовкой.

И все же несостоявшийся поэтический «протест» против кровавой расправы требовал какого-то разрешения, выхода...

Осень 1928 года — время завершения Маяковским работы над пьесой «Клоп». Пьесу «усиленно дописываю», «сiju и раздраковываю пьесу», — сообщает он в октябре—ноябре из Парижа в Москву. Пьеса, писавшаяся, кстати, по настоятельной просьбе В. Э. Мейерхольда, являлась переработкой для драматической сцены написанного

ранее (1927 г.) и нереализованного киносценария «Позабудь про камин». Переработка этого сценария немого кино состояла, в первую очередь, в его «озвучивании», насыщении репликами, монологами, диалогами. Темой таких реплик становились порой юмористически поданные актуальные вопросы, фразы, явления, подслушанные на улице, взятые прямо из газетных полос, бывшие «на слуху» у аудитории. В конце декабря 1928 года уже в Москве состоялась читка Маяковским пьесы для труппы театра В. Мейерхольда.

... Розалия Павловна Ренесанс, парикмахерша, готовится к свадьбе своей дочери. Жених — омещанившийся рабочий, бывший партиец Присыпкин, ныне — Пьер Скрипкин. Розалия Павловна (обращаясь к лоточнику — продавцу сельдей): «... Сколько стоит эта килька? .. 2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской общественной кооперации!»

... Розалия Павловна (вырывается из магазина, неся сельди над головой): «Киты! Дельфины! (Торговцу сельдями). А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! (Сравнивает: сельдь лоточника больше; всплескивает руками.) На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть... На хвост, на целый хвост больше!..» (ПСС, т. 11, М., 1958, с. 222-225).

Справедливо наблюдение Романа Jakobsona, высказанное в статье-отклике на смерть Маяковского «О поколении, растратившем своих поэтов» (1930): «Поэтическое творчество Маяковского от первых стихов в «Пощечине общественному вкусу» до последних строк едино и неделимо. Диалектическое развитие единой темы. Необычайное единство символики. Однажды намеком брошенный символ далее развертывается, подается в ином ракурсе. ... Первоначально юмористически осмысленный образ потом подается вне такой мотивировки, или же, напротив, мотив, развернутый патетически, повторяется в пародийном аспекте. Это не надругательство над вчерашней верой, это два плана единой символики — трагический и комедийный, как в средневековом театре. Единая целеустремленность управляет символами...» (R. Jakobson. Selected Writings. Vol. 5, The Hague, 1979, p. 357).

Да, в данном случае поэт так или иначе высказал, выдохнул, выхрипел свое «НЕТ»... Но была ли это победа?.. И — над кем?..

Такое с ним уже случалось...

Так, в конце 1925 года, возвращаясь на пароходе из Америки, Маяковский написал стихотворение «Домой!». Лирическое стихотворение, полное непростых раздумий о расставании (кто знает, быть может — навсегда!) со своей возлюбленной Элли (Елизаветой Петровной) Джонс, оставшейся в США. Да, стихотворение именно об этом, а вовсе не о желании, «чтобы к штыку приравняли перо» (эти и соседние строки — лишь самонастраивание, самоубеждение поэта в правильности сделанного выбора — возвращения домой). Поэтому-то стихотворение и заканчивалось таким пронзительным, таким тревожно-взволнованным четверостишием:

«Я хочу быть понят моей страной,  
а не буду понят, —

что ж,

по родной стране  
пройду стороной,  
как проходит

косой дождь».

Но... по «совету» своих «ближайших друзей» Бриков, он это окончание отбросил, как «не подходящее по тону» к якобы бравурным строкам о «штыке» и «госплане», о «работе стихов» и «выделке стали»... Лучше пожертвовать строфой, чем допустить посторонних в свое, сокровенное...

Однако строчки отбрасываются, а мысли остаются. Они не дают покоя, жгут мозг, они требуют выхода... И в 1928 году (опять 1928-й год!) Маяковский в журнале «Новый ЛЕФ», № 6 в заметке «Письмо Равича и Равичу», критикуя молодого поэта за излишнюю сентиментальность, неожиданно сообщает: «Ноющее делать легко — оно щиплет сердце не выделкой слов, а связанными со стихом посторонними параллельными ноющими воспоминаниями. Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик:

Я хочу быть понят моей страной...

(Далее поэт приводит всю строфу полностью. — В. Д.)

Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал.

И это тоже — победа? .. Или поражение? ..

Так накапливались предпосылки для горького и беспощадного признания в поэме «Во весь голос»:

«... я  
себя  
смирял,  
становясь  
на горло  
собственной песне».

Последней поэме, написанной незадолго до трагического конца самого автора...

А первой крупной вещью поэта была стихотворная трагедия «Владимир Маяковский». Понимал ли тогда, в 1913 году, молодой двадцатилетний автор, что он создает воистину собственный символ? Человек-трагедия, поэт-трагедия, Маяковский стал певцом, «зеркалом» своего времени, адекватно отразившим все противоречия своей эпохи. Эпохи апокалипсиса, исторического разлома, эпохи грандиозного крушения прежних идеалов, сдвига целых жизненных пластов. Но и эпохи громадной, пламенной устремленности в будущее... Эпохи, которая не пощадила и самого Маяковского. Потому что он был только поэт. Он умел лишь любить и писать стихи. А это немало. Это очень много.

«Погибнет все.  
Сойдет на нет.  
И тот,  
кто жизнью движет,  
последний луч  
над тьмой планет  
из солнц последних выжжет.  
И только  
боль моя  
острей —  
стою,  
огнем обвит,  
на несгорающем костре  
немыслимой любви».

Владимир Дядичев



---

---

## ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

---

---

### Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

*Роман*

*Перевела с английского Юлия Муравьева*

#### ПРЕДРАССВЕТНАЯ СВИРЕЛЬ

Укрывшись в темных прибрежных зарослях, пеночка залиvisto и тонко выводила свою незамысловатую песенку. Перевалило уже за десять, и подкрадывалась ночь, но небо, вцепившись в зазевавшиеся отблески уходящего дня, надеялось задержать их подольше. Тщетно! Даже упрямое жаркое дыхание полуденного зноя отступало шаг за шагом, слабело и наконец улетучилось, развеянное в сумерках прохладными пальцами короткой летней ночи. Крот растянулся на берегу, стараясь унять колотившееся сердце, отдышаться после бешеной беготни этого неистового, опаленного солнцем дня, безоблачного с рассвета и до самого заката, — и ждал, когда вернется его товарищ. Сам он в небольшой компании провел все время на реке, с миром отпустив Крыса на свидание к Выдру, которое было обговорено заранее и обещало растянуться на целый день. Но, заглянув вечером домой, Крот обнаружил там мрак и пустоту, Крысом и не пахло: вероломный друг, увлекшись далекой прогулкой, безбожно опаздывал. Внутри было до того душно, что он опрометью выскочил на свежий воздух, прилег на холодящие листья конского щавеля; перед глазами замелькали чудесные картины угасшего дня, и он умиротворенно улыбнулся.

Наконец зашуршала под легкими шажками выжженная солнцем трава, и Крыс плюхнулся рядышком и, пробормотав: «Жара спала — вот блаженство-то!» — задумчиво уставился на воду, молчаливый, озабоченный.

— Ты что, остался там ужинать? — спросил Крот.

— Пришлось, — кивнул Крыс. — Они и слушать не хотели, чтоб я ушел голодным. Ты же знаешь, какие они милые. И все развлекали меня — до самой последней минутки. Я себя чувствовал просто скотиной: явно что-то стряслось, а они и виду не подадут. Крот, сдаётся мне, дело дрянь, малыш Портли опять потерялся, — представляешь? — а ведь отец, хоть и скрытничает, и не признается, — вообще-то прямо души в нем не чает.

— А, этот непоседа! — беззаботно отмахнулся Крот. — Ну, если даже и вправду пропал — что из того? Он постоянно где-то бродит, и теряется, и потом снова находится — такой уж характер у малыша. Ничего с ним не случится. Все в округе прекрасно его знают и любят

так же нежно, как и старину Выдра, и непременно кто-нибудь попадет-ся ему и решит взять за лапку и отвести домой. Да ты вспомни — мы и сами однажды повстречали этого звереныша в какой-то жуткой глуши — заметь себе, бодрого и в отменном расположении духа.

— Да-да... Только на этот раз, к сожалению, все гораздо серьезнее, — печально произнес Крыс. — Прошло уже несколько дней, родственники все окрестности вдоль и поперек прочесали — и ничего, ни следочка. Всех жителей опросили — на много миль вокруг, — плечами пожимают, не видели. Выдр очень волнуется, держит себя, естественно, в руках, но я-то понимаю, чего ему это стоит. В конце концов он признался, что Портли еще не выучился плавать как следует, и мне кажется, у него плотина из головы не идет. Там до сих пор всюю хлещет и плещет, вообрази, каков соблазн для ребенка. Ну, а кроме того, повсюду полным-полно капканов и разных гадостей — ты-то понимаешь, что я имею в виду. Выдр не будет попусту паниковать, он не из тех, кто раньше времени теряет голову. А сейчас он в панике. Когда я уходил, он вышел проводить меня, вроде как свежего воздуха глотнуть, лапы побразмать. Будто меня можно поймать на эту удочку! И я его раскусил, хоть каждое слово приходилось словно клещами вытаскивать. Он собирается всю ночь сторожить у брода — знаешь, где в старину переходили реку, пока мост не построили?

— Знаю, конечно, — поднял брови Крот. — Только что за странный выбор?

— По-моему, там он учил детеныша плавать, — объяснил Крыс, — на отмели, где дно такое мягкое — славный, мелкий песок. И свою первую рыбу Портли словил именно там — как он тогда задирает носик! В общем, малыш обожал эту отмель. И Выдру кажется, что на обратном пути зверенок — о Господи, если он еще жив, бедолажка! — вдруг да надумает заглянуть на любимое мелководье или, может, случайно попадет в эти места — и вспомнит, и задержится поиграть. Так что Выдр караулит там каждую ночь, на всякий случай, дружище, просто на всякий случай!

Помолчали. Думали — об одиноком неутешном звере, припавшем к земле у старинного брода, — как вглядывается он в темноту и ждет, долгую ночь напролет, надеясь на чудо.

— М-да... — вздохнул Крыс. — Пора, что ли, соображать нам насчет вздремнуть.

Но не пошевелился.

— Слушай! — встrepенувшись, взволнованно зачастил Крот. — Не могу я вот так пойти и завалиться на боковую и ничего, ровным счетом ничего не делать, пусть даже и представляется, что тут ничего вроде как не поделаешь! Давай спустим лодку и отправимся вверх по течению. Смотри: луна скоро взойдет, не больше часа осталось, и тогда мы примемся искать и будем очень стараться. По крайней мере, это лучше, чем валяться в постели и ничего не делать.

— Я и сам об этом подумывал, — признался Крыс. — В такую ночь все равно дрыхнуть не годится. Кстати, и рассвет не за горами — вылезают разные ранние пташки, глядишь, и новость какую сообщат.

Лодка закачалась на воде, и Крыс взялся за весла. Он греб плавно и осторожно; в неширокой полосе посередине реки смутно отражалось небо, но черные тени, невесомые тени кустов и деревьев, падая на воду, словно обретали плоть, тяжелели и становились такими же непроницаемыми, как породившие их берега, — и Кроту, рулевому, приходилось управлять со всей осмотрительностью, не отвлекаясь. Темной была ночь, и мир вокруг — пустынным и безжизненным, однако тихие шорохи и шелесты, песенки, потрескивание и шуршание выдавали тайны деловитого маленького народца, который бодрствовал и суетился, рукодельничал и мастерил, торопясь успеть до восхода солнца — и со

спокойной совестью предаться заслуженному отдыху. Голос воды тоже слышался яснее, чем днем, она булькала и причмокивала, всплескивая неожиданно и совсем рядом, и друзья то и дело вздрагивали, уверенные, что кто-то и впрямь окликает их, отчетливо и внятно выговаривая слова.

Резкая линия горизонта отделяла землю от неба, особенно густо и сочно наливаясь черным там, где мерцало, разрастаясь и скользя все выше, серебряное сияние. И вот над краем замершей в ожидании земли показалась величавая луна и, оторвавшись от горизонта, взмыла в воздух и поплыла, свободная, будто поднявший якорь корабль. И тогда мир снова явил глазу свои поверхности — широкие луга, недвижные, затихшие сады, распростертое зеркало реки, — чьи-то бережные руки стаянули с них жутковатое мглистое покрывало, и они засветились ясно, как днем, но иным, призрачным светом. Вынырнули из мрака старые добрые знакомцы и кивали, улыбаясь дружелюбно и немного смущенно, словно боялись оказаться неузнаваемыми в своих новых бледных нарядах, надетых украдкой и второпях.

Привязав лодку к ивовому стволу, зверьки ступили в серебрищее королевство и долго, терпеливо обшаривали живые изгороди, дула деревьев, норы и канавы, ямы и русла пересохших ручьев. Потом переправились на другой берег и опять искали, и еще, и еще раз, — и так продвигались вверх по течению, а луна, далекая, невозмутимая и неприкаянная посреди безоблачного неба, протягивала им свои лучи, стараясь помочь в нелегких этих поисках. Но пробил и ее час, и неохотно скатилась она с неба, покинув мир в темноте, и снова, окутанные тайной, оцепенели луг и река.

Но, крадучись, подползала перемена, готовая во всеуслышание заявить о себе. Посветлел горизонт, резче и как-то по-новому проступили очертания деревьев и полей; отряхиваясь, сбрасывали они обрывки ночных таинственных пут. Подала голос первая птица и, поперхнувшись, смолкла; зашелестели тростники и осоки от внезапного ласкового ветерка. Крыс, сидящий на корме, неожиданно выпрямился и вытянул шею, страстно и напряженно прислушиваясь к чему-то. Крот, еле касаясь веслами воды, медленно вел лодку вперед, осматривая берега тщательно и заботливо. Краем глаза заметив состояние своего приятеля, он взглянул на него с любопытством.

— Исчезло! — вздохнул Крыс, откидываясь на спинку сиденья. — Так прекрасно, и ново, и странно! И так мимолетно, — ах! — лучше бы мне и вовсе никогда его не знать — зачем? зачем? Оно пробудило во мне жажду, мучительное желание — только услышать еще раз и вечно внимать этому звуку, все остальное бессмысленно, глупо... Нет! Вот опять! — вскрикнул он, насторожившись, и, замороженный, очарованный, надолго замолчал.

— Теперь удалется, — прошептал он наконец, — я почти ничего не могу различить... О, как чудесно, Кротик! Как брызжет и пузырится радость в чистом, звонком, счастливом зове далекой свирели! И вообразить не мог я, ни во сне, ни наяву, что бывает на свете подобная музыка, — но ничто не сравнится с могуществом зова, звучащего в ней, — даже сама мелодия, сладкозвучная, дивная. Гребни же, Крот, гребни! Ибо и музыка, и зов, должно быть, — для нас.

Изумленный, Крот повиновался.

— Я-то сам ничего не слышу, — пробормотал он вполголоса, — кроме ветра, играющего в тростниках, и камышах, и ивовых ветках.

Крыс не отметил, да вряд ли и разобрал негромкие слова; восхищенный, взволнованный, трепещущий, он сложил все свои чувства к ногам божественного властелина, который поймал беспомощную душу и теперь, обняв крепко, надежно, уверенно, качал и баюкал ее, словно малое, слабое дитя.

В тишине Крот продолжал грести, размеренно, не спеша, и там, где река, раздвигаясь, отбрасывала в сторону длинную заводь, вопросительно покосился на товарища. Крыс, давно уже забросивший руль, легким кивком головы указал гребцу курс на заводь. Накатывала, ширясь и набирая силу, волна света, проявлялись краски на цветах и бутонах, драгоценным ожерельем приникших к кромке воды.

— Еще яснее и ближе!— радостно воскликнул Крыс.— Теперь и ты должен, братишка, — ага! услышал наконец! — я же говорил.

Ошеломленный, затаил дыхание Крот и опустил весла, когда певучий перелив сладкоголосой свирели водопадом обрушился на него, и подхватил, и закружил, подчинив своей власти. Он увидел слезы на щеках Крыса и склонил голову, осознав. Лодка чуть покачивалась на тихой воде, и шелковисто касались их лиц пурпурные локоны вербеника, окаймлявшего берег. Но отчетливо бился в уши настойчивый призыв, вплетенный в опьяняющую мелодию, и, послушный чужой могучей воле, Крот снова налег на весла. Становилось все светлее, отчего-то молчали птицы, поступившиеся своим почетным правом славить наступающий рассвет: колдовское царило безмолвие — и звенящим, неземным голосом пела свирель.

Они плыли дальше, и пушистая прибрежная бахрома лугового мятлика зеленела сегодня особенно буйно и сочно. Никогда еще так жарко не пламенели розы, так горделиво не рдел иван-чай, так одуряюще и роскошно не благоухал лабазник. Воздух постепенно заполнялся рокотом приближающейся плотины, и они почувствовали, что путешествие тоже приходит конец — неведомый, неизбежный.

Блестящая стена зеленой воды, бьющейся о воду, дрожащее, искрящееся марево над широким полукружьем пены — огромная плотина перекрывала заводь, баламутила сонную, спокойную гладь непоседливыми водоворотами, бешено кружащими лохмотья белой пены, — и все другие звуки тонули в ее торжественном, завораживающем гуле. Посередине, сжатый в текучих переливчатых объятиях плотины, притаился островок — скромный, неприметный, он держался с каким-то скрытым достоинством, и обрамляющие его берега густые заросли ивы, березы и черной ольхи надежно укрывали от посторонних глаз то, что поручено им было беречь и стеречь, пока не пробьет час и избранные не явятся на зов.

Не торопясь, но и не раздумывая и ни в чем не сомневаясь, полные торжественного ожидания, зверьки проплыли беспокойно бурлящей водой, и лодка ткнулась носом в цветущее разнотравье острова. Молча ступили они на сушу и сквозь нежные и терпкие ароматы, цветение, путаницу стеблей и листьев пробрались на гладкую лужайку, яркую, словно изумруд, — и оправа была сработана под стать прекрасному камню: сад, выращенный самой природой, — дикая яблоня, вишня, колючий терновник.

— Вот оно, место, откуда летела ко мне музыка, где пелась песня моей мечты, — зачарованно прошептал Крыс.— Здесь, в святом этом месте, здесь — или нигде — мы встретим сегодня Его.

И Крота охватил страх, и сразу обмякли мышцы, и, налившись тяжестью, опустилась голова, и ноги будто приросли к земле. Но странный страх этот не страшил и не пугал — на Кротиную душу снизошли спокойствие и благодать, и, благоговей, дрожал он всем телом и не мог, не хотел освободиться и чувствовал лишь, что чье-то высочайшее, повелительное Присутствие близко — совсем уже близко. С трудом повернув голову, он взглянул на своего друга: тот, скорчившись, лягал зубами, ошарашенный, взъерошенный. И по-прежнему царило безмолвие в изобильных птицами ветвях, и все ярче разгоралось предрасветное небо.

Может, он так и не решился бы поднять глаза, но слишком настойчиво, слишком требовательно — хоть и замолчала звонкая свирель — окликал его властный зов. Ждала ли впереди ужасная кара за то, что дерзнул он смертным, ничтожным взглядом проникнуть в хранимую за семью печатями тайну, — Крот не знал. Но послушаться не смел — и, трепеща, повиновался — и приподнял смиренную голову. Природа, оробев и залившись немыслимым пунцовым румянцем, затаила дыхание, словно боясь помешать тому, что должно было случиться, и в прозрачной чистоте стремительно надвигающегося рассвета Крот посмотрел прямо в глаза Спасителю и Помощнику. Он увидел изгиб загнутых назад рогов, блеснувших в свете пылающей зари, суровый ястребиный нос и добрые глаза, мерцающие хитростью и весельем; заметил, как в уголках рта, выглянувшего из-под колец шелковистой бороды, заплясала полуулыбка, как перекатывались мускулы по руке, небрежно брошенной на широкую грудь; рассмотрел оплетенную длинными гибкими пальцами свирель, только что отнятую от не успевших еще сомкнуться губ, великолепные извивы косматых ног, раскинутых по траве с непринужденным величием, — и наконец разглядел знакомые очертания: маленькое, круглое, младенчески-пухлое тельце. Уютно угнездившись между самых копыт, безмятежно и крепко спал потерянный Выдрин ребенок. Не дыша, покрытый испариной, Крот охватил все это одним взглядом — четкое на фоне светлеющего неба; он видел — и остался жить — и, оставшись жить, дивился, потрясенный.

— Крыс, — трясущимися губами пролепетал он, переведя дыхание, — ты боишься?

— Боюсь? — переспросил Крыс, сияя глазами, полными невыразимой любви. — Бояться Е го? Нет, невозможно! И все же, — ах, Крысик! — все-таки я боюсь!

И, прикинув к земле, звери склонили головы и молились.

Неожиданно роскошный золотой диск показался над горизонтом и, прицелившись, метнул им в лицо первый сноп лучей; легко скользнув по ровному заливному лугу, солнечные стрелы достигли цели и ослепили ее. Когда, проморгавшись, зверюшки снова обрели зрение, Видение исчезло, и ликующее птичье многоголосье всюю приветствовало долгожданный день.

Онемев от горя, безучастно и тупо уставившись в пространство, все яснее понимали они с каждой минутой, что приоткрывшееся на мгновение, поманив, покинуло навек, и сердечки их сжимались в муке и отчаянии. И тогда шаловливый ветер взметнулся с поверхности воды, прошелестел в осиновых листьях, смахнул росу с лепестков дикой розы и, дотронувшись до искаженных страданием лиц, легко и нежно разгладил их, принеся забвение. И был это последний и лучший дар, которым добрый полубог оделяет на прощание лицезревших его в минуту нужды, — благословенный дар беспомыслия. Чтобы тоска по утраченному блаженству не грызла, не томила, не сводила с ума зверей, вырученных однажды из беды, — беспросветная, неотвязная, убивающая всякое веселье и живость желаний, — даровалось им счастье: забыть. И, забыв, наслаждаться жизнью, как и прежде.

Крот протер глаза и посмотрел на Крыса.

— Извини, я немножко отвлекся, — сказал он. — Так что ты имел в виду?

— Да вроде ничего особенного, — помедлив, отозвался Крыс и в недоумении завертел головой. — Я просто заметил, что местечко тут подходящее, и если нам вообще суждено его найти — то это здесь. Ну надо же, — смотри, смотри! — вон он где, глупыш маленький!

И, победно вопя, он ринулся к свернувшемуся клубочком Портли.

А Крот стоял неподвижно, размышлял. Внезапно разбуженные, отчаянно цепляемся мы за чудное сновиденье, но оно бледнеет и про-

сачивается сквозь судорожно сжатые пальцы памяти, и ускользнувшая красота оставляет после себя лишь неясные тени, смутные неуловимые отзвуки, но и они покидают нас, и тогда наваливается холодное, безжалостное пробуждение к жизни, ее невзгодам и тяготам. И Крот, после короткого и напрасного сражения с собственными воспоминаниями, сдался и, грустно тряхнув головой, последовал за Крысом.

Портли открыл глаза. При виде папиных друзей, великих мастеров на забавы и игрища, он радостно запищал, виляя толстенкой попкой. И вдруг наморщил лоб и заметался, принюхиваясь, хныча и жалобно поскуливая. Когда человечесий детеныш, убаюканный нянюшкой, сладко заснув в милых объятиях, просыпается в чужом месте, совершенно один,— он обшаривает углы и комоды, бросаясь из комнаты в комнату, а в груди беззвучно и страшно набухает отчаяние,— так и Портли кругами носился по острову, и искал, и рыскал неутомимо, жадно, пока не потерял последнюю надежду, — и тогда уселся на траву и горько зарыдал.

Крот заторопился к нему с утешениями, но Крыс медлил. Недоверчиво и внимательно разглядывал он отчетливые следы копыт, впечатавшихся в дерн.

— Какое-то... огромное животное... побывало здесь, — задумчиво и протяжно пробормотал он, не двигаясь с места, и думал, думал, и кровь стучала в висках от непонятого возбуждения.

— Эй, ты о чем там размышляешь? — окликнул его Крот. — Выдр, бедолага, совсем, наверное, извелся у этой переправы, пошли быстрее!

Малыш Портли, соблазненный заманчивым предложением — покататься по реке на настоящей лодке мистера Крыса, быстро утешился и, доверив взрослым свои крошечные лапки, спустился к кромке воды. Для пущей безопасности его усадили на дно лодки, в самую серединку, и, взявшись за весла, пустились в обратный путь. Солнце, вырвавшись на свободу, начинало уже припекать, неистово, оглушительно щебетали птицы, кивали улыбочивые цветы — странно тусклые, словно утратившие свою недавнюю ослепительную яркость, — и тщетно ломали головы маленькие гребцы, пытаясь припомнить луг, где так пламенно и щедро полыхали краски.

Добравшись до главного русла, они направили лодку вверх по течению, где нес одинокую вахту бессонный Выдр. Неподалеку от брода, приглядев удобное местечко, причалили и, высадив Портли на сушу и снабдив его кучей приказов и инструкций да вдобавок дружески шлепнув по спинке, оттолкнулись от берега. Некоторое время они продолжали следить за зверенком, важно, вразвалку ковыляющим по тропе. Внезапно шаги его заторопились и, задрвав мордочку, неуклюже, но резво косолапая фигурка поскакала вперед, вереща пронзительно и восторженно. А чуть выше по реке немо и терпеливо распластавшийся на отмели Выдр — вскочил на ноги, прямой, напряженный, и сдавленно, с облегчением твякнув, опрометью бросился через заросли молодого ивняка навстречу сыну. И тогда Крот, сильно ударив веслом, развернул лодку, и мощное течение без спросу подхватило их и понесло куда-то по своему разумению — да они и не протестовали, ибо нелегкие ночные поиски увенчал счастливый конец.

— И с чего я так устал — не пойму, — утомленно прокряхтел Крот и, обмякнув, привалился грудью к бездельничавшим веслам. — Скажешь, всю ночь не ложились? А вот и нет, Крысь, тут дело в другом: летом ведь это у нас в порядке вещей, бывает, и по нескольку раз в неделю дома не ночуем. Нет, нет! Мне кажется, я столкнулся с чем-то поразительно прекрасным и при этом... грозным, понимаешь? — всё вместе: и ужас, и восторг — и вот оно исчезло, и теперь я ищу — и не нахожу никаких перемен. Вроде как ничего и не случилось, а, Крысик?

— Угу, — невнятно промычал Крыс, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза, — что-то такое удивительное, и чудное, и очень-очень красивое. Я чувствую точь-в-точь как ты, Крот, просто до смерти устал, пальцем двинуть не могу. Слава Богу, хоть грести не надо, течением к дому отнесет. И до чего же славно солнце прожаривает косточки — и как весело внимать ветру, играющему в тростниках!

— М-м-м... похоже на музыку, далекую-предалекую музыку, — сонно кивнул Крот.

— Что-то в этом роде, — пробормотал Крыс лениво и мечтательно. — Музыка, мелодичная и простая, под нее, должно быть, хорошо плясать, без конца кружиться, кружиться, так легко, невесомо льется она, и — слышишь, Кротик? — то и дело всплывают слова и снова растворяются, и лишь музыка танцует в ушах — и вновь ничего, кроме нежного, неясного шепота тростников.

— Ну и слух у тебя, — погрустнел Крот. — Мне-то слов ни за что не разобрать.

— Дай-ка я попробую помочь тебе, — мягко проговорил Крыс, не открывая глаз, — погоди минутку — вот опять нарождается песня, тихая, но четкая:

Страшен дремучий лес, но ты не дрожи, я здесь, видишь — какой большой! Но: возвратясь домой, забудь, что я был и есть.

И тростники подхватывают: забыть, забудь, — вздыхают они, и все замирает в шорохе и шелесте, и вновь возвращается голос:

Капканов наставили — жуть, и шагу нельзя шагнуть. Но я-то сломаю любой! Только: вернувшись домой, забудь про меня, забудь!

Ах, Крот, гребни ближе к берегу — не получается у меня, ничего не выходит, потому что слабеет, теряется звук:

Всех бедолаг в лесу, пропавших, найду — спасу. Тропу укажу и путь, не сможешь идти — донесу. Но помни приказ: забудь!

Ближе, Кротик, ближе! Бесполезно. Одни тростники болтают без умолку.

— А что за смысл в этих словах? — спросил изумленный Крот.

— Вот уж не знаю, — честно ответил Крыс. — Я просто повторил их для тебя, в точности как услышал. Ага, снова они — на этот раз чистые, полновзвучные, искренние, страстные, безупречные...

Солнце грело все сильнее, Крота одолевала дремота.

— Ну так что же, Крысь? — смиренно напомнил он о себе, прождав несколько минут.

Никто не ответил. Крот взглянул другу в лицо — и сразу понял причину молчания. Счастливо улыбаясь и будто все еще к чему-то прислушиваясь, усталый Крыс крепко и безмятежно спал.

*(Продолжение следует)*

---

---

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

---

---

*Сергей ЮРЬЕНЕН (1948), окончил МГУ, филологический ф-т. Член Союза писателей с 1977 г. В 1977 году эмигрировал. Ответственный редактор отдела культуры Русской Службы Радио Свобода. Основные книги: «По пути к дому», 1977; «Вольный стрелок», 1979; «Сын Империи, инфантильный роман», 1983.*

*Александр КУШНЕР (1936), поэт, переводчик. Книги: «Первое впечатление», 1962; «Ночной дозор», 1966; «Прямая речь», 1975; «Таврический сад», 1984.*

*Гайто (Георгий Иванович) ГАЗДАНОВ (1903—1971) — один из самых бытнейших прозаиков русского зарубежья. В последние годы в России были опубликованы его романы: «Вечер у Клер», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды», «Пробуждение», «Эвелина и ее друзья», М., «Художественная литература», 1990. Его роман «Ночные дороги» впервые был напечатан в журнале «Согласие», № 5, за 1991 год.*

*Геннадий КАЛАШНИКОВ (1947), поэт, переводчик. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Литературной газете», альманахах «День поэзии», «Поэзия». Сб. стихов «Ладонь», М., «Советский писатель», 1984.*

*Анна ДУБЧАК, студентка Литературного института им. А. М. Горького. Живет в г. Марксе, Саратовской обл.*

*Равиль БУХАРАЕВ (1951), поэт, переводчик. Книги: «Редкий дождь», (Новинки «Современника») М., 1980; «Знак Август», Казань, 1981. Живет в Лондоне, сотрудник Русской Службы Радио Русской Службы Радио Би-Би-Си.*

*Людмила СИНИЦЫНА, прозаик, публицист. Первая ее повесть «Пузыри земли» вышла в изд. «Молодая гвардия» в сб. «Фантастика-76». Документальные повести и очерки печатались в журналах «Нева», «Дружба народов», «Наука и жизнь». Книга прозы «Кривой четверг», «Детская литература», М., 1992.*

*Всеволод ПЕТРОВ (1912-1978), искусствовед, специалист по русской живописи начала века. Основной классический труд — «Мир Искусства», М., 1975. Воспоминания о М. Кузмине написаны в 1970 году.*

*Григорий КРУЖКОВ (1945), поэт, переводчик, критик. Основные книги: сб. стихов «Черепаша», М., 1990; перевод с английского книги Л. Кэрролла «Охота на Снарка», М., 1991; перевод книги для детей «Чашка по-английски», «Детская литература», М., 1991; статьи о творчестве Б. Пастернака, А. Ахматовой, английской поэзии.*

*Владимир ДЯДИЧЕВ (1936), по образованию физик, историк. Поэтические и литературоведческие работы публиковались в журналах и еженедельниках «Москва», «Подмосковье», «Литературная Россия», «Учительская газета».*

---

---



**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

*Алла МАРЧЕНКО*  
(зам. гл. редактора)

*Светлана БУЧНЕВА*  
(отв. секретарь)

---

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.**

---

---

Технический редактор *Г. И. Репкина*

Подписано к печати 23.08.93 Рег. № 01872 от 10.12.92 г.  
Формат 70×108<sup>1/8</sup> Гарнитура «Литературная» Печать высокая  
Физ. печ. л. 14 Тираж 3000 экз. Заказ 3064. Цена договорная  
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ  
140010, Люберцы 10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.  
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,  
редакция — 235-14-10

Корректурa *В. Элькина, Э. Гендиной*

© Журнал «Согласие», № 7, 1993



## SUMMARY

The seventh issue of the «Soglasye» is opened by a love story, a new novel by Sergei Yuryenen entitled rather ironically «A Desire to Be a Spaniard» (a novel in an old sense, not its modern substitutes).

We also give the first full-length publication (in Russia) of the much spoken about recollections of Vsevolod Petrov, a historian of art, about the «decadent» poet Mikhail Kuzmin.

«The Liberation», a short story by Gaito Gazdanov, an emigree writer often compared to Nabokov, is «starring» in the issue alike the above-named articles.

Ludmila Sinitsyna's «The Town Seen and Unseen», a poetic narrative of past and present of a little town mentioned by Leskov and Platonov, continues our series of publications on the fates of Russian province started by Dmitry Shevarov in No. 5.

The debuttante of the issue is Anna Dubtchak, the Literary Institute student, with her short story «The Tchibirikha».

The 100th birthday of the «Communist» poet Vladimir Mayakovsky and the 75th anniversary of murder of the last Tsar of Russia are both present in a historical research of V. Dyadichev on Mayakovsky's poem «The Emperor».

The poetry section includes poems by Alexander Kushner, Gennady Kalashnikov and also by Ravil Bukharaev, a poet now living in England. The foreign poetry is represented by Edward Lear's masterpieces in a new translation of Grigory Kruzhkov with the translator's essay on the nature of Lear's poetic personality.

We continue the publication of foreign classics, «The Citadel» by Antoine de Saint Exupery (translated from French by Marianna Kozhevnikova) and «The Wind in the Willows» by Kenneth Grahame (translated from English by Julia Muravyova) — both started in No. 1.

## «CONCORDANCE»

## РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,  
А.М.Адамович, Г.П.Алференко, В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков